

К. ТРЕНЁВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

К. ТРЕНЕВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Издательство «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1977

Р2
Т66

Составление и предисловие **М. О. Чудаковой**

Т $\frac{70302-158}{М-105(03)77}$ 105—77

О ПРОЗЕ КОНСТАНТИНА ТРЕНЕВА

Литературный путь Константина Андреевича Тренева был медлителен и прерывист. Первый рассказ — «На ярмарку» — он напечатал в новочеркасской газете «Донская речь» в 1898 году. В последующие несколько лет Тренев учится в Петербурге, в Археологическом институте и Духовной академии, пишет очень мало и печатается только в газете «Донская речь». «Жил в Питере, а рассказы посылал на Дон,— вспоминал он позже в автобиографии,— пока меня чуть не насильно свели к редактору «Журнала для всех» Миролюбову». Впоследствии критика отмечала, что Миролюбов первым «оценил безвестного Тренева» («Биржевые ведомости», 1915, 14 июля). Сам же Тренев в 1916 году назвал его «замечательным редактором замечательного популярного «Журнала для всех», куда ему удалось привлечь Горького, Л. Андреева, Серафимовича, Вересаева.

Опубликовавшись в столичном журнале, Тренев не стал, однако, продолжать беллетристическую работу, как естественно было бы ожидать, а, напротив, отошел от беллетристики, отдавшись целиком работе газетной. Он ведет в «Донской речи» отдел «Темы дня» (фельетоны) и фактически становится соредактором газеты. Когда в 1905 году «Донскую речь» закрывают и ее сменяет «Донская жизнь» — около года он редактирует новооткрытую газету, а далее постоянно печатает в ней корреспонденции — вплоть до 1913 года. В 1907 году Тренев за газетную деятельность был выслан из Донского края в г. Волчанск и столь же полно, как прежде в газетную, погрузился в педагогическую работу. Он продолжает ее и в Симферополе, куда переезжает в 1909 году. Пишет и печатает он в эти годы крайне мало, большей частью пьесы.

В 1911 году Тренев посылает первую свою большую пьесу Горькому на Капри — с надеждой поместить в сборнике «Знание». Получив доброжелательный ответ, Тренев писал: «Жизнь сложилась так, что приходится уделять по 12 часов в сутки одуряющему педагогическому труду. Нет времени, главное же — нет веры в себя и в возможность выбиться. Пользуясь вашим вопросом, пишу ли рассказы,— иллюстрирую свое положение хотя бы с этой стороны. Тут вся моя «карьера» была связана с деятельностью Виктора Сергеевича (Миролюбова. — *М. Ч.)* <...> с прекращением издательской деятельности Виктора Сергеевича (в 1908 году Миролюбов, привлеченный к судебной ответственности в связи с направлением своей редакторско-издательской деятельности, выехал за границу. — *М. Ч.)* закрылся и для меня доступ в столичные журналы, так как у меня

там ни души знакомых. С ужасом вижу, как с каждым днем дальше уходит возможность выбиться. С получением вашего письма воскрес и к вам тянусь за спасением. <...> Не бросьте меня, Алексей Максимович!»

В это время Миролюбов формировал журнал «Заветы», и Горький написал ему: «Зачиная новый журнал, поимели бы вы в виду Тренева: его следует извлечь из педагогики,— человек умный и может быть прекрасным работником». В каждом из первых своих писем Треневу Горький побуждает его вернуться к рассказам: «Думается мне, что это более ваша сфера, чем драма». Но о первом же рассказе, присланном ему Треневым, Горький отозвался очень резко: «Константин Андреевич! Вы не обидитесь, если я скажу вам, что ваш хороший очерк написан небрежно и прескучно?» Он призывал его «пресерьезно заняться языком». Это был очерк «На ярмарке», подвергнутый впоследствии автором существенной переделке. Ответное письмо Тренева весьма важно для понимания его литературной судьбы. «Да стоит ли мне заниматься этим делом? — спрашивал он Горького с несомненной серьезностью.— Не бросить ли? Если на основании того, что вы прочитали, затрудняетесь дать прямой ответ — подождем. Я вот напишу и представлю вам еще одну-две вещицы. Только вопрос этот для себя мне давно уже пора решить. Ведь мне уже 35-й год, а я до сих пор не могу докарабкаться хоть до разряда маленьких литераторов, да все же литераторов. Берусь за перо раз в неделю по праздничным дням, а взявшись, вижу, что язык деревянеет. А может быть, он и от природы таков. А тут еще моя учительская служба — только погибель и душе и здоровью» (16—17 ноября 1911 г.).

Итак, до конца 1911 года Тренев не только почти не известен как беллетрист, но и не разрешил еще собственных сомнений относительно занятий литературой.

После обнадеживающего ответа Горького («Я не позволил бы себе говорить вам — вы литератор, даровитый человек — если б не был уверен в этом, если б крепко не чувствовал этого») в январе 1912 года Тренев писал: «Уж раз вы мне выдали права на литератора, то и буду неотступно работать над реализацией этих прав. Пишу сейчас рассказ. Думал, выйдет небольшой, а он что-то все пухнет». Эта была повесть «Владыка», получившая сочувственный отзыв Горького. Через много лет, в автобиографии 1924 года, Тренев вспоминал: «Писать начал на школьной скамье. Но все это случайно. На годы совсем отходил от литературы. Ближе к ней подошел только на 34 году, напечатав «Владыку».

Прототипом главного героя послужил, как выяснили биографы Тренева, архиерей Таврической епархии епископ Феофан Быстров, а прототипом о. ректора —ректор Симферопольской духовной семина-

рии Серафим Лукьянов. Седьмой номер «Заветов» за 1912 год, где печатался «Владыка», арестовывался цензурой.

Широкая публика отнеслась к повести заинтересованно, едва ли не с этого момента узнав о новом прозаике. Для самого Тренева, однако, повесть не послужила началом непрерывной литературной работы. В марте 1913 года он признавался в письме В. С. Миролюбову: «За зиму не написал ни строки. <...> А тут еще такое самочувствие литературной анафемы, будто я — сшарлатанившая бездарность, каким-то фуксом написавшая «Владыку» и этим исчерпавшая свое прозябание. Ужасно! Слава богу, теперь, кажется, все это проходит и снова чувствую разговор в голове и волны в груди». Сомнения в только что написанном, довольно низкая оценка своей работы — постоянный и трогающий откровенностью мотив его писем редакторам. В июле 1913 года в письме к В. С. Миролюбову: «Рассказ не пошлю Вам и вообще, должно быть, никуда не пошлю — очень уж слабо». В феврале 1914 года в письме к Н. С. Ангарскому (Клестову), которому незадолго до этого послал свой большой рассказ «Самсон Глечик»: «Читал я тут рассказ Дерману (А. Б. Дерман — беллетрист, известный критик и литературовед. — *М. Ч.*) и еще одному человечку — говорят лучше «Владыки». А по-моему — неизмеримо ниже».

В 1914—1918 годах Тренев печатается главным образом в «Ежемесячном журнале», который открыт был Миролюбовым (после ухода его из «Заветов»),— с ориентацией главным образом на сельскую интеллигенцию и читателя-крестьянина. В журнале печатались В. Бахметьев, С. Есенин, А. Чапыгин, В. Шишков, О. Форш.

В 1912—1913 годах участниками известного московского литературного кружка «Среда», в который входили В. Вересаев, братья Бунины, И. Шмелев, А. Серафимович, Н. Телешов, было организовано «Книгоиздательство писателей в Москве». В 1913 году оно повело переговоры с Треневым об издании первого сборника его рассказов. Самое раннее свидетельство этого — письмо, написанное Треневым в январе 1913 года Н. С. Ангарскому, возглавлявшему издательство: «А сообщение о том, что в числе намеченных к изданию «Книгоиздательством писателей» есть мои рассказы — не дадите в газеты? Мне бы это, как начинающему, для «престижа» весьма ценно». Письмо интересно не только со стороны фактической, но и для характеристики самоощущения автора, спустя пятнадцать лет после первой публикации все еще чувствовавшего себя, как видим, начинающим литератором. В архиве Ангарского сохранилось немало неопубликованных писем Тренева (среди них — и цитированные), иллюстрирующих историю этого издания, важного для судьбы писателя.

В одном из писем 1914 года, как обычно, без гнева и раздражения откликаясь на отрицательную оценку рассказа «Самсон Гле-

чик», Тренев писал: «Еще более неправы Вы, допустив фразу: «критика похвалами вскружила вам голову». Тут Вы, сами того не зная, прошли мимо самого больного моего места. Если бы Вы обратили внимание на мое curriculum vitae[1], Вам показалось бы странным столь позднее мое выступление на литературное поприще. Человек доживает 4-й десяток лет и только начинает. Да не верю я себе. Вы пишете, что на судилище, осудив рассказ, признали мою талантливость? Вот-вот! В сущности я не помню, чтобы кто-нибудь отзывался обо мне иначе <...> Нет, чего-то мне не хватает, без чего «талант» ничто. Это сознание и было причиной того, что я поставил было крест над своей литературной деятельностью».

Сборник под названием «Владыка» был выпущен в декабре 1914 года. Кроме повести, давшей заглавие книге, в нее вошли рассказы 1909—1914 годов: «В станице», «Затерянная криница», «Шесть недель» (первая редакция его была написана, как установлено исследователями, еще в 1901 г.), «Любовь Бориса Николаевича», «На ярмарке», «Самсон Глечик». Этот сборник принес Треневу известность.

«Книгоиздательство писателей» предприняло выпуск сборников «Слово» (которые должны были, по мысли издателей, заменить прекратившиеся сборники «Знание»). По воспоминаниям Телешова, сборники имели «в свое время, с 1910 по 1917 гг., выдающийся успех. За ними гонялись книжные магазины почти так же, как и за сборниками «Знание». В 4-й книге этих сборников, в 1915 г. была опубликована повесть Тренева «Мокрая балка», еще заметнее привлекшая к себе внимание читателей и критиков. В следующем году под этим названием выходит второй сборник Тренева, куда, кроме повести, вошли рассказы 1914—1916 годов, среди них — рисующие деревню времени мировой войны: «Вечная любовь», «Два миллиона», «На хуторе», «В родном углу», «Письма», «По тихой воде», «Святки».

В декабре 1915 года Тренева приглашает к сотрудничеству одна из самых известных и читаемых широкой публикой газет — сытинское «Русское слово» с его миллионным тиражом. В архиве газеты сохранились письма Тренева из Симферополя (где он по-прежнему продолжал ежедневную педагогическую работу) одному из редакторов — Ф. И. Благову. 1 января 1916 года, благодаря «за лестное предложение постоянного сотрудничества», он предупреждал, однако же: «Писатель я — не из многоплодных, мог бы дать Вам один, много — два маленьких рассказа в месяц. Во всяком случае, если речь идет об обязательстве, то никак не более одного рассказа в месяц размером 300—600 строк».

Далее Тренев более или менее пунктуально выполняет соглашение, периодически печатая в газете рассказы и очерки. В конце

[1] Здесь: биография *(лат.)*.

августа Горький писал Треневу: «С завистью читаю в Русском слове' «По Украине», дорогой Константин Андреевич, с завистью,— хорошо написано! Легко, плавно, с такой острой улыбкой и такой славной грустью, кажется — понятной мне. Поверьте, что это не комплимент, нет! Я очень внимательно читаю вас и уверенно жду много великолепного из-под вашего пера». В ответном письме Тренева — обычная неуверенность в удаче и радостное удивление похвале: «Спасибо на добром слове, которое для меня — без преувеличения — имеет силу закона. А я ведь думал: «На Украине» — неважно. И иные места сопровождал фразой цыгана (из «Ярмарки в Голтве»): «Стыд, дядько, стыд, а не хвост!»

После больших рассказов «Батраки» (в письмах Тренев оценил его как один из лучших) и «Вихри», написанных в 1916—1917 годах, Тренев снова надолго отошел от беллетристики; имя его почти не появлялось в журналах, но переиздавались сборники — главным образом «Владыка» и «Мокрая балка».

В ноябре 1924 года Тренев написал в автобиографии: «Сейчас напечатал «Пугачевщину» и, вероятно, опять надолго уйду от литературы». Позднее он рассказал об этом времени более подробно:

«Уже в дни революции я вплотную и серьезно подошел к драматургии. В эпоху гражданской войны я начал было писать пьесу, которая теперь известна под заглавием «Любовь Яровая». Но скоро же я почувствовал преждевременность этой работы и справедливость положения, что подлинно художественно изображать большие исторические события возможно, только отойдя от них на большое расстояние. Иначе будет искажена перспектива, иначе страсти и пристрастия участника события, как бы они ни были высоки и ценны, затемнят и искривят зеркало. Необходимо время, чтобы они перегорели и выплавились только в страсть творчества. Старая-престарая, но, к несчастью, непризнанная истина. Повинуясь ей, я прервал работу над «Любовью Яровой» и отдался другой исторической драме, в которой находил много элементов современности,— «Пугачевщине». Работа эта взяла у меня три года. А когда после этого я вернулся к «Яровой», я увидел, как много в ней от кривого зеркала. Пришлось многое перестраивать. И когда я смотрю эту пьесу теперь, вижу: надо еще больше перестраивать...

Кое-что о судьбе этих двух пьес: это не лишено некоторой поучительности. Когда «Пугачевщина» попала сначала в Московский Художественный, а после в Ленинградский бывш. Александринский театр, она встретила там исключительно восторженный прием. Особенно увлечен был ею Вл. Ив. Немирович-Данченко, сопричисливший ее к лучшим пьесам мхатовского репертуара и обещавший пьесе громадный успех. Увы, пьеса не имела в Москве не только громадного, но, пожалуй, и среднего успеха.

Когда попала в театр «Любовь Яровая», она встретила там очень холодный прием. Люди авторитетные предсказывали ей верный провал. Исключительная судьба этой пьесы на современной сцене достаточно известна. Если добавить к этому, что автор искренне предпочитает «Пугачевщину» — «Яровой», то читатель поймет его панический страх перед сфинксом — зрителем и решение предпочесть этому капризному в своих странных симпатиях зрителю неизменно благосклонного читателя».

Показательно, что слава, пришедшая к Треневу после постановок «Любови Яровой» в МХАТе и других театрах, не изменила авторской сравнительной оценки обеих пьес. Она повторяется и в письмах. В 1926 году, давая советы одной из исполнительниц роли Любови Яровой, П. Л. Вульф, Тренев писал: «Я, например, совершенно искренне не понимаю исключительного успеха этой пьесы даже в Москве, тем более в провинции. Когда я смотрю ее, испытываю почти сплошное страдание, иногда буквально нестерпимое (если сижу с краю, убегаю). Так сильно колют меня мои авторские грехи (+работа реперткома), так стыдно перед актерами, публикой. И это вовсе не «авторская скромность». На «Пугачевщине», исключая, может быть, одну картину, я сидел, бывало, с большим самомнением и сейчас считаю ее неизмеримо выше «Яровой». А вот подите же! Разгадайте тайну — произведения или зрителя? Должно быть, это только по плечу гадалке-хиромантке» (письмо это вошло в сборник «Живой Тренев. Воспоминания». Изд. 2-е, доп. Ростов, 1976, стр. 72—73).

Словами о «неизменно благосклонном» читателе, которого предпочитает он капризному зрителю, Тренев предварял свое первое собрание сочинений, вышедшее в двух томах в 1927—1928 годах. Автобиография писателя, заканчивающаяся этими словами, была написана тогда же, то есть в годы нового, и последнего, поворота Тренева к прозе.

Еще в апреле 1926 года он написал Горькому: «Пишу вам, только что отправив в Малый театр новую пьесу из эпохи гражданской войны (речь шла о третьем варианте «Любови Яровой». — *М. Ч.*). Больше не буду. Не мое это дело. Рассказы нужно писать. А если пьесу, то — бытовую комедию».

Если первая половина 1920-х годов была полностью отдана драматургии, то в 1925—1929 годах было написано несколько рассказов — в новой, во многом отличной от рассказов 1900—1910-х годов манере, заставляющей вспомнить слова о «бытовой комедии». После 1930 года обращение Тренева к прозе становится эпизодическим.

Рассказы, собранные в настоящем томе, показывают все этапы пути Тренева-прозаика. В первых его опытах нельзя не увидеть следов добросовестного ученичества. Он идет от писателю к писателю, отражая, как зеркало, опыт целого века русской литературы, от Го-

голя до Бунина. Рассказ «На ярмарку» — еще вполне «гоголевский», за ним встают хорошо прочитанные «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказ «Травосеяние» — не частый в прозе Тренева случай сказа, то есть повествования, строящегося от лица рассказчика, резко отличного от автора своей речью. Этот сказ перенят в рассказе Тренева — вместе с темой мелкого чиновника и внутренней жизни «присутствия» — у Гоголя («петербургские» повести) и раннего Достоевского. Преемственность эта обнажена тем, что имя одного из персонажей — Макар Девушкин.

Эту же двойную традицию можно увидеть в рассказе «Человек». Но, идя в определенном предшествующей литературой русле, Тренев стремится внести и нечто свое в разработку характерной темы двойничества: страдательным лицом оказывается у него не маленький человек (как, скажем, в «Двойнике» Достоевского), а лицо «значительное» (хотя в концовке рассказа эта «подмена» поправляется).

Этюд «Вор» довольно близок к рассказам из крестьянской жизни «шестидесятников» — в первую очередь В. Слепцова и Н. Успенского: та же абсурдная ситуация в основе сюжета (поймав мнимого вора, пьют на его деньги вместе с ним, но время от времени поколачивают его: «нельзя ж, нужно!»), те же изобильные диалоги в сочетании с беллетристическими штампами описаний природы. Такой рассказ, как «Из принципа», в котором старик парикмахер выгоняет недобритым молодого человека, вздумавшего разъяснять ему дарвиновскую теорию происхождения человека, заставляет вспомнить известнейшего в семидесятые-восьмидесятые годы рассказчика (и исполнителя собственных рассказов-сцен) И. Горбунова. В его сценках «Затмение солнца» («Сейчас затмится!» — уверяет толпу некий человек, а ему отвечают: «Может, и затмится, а вы, господин, пожалуйте в участок. Этого дела так оставить нельзя»), «Воздухоплаватель» (кончающийся возгласом: «И как это можно без начальства лететь?!») можно увидеть и образцы для молодого Чехова. В рассказе Тренева эти влияния пересекаются: само место действия, например,— характерное для чеховских рассказов, в которых события происходят в парикмахерской (например, рассказ «В цирюльне»), в купальне, в санях... «Чеховским» представляется и рассказ Тренева «На извозчике». Здесь как бы сразу несколько фабул Чехова-юмориста: разговор извозчика с седоком (у Чехова — «Ванька», рассказ 1884 г., с тем же названием, что и последующий, про Ваньку Жукова; «Тоска»), столкновение философа «из простых» с образованным человеком, пытающимся объяснить ему юридические категории. «Травосеяние. Рассказ чиновника», уже упомянутый в связи с Гоголем и Достоевским, погружен вместе с тем и в сферу чеховского влияния. Он заставляет вспомнить такие рассказы, как «Торжество победителя. Рассказ отставного коллежского регистратора» или «Чтение. Рассказ старого

воробья», где повествование о ситуациях жизни мелких чиновников ведется от лица их самих и остается в кругу их понятий, тона, стиля.

«...Мое евангелие — Чехов!» — писал Тренев Горькому во втором письме в 1911 году. И много позже, в 1929 году, в одном из писем А. Б. Дерману: «Чехов — одна из поразительнейших чудеснейших тайн, замкнутых таким мудреным замком, к которому долго еще будут подбирать ключи». Это — слова человека, который много лет сам пытается открыть этот замок, внимательнейшим образом изучая его «мудреное» устройство. Опыты Тренева дают любопытный материал, показывающий влияние Чехова на последующую прозу.

Но не следует думать, что литературная ориентация раннего Тренева шла только «по вершинам». В рассказе 1902 года «Экспертиза. Рассказ участника» речь идет о том, как происходит «экспертиза» вин на выставке.

«Секонули мы Картошникова вина бутылочку-другую, и на писателя кураж напал; схватил в руку печать от распитой бутылки и стал речь держать:

— Видишь меня, станичник? — спрашивает меня.

А у меня все это дело как в тумане. Одначе смотрю на него.

— Болванеет что-то,— отвечаю.

— А можешь ты,— говорит,— понимать, кто я есть такой и какого чину-звания? Я,— говорит,— представитель вот этой самой печати... Вот! В руках ее держу!

Подошел тут из распорядителей один.

— Пожалуйте,— говорит,— господа эксперты, моих червей и патрет мой собственный осмотреть.

Можно. Обсмотрели мы червей под шелком... И патрет и господина распорядителя: действительно, сходственно!

— Теперь,— говорит Батюшкин,— будем мы отметки ставить. Можешь ты, станичник, об отметках понимать?

— Чего тут не понять! Могим, ваше благородие.

А дело это, сват, такое: ежели угощение хорошее, ставь пятый номер али там четвертый; ежели так себе, не дюже, значит, ну а все-таки на голодные зубы туды-сюды, пиши цифру три. Ежели же закуска там, выпивка ли, скажем, ни к черту, выводи второй номер, ну а ежели провизия такая, что стошнить тебя может, пиши скорей «один».

И сколько, сват, я этих цифрей понаставил, так и высказать невозможно! Спервоначалу все больше пятый номер, ну а как мутить меня начало, тут уж за первый и второй номера взялся».

Рассказ этот целиком вписывается в тот традиционный для малой литературы 1880—1900-х годов фон, который принято называть «лейкинской сценкой», по имени Н. А. Лейкина, плодовитого беллетриста, заполнявшего литературные отделы ежедневных газет драма-

тизированными рассказами. В них обыгрывалась, чаще всего при помощи одних и тех же приемов, речь купцов, извозчиков и проч. Если прибавить, что таких сценок он написал около семи тысяч, станет понятна неминуемость их воздействия на начинающих беллетристов 1890-х годов.

Рассказы и повести 1910-х годов — «Затерянная криница», «Мокрая балка», «Батраки» — наиболее ценимые самим автором и характерные для времени произведения «на крестьянскую тему». Это — та проза сборников «Знание» и «Слово», которая связывается с именами Серафимовича, Вересаева, Шмелева, Муйжеля. Слова Тренева «...изображаю только то, что хорошо знаю»,— более всего относятся к рассказам этого типа. Они отразили то время, когда добротное описание быта — и в первую очередь крестьянского — считалось неотъемлемым свойством беллетриста, и в той традиции, которую разрабатывают сегодняшние авторы, делающие деревню преимущественным своим материалом, определенное место принадлежит и Треневу-прозаику.

Интересной представляется самооценка Тренева в одном из неопубликованных писем 1910-х годов: «Но азбуку творчества я знаю: идея рассказа у меня с лихвою покрывается художественными образами, и говорить об «антихудожественности» рассказа (речь идет о рассказе «Самсон Глечик». — *М. Ч.)* едва ли будет справедливо. Конечно, это не шмелевщина, не бескостный рассказ, но готовить художественное филе я никогда не умею, и Вы коренным образом заблуждаетесь, определяя мое амплуа — «тихие вечера и ласковые улыбки». Во мне прочно засел сатирик и публицист. Оттого-то и не избавлюсь никак от точек над «и» — публицистические эмоции» (подчеркнуто нами. — *М. Ч.).* Эти «эмоции», быть может, особенно сильны в «Мокрой балке» («Только скучнее становится серая, глухая жизнь» и т. п.) и в рассказах «На ярмарке», «Самсон Глечик», «По тихой воде».

Совсем иную и менее ценную, но по-своему любопытную сторону работы Тренева тех лет представляет такой рассказ, как «Любовь Бориса Николаевича» (1913), ориентированный на несколько учителей сразу — Чехова, Бунина, Шмелева. В «готовую» в известном смысле сюжетную канву (в муже Веры Степановны — Белкове — можно увидеть черты мужа Анны Сергеевны из «Дамы с собачкой», а фамилия связывает его с Беликовым «Человека в футляре»; можно было бы указать и много других схождений) вплетены, однако, и иные мотивы, связанные с попытками учесть опыт символистской прозы, наиболее далекой от беллетристических навыков Тренева.

Тренев оставил любопытную собственную сопоставительную характеристику двух этих разных не только манер, но и способов своей прозаической работы. В 1929 году, оспаривая некоторые тезисы отно-

сительно личности и творчества Чехова в книге своего друга А. Б. Дермана («Творческий портрет Чехова». М., 1929), он писал: «...А советы Бунину и Авиловой быть холодными! И вы, чуткий критик, думаете, что это и есть холодность чувств? Когда я, маленький писатель, старался быть холодным, как лед, то у меня выходила «Мокрая балка», «Батраки», а когда я горячо писал и чувствовал, то получались «Письма», «Любовь Бориса Николаевича» и прочие горячие до слез печения. <...> Вот, скажем, Л. Андреев — конечно, не мог, подобно Чехову, пожаловаться на то, что работа не мешает ему вовремя уснуть. Но он неизмеримо холоднее Чехова». Показательно, что именно рассказ «Письма» крайне понравился Леониду Андрееву; в 1915 году он писал Телешову: «Но растрогал меня до слез — Тренев! Если знаешь его, скажи ему от меня, моей души спасибо! <...> Сейчас во второй раз прочел Тренева — и опять реву, как белуга. Молодец!»

В том же письме Тренев сформулировал свое представление о движении русской литературы XIX в., важное для понимания его собственного опыта изучения «секретов» и «замков» этой литературы: «Русская литература росла от дешевеньких карамзинских слез до высшей своей ценности — чеховской «холодности», как росли средства освещения от лучины или трещащего и смердящего своей «теплотой», памятного мне с детства каганца до «холодного» электричества».

В рассказах Тренева второй половины 20-х годов — зарисовки городского и деревенского быта, попытки зафиксировать черты новых социальных ситуаций («Тихий город», «Пассажиры»). Сравнение с его же рассказами 1910-х годов наглядно иллюстрирует слом беллетристической традиции. Например, «Тихий город» кажется составленным из двух разновременных стилевых пластов. Авторские описания — вполне в духе сборников «Знание» и «Слово»: «Гуляли по степи горячие ветры, несли на широкие, как степь, улицы и площади курение степных трав и седую, как ковыль, сагу. Убаюканные, спали в садах и каменные особняки и деревянные трехоконные домики — желтенькие, серенькие, зелененькие». Диалоги же героев несут печать новизны — широкого включения в литературу нового, сформированного самыми последними годами просторечия: «В общем и целом — покойной ночи, Пантюша».

Рассказы Тренева этих лет интересны уже тем, что показывают важное литературное явление: писатель, родившийся в 1876 году и утвердившийся в литературе предреволюционного десятилетия, оказывается в окружении новой беллетристики, созданной главным образом усилиями тех, кто *начинал* свою литературную работу в первые пореволюционные годы. И Тренев идет теперь в какой-то степени вместе с этими молодыми литераторами, однако не в поисках нового авторского повествовательного слова. Веяние времени сказалось ско-

рее в разрастании диалогов, в которых нередко и сосредоточен главный интерес рассказа.

Таков, например, рассказ «Выборы», сама тема которого — деревенские выборы комитета — была обычным в те годы материалом для юмористической сюжетной обработки. Упомянем вышедшую в 1922 году книжку рассказов В. Шишкова под заглавием «Провокатор», где сюжетом рассказа, давшего название сборнику, служит следующая история. По указанию из города в деревне происходят выборы в комитет. Проезжающий мимо шутник советует выбрать еще и «провокатора». Не подозревая о значении слова, мужики выбирают самого уважаемого человека; он попадает в переделку.

У В. Шишкова попытка воспроизведения народной речи в диалоге осуществляется средствами главным образом орфографическими — «быдто», «опосля», «камитет», «резонт». Это — характерная черта «деревенской» прозы тех лет.

«Глянул дед Ерофей, бородой потряс:

— Знайте, православные, без нечистого тут не обошлось... Нет, не обошлось... Нук-се поверни-ка таку махину... Во-от!.. А он, окаянный, вишь из пекла красные зубы щерит да пофыркивает... Ему што!.. Лишь бы народу побольше в свои лапы заграбастать... Вот оно што!»

Само название цитируемого здесь сборника известного в 20-е гг. Михаила Волкова — «Летропикация» (1921) — говорит об этой ориентации на слово, «сдвинутое» в сторону народной речи, осваивающей новые явления.

Диалог у Тренева строится не столько на экзотическом «простонародном» слове, сколько на сплетении голосов участников, на коротких репликах, быстро сменяющих одна другую и взаимозависимых:

«— Аль не вы в голос кричали: ненадобен Стигней? Так чего ж не сменяете?

— Мало ль чего баба не закричит!

— Твоя баба тоже в середу на тебя в голос кричала. Небось не сменила!» («Выборы»). Это — та черта прозы Тренева, которая еще в 1916 году была оценена Ю. Айхенвальдом в его книге «Слово о словах»: «Челнок диалога снует проворно, занимательно и живо».

Быть может, естественней всего сопоставить диалог Тренева в этом отношении с диалогом в рассказах Пантелеймона Романова — одного из наиболее удачливых бытописателей деревни тех лет. «Сколько мужики после пожара ни собирались и ни говорили, что нужно расселяться, не строиться тесно,— все ничего не выходило. Пока говорили, все были согласны, а как доходило до дела, то те, кому нужно было строиться на новом месте, сейчас же кричали:

— Это, подите вы к черту, мои деды тут жили и померли.

— Да, это неловко,— соглашался кто-нибудь.

— Что ж, я на двадцать саженей подамся на другое место, разве этим спасешься, щепки чуть не за полверсты летят, особливо ежели ветер.

— Это так расселяться — пожалуй, до самого города одна наша деревня растянется.

— По всему полю расселимся, а хлеба сеять негде. Вот так надумали.

— Тут не расселяться, а крыши бы какие-нибудь черепичные, что ли, или железные делать. А то обложились со всех сторон соломой и горим, как чумовые, каждый год.

— Вот это правильно! Известное дело, ежели черепицей-то крыли бы, ан, другая статья была.

— И самую избу еще общикатурить,— прибавлял кто-нибудь.

— И это дело,— соглашались все.

— Тут нарочно спичку бросай, она нипочем не загорится.

— Нипочем, взяться не с чего — черепица да глина» (П. Романов. Пожары.— «Красная Новь», 1925, кн. 6, с. 76).

Структура энергичного «простонародного» диалога хорошо известна русской литературе с 60-х годов XIX века, породивших особую литературную традицию разработки «крестьянской темы».

«— Ну, ты погоди говорить: сколько за свой товар прикащик дал на всех?

— По гривне.

— Ну, ладно: ты разложи эти гривны здесь на лавке; пойдем к печи...

— Что там делать? А ты мне скажи: ты пил вчера вино?

— Нет.

— Ну, третьёводни?

— Нет.

— Ты бога-то, я вижу, забыл...

— Я, брат, бога помню чудесно...» и т. д. (Н. Успенский. «Обоз»).

Рассказ «Эдесские угодники», начинаясь традиционным обрамлением, уже со второй страницы целиком переходит на рельсы сказа.

В двадцатые годы повествовательная форма сказа была детально разработана усилиями многих литераторов одновременно: например, в один год с «Рассказами Назара Ильича господина Синебрюхова» — первой книжкой М. Зощенко — появляется рассказ Ник. Никитина «Жизнь гвардии сапера», будто варьирующий зощенковскую тему и слово: «Тут соображаю я его полное забвение и рваные калошики, как он, сказав подобные мне слова, моментально исчез. Полагаю я, что было это мне свыше по текущему вопросу вещее видение. Все же таки посожалел я вещее видение, хотя бы и не надо, как классового организма, но все мне тоскливо и вкусу нет ни к чему».

В голосе героя Тренева можно услышать перекличку со всеми

этими голосами, бурно осваивающими новым и не осознанным до конца ими самими словом по-новому заманчивые ситуации: «Но, конечно, когда работник поднимается на высоту крупного масштаба, то должен он, как бы сказать, иметь по соответствию масштаба блага жизни, а не наоборот. И как вы знаете, теперь идет бешеное заострение вопроса в плоскости разрушения пережитка брачного уклада и рушатся перегородки между массами обоих полов. И мы, конечно, с товарищем Курбетовой, имея идеологическую спайку во взглядах на устарелую семью, которая есть гнусная отрыжка старого буржуазного уклада, имели целеустановку на новый быт».

Так имя Тренева вписалось и в беллетристику второй половины 20-х годов; не будет преувеличением сказать, что писатель пережил в эти годы определенный взлет, попытавшись оторваться от своей славы драматурга.

В январе 1943 года он написал А. Глебову: «...Вам показалось странным мое — «если бы Вам пришлось читать мою беллетристику». Увы, это «бы» вывод: меня — беллетриста не знают, это Вам известно. Ваше возмущение моим «бы» для меня ценно, а предпочтение во мне беллетриста — драгоценно. Ибо это не только мое убеждение, это моя драма...» И дальше: «Я очень люблю и высоко ценю старого критика, автора «Силуэтов» Айхенвальда. Когда-то он по поводу «Мокрой балки», почти дебютной моей вещи, писал: «Новая надежда русской литературы К. Тренев написал рассказ...» и заканчивал так: «Щедро рассыпал наш богатый автор сверкающие росинки своего писательского и человеческого таланта». Эти слова я взял компасом, критерием в своей жизни писателя и человека. Я знаю, что не оправдал «надежд русской литературы», я не сумел стать настоящим человеком и писателем, но я всегда хотел быть им, только им!..» (Сб. «Живой Тренев». Ростов, 1976, стр. 271—272).

Цель настоящего сборника — дать возможность современному читателю, хорошо представляющему себе Тренева — автора пьесы «Любовь Яровая», узнать Тренева-беллетриста 1900—1920-х годов.

При составлении этой книги встал вопрос о том, какие из многочисленных изданий прозы Тренева следует выбрать в качестве источника текста. Опыт текстологии советской литературы показывает, что изменения, вносившиеся авторами и редакторами в 30—40-е годы в написанные ранее произведения, не должны некритически воспроизводиться современными издателями. Вопрос об основном тексте может решаться только путем сравнения всех редакций. В данном случае было сочтено целесообразным взять за основу тексты конца 20-х годов — времени, которое оказалось для Тренева-прозаика итоговым, когда он с особенным тщанием пересмотрел тексты своих рассказов, готовя собрание сочинений в двух томах (1927—1928; переиздано в 1928—1929). Напомним читателю, что позже

Тренев обращается к прозе только эпизодически, целиком занятый драматургией и общественной деятельностью. Разночтения двухтомников конца 20-х годов с позднейшими изданиями — чисто стилистические; в последующие годы в текстах несколько сглаживалась изобилующая «неправильностями» и диалектными словами колоритная речь автора и его героев. Между тем для Тренева эти чисто языковые особенности были очень важны; приведем лишь одно из свидетельств этого рода — 15 августа 1916 года он пишет Ф. И. Благову: «Посылая 7-й и последний фельетон своих путевых украинских очерков, прошу передать мою просьбу корректуре присмотреть особенно за характерными словечками: попадаются искажающие смысл ошибки. Очень хорошо понимаю, что это не книга — газета, а все же...»

Собрание сочинений в двух томах представляет собой переиздание (с добавлением драм и «Автобиографии») двух основных сборников рассказов Тренева — «Владыка» и «Мокрая балка», вышедших впервые соответственно в 1915 и 1916 годах. Эти заглавия были сохранены автором на титульных листах томов.

По тексту этого собрания сочинений в нашей книге печатаются повести «Владыка» и «Мокрая балка», рассказы «Затерянная криница», «На хуторе», «Шесть недель», «Два миллиона», «В родном углу», «Святки», «Письма». Отметим, что выбранная нами редакция «Владыки» отличается от той, что печатается в действующих сборниках прозы Тренева (последние по времени — «Избранные произведения», т. 1, 1955 и «Избранное». Симферополь, 1962). Сопоставление текстов говорит в пользу именно этой редакции.

В двухтомник 1955 г. не вошли многие рассказы 10—20-х гг., без которых представление о прозе Тренева далеко не полно,— большинство их дается нами по сборникам «Батраки» (1927) и «Тихий город» (1928): по первому — «Батраки», «Пассажиры», «Эдесские угодники», по второму — «Тихий город» и «В мертвый час». Рассказ «Миша» печатается по «Избранным произведениям» 1933 года.

Ранние прозаические опыты Тренева стали переиздаваться уже после смерти писателя. Они представлены и в нашем сборнике — это «На ярмарку», «Вор», «Травосеяние», «Из принципа», «Сватанье», «На извозчике», «Человек». Эти рассказы, извлеченные из периодики 1898—1903 годов, а также более поздний рассказ «Будочница» печатаются по сборнику «Забытые рассказы» (Симферополь, 1959). В него включена также повесть «Любовь Бориса Николаевича», но в ранней журнальной редакции (1913). Между тем автор позднее внес в текст существенные изменения, и, как и во «Владыке», нет никаких оснований их игнорировать; в связи с этим в нашем томе повесть печатается по третьему изданию сборника «Владыка» (1918).

М. Чудакова

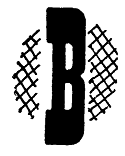
ПОВЕСТИ





БАТРАКИ

I



ложбине ходили два четырехлемешные плуга: рубашкинские рабочие запахивали последний посев — позднее просо. А по бугру, где стоял их кош, уже зеленела нежная, чуть румяная снизу пшеница. Рядом протянулась до самой балки светло-зеленая равнина — многолетняя толока, перерезанная серой полосой накатанного шляха. Полоса обрывается в глубокой балке, из которой торчит журавель колодца, но за балкой шлях опять поднимается на пригорок, блестит на весеннем солнце, как лакированный, и теряется уже вдали, меж курганами.

По балке в одну сторону видны арендаторские ветряки и гумна со старыми скирдами соломы, в другую — белеют вдали постройки рубашкинской экономии.

За передним плугом работники шли молча: большой тучный Ладько с сонно нависшими веками, похожий больше на лавочника, чем на работника, был слишком ленив, чтобы разговаривать по жаре; а Якуш, щуплый пожилой мужик, всегда угрюмо смотрел в землю маленькими черными, как терн, глазами и над чем-то думал. Скудная борода и усы у него были темно-красного цвета, и оттого заостренное веснушчатое лицо казалось вымазанным вокруг рта кровью.

Шли оба молча, взмахивая кнутами и постегивая быков, и Якуш тяжело, чуть прихрамывая, тащил большие, жирно пропитанные дегтем сапоги.

А Кострица, который шел, выворачивая ноги и раскачивая задом, за вторым плугом, рассказывал другому погонщику, девятнадцатилетнему Левке:

— Бывалыче, Егор Кузьмич Брилев, царство небесное, стану его поутру одевать, он и говорит: я тебя, Панкратий, в люди выведу, абы б только у тебя за умом остановки не вышло! А я, бывалыче, точно отвечаю: ума у меня, Егор Кузьмич, за глаза даже довольно. Только для развороту полировки малость требуется!

Кострица заправил в картуз до половины оторванный козырек, разгладил клочки где-то выщипанной бороды:

— Нешто у меня такой в то время ранжир мыслей был, как нынче!

— Не такой? — переспросил Левка, скользя по траве длинными босыми ногами и сбивая кнутом большие будяки.

Кострица брезгливо сморщил лиловый, блестящий на солнце нос:

— Да скажи мне в те времена какой-нибудь подлец, что я вот, напримериче, с этими чертями рогатыми рядом ходить буду, то я даже просто плюнул бы от недоумения!

Сердито стегнул мурого борозенного[1].

— Я, брат Левонтий, по каким статьям рассуждать могу?

— А по каким?

Кострица повернул быков на загоне:

— Цоб! А по таким, что у тебя даже внутренность заболит!

— Вишь ты! — покрутил Левка головою. — А ну, смали!

— Э, — презрительно махнул Кострица рукою, потом сказал, мечтательно щуря желто-серые глаза:

— Кандидат, напримериче! Или кассация... также кастрация! Восемнадцать слов произошел! Обо всем могу экзамент сдать!

— Значит, напрахтиковался! — покрутил головою Левка.

И, делая кнутом большие круги над быками, запел что-то скучное, тягучее.

Тихо бредут по небу мимо солнца мелкие, но плотные белые облачка — выкупанные барашки. Кострица презрительно щурит выцветшие глаза на солнце:

— Ползет, как дохлое! По деревням и солнце по-мужичьи на быках ползет! В городе не успели господа позавтракать — оно уже в обедях. Только что пообедали, пожалуйте — вечерний закат!

— Ловко!..

— Что-то наша краля не везет продовольствие!

Когда солнце поднялось уже совсем высоко, где-то далеко в балке запел женский голос, могучий, грубый, как гудок.

— Вот тебе и краля едет! — сказал Левка.

---

[1] В упряжке — правый бык. *(Примеч. авт.)*.

Приехала на быках рябая, широкая в бедрах девка Горпына — по пути на степь, где работницы пропалывали пшеницу, — завезла харчи. Плуги остановились подле коша. Работники закурили. Ладько спросил:

— Что там в якономии, красавица?! Какая есть новость?

— Такая новость, что повели свинью в волость! — сказала Горпына и захохотала так громко, что близко стоявший серый подручный бык боязливо покосился.

— С вечера управляющий на станцию уехал. А позапрошлую ночь у нас дегтярь из Белозерки ночевал! — и насмешливо повела левым, чуть поврежденным оспою глазом в сторону Якуша.

— Вот то, должно, ради тебя! — сказал Кострица.

— Нет, брат, у меня не поживишься! Я кого хочешь так турну от себя, что аж во сне жахаться будешь!

— Да тебя и наяву не только люди — волы жахаются, — сказал Левка.

А Горпына возразила:

— Не всем красулями быть! Если все такие будут красули, как тетка Лисавета, то у дегтярей полушалков не хватит, да и приказчики в кухне не поместятся.

И опять захохотала.

А веснушчатое лицо Якуша побелело, и ярче зарделись на нем чахлые усы.

— Молотили чертяки горох на твоей харе, — сказал ей Левка, — да, должно, не весь перемолотили.

— Смотри, чтобы я у тебя на голове не домолотила! — крикнула Горпына и побагровела.

— А ну, начинай!

Синие детские глаза Левки весело заблестели. Горпына плюнула в кулак и размахнулась так неожиданно, что Левка еле успел отклониться; удар вместо лица пришелся по плечу.

— Тю, кукушка рябая!

— Убью! — хрипло сказала Горпына, угрюмо сверкая здоровым глазом и встряхивая рассыпавшимися пышными волосами. — Цобе! Фьить! — присвистнув, стегнула по быкам и поехала. А сконфуженный Левка стоял и поводил ушибленным плечом.

II

Ночью прошел сильный, но короткий теплый дождь, и когда рассвело, редкие тучи убегали по голубому небу на запад.

Левка проснулся под возом, посмотрел из-под свитки кругом: толокой со стороны арендаторских хуторов брел по мокрой траве, приседая на левую ногу, Якуш.

Левка презрительно усмехнулся:

— Ха! Заблудился, слептур несчастный!..

А когда Якуш подошел к кошу — бледный и в грязи, он спросил:

— Дядьку Якуш, разве тетка Лисавета уже к арендателям перебралась?

Якуш схватил железный заноз и пустил им в Левку.

Левка быстро припал к земле, и заноз просвистел у него над головой.

Якуш молча стал лыгать быков; Левка с Кострицей тоже встали и начали запрягать. А Ладько поднял голову, осмотрел сначала небо, потом землю и опасливо сказал:

— Ой, хлопчики, рано запрягать надумали: скотинка не обсохла, да и дождик еще пойдет... Шеи волам подпарим! Испортим хозяйскую скотинку...

Но Якуш и Левка, не обращая на него внимания, запрягали быков. Кострица тоже встал.

— Скотинку, ее испортить недолго, хлопцы! А потом на чем пахать будем? — увещевал Ладько.

— Да вы мне, дядьку, дурака тут не валяйте! Помогайте! — ответил Левка, гоняясь с налыгачем за мурым быком.

Ладько грустно вздохнул:

— Боже мой, кто своей скотинки не имел, тот, видно, и хозяйской жалеть не умеет. А как у меня своих три парки воликов было, то я...

— То вы, их жалеючи, все в холодочку спали, — сказал Левка, — вот и дожалелись!

— Ну, это ты еще молокосос, чтобы об таких делах разговаривать! — сказал Ладько, сердито посмотрев на него из-под тяжелых, лениво приподнятых век. — Сказано: бог дал, бог взял!..

Стали пахать; сырая земля цеплялась за лемехи и ярко блестела на солнце. По траве вместе с мягким, влажным ветром бежали редкие тени. Шляхом тянулись шесть

фур с шерстью. Спустившись в балку, фуры остановились подле колодца. Скоро подле них закурился голубой дымок; серыми пятнами рассыпались по зеленой степи отпряженные волы.

— Пойти за попас стребовать, — сказал Левка. Локтями подтянул на ходу штаны и пошел к обозу.

— Смотри, — крикнул вслед Кострица, — объездчик наскочит — он тебе арапником всыплет попасные.

— Здорово я его боялся!

Шел Левка легко и быстро, будто кто его нес, и считал:

— Шесть пар, по две копейки с вола. Спросит объездчик, отдам ему четырнадцать или двенадцать копеек, а не спросит — все двадцать четыре дома!

Впереди по шляху шел странник в подряснике и блестела на солнце его клеенчатая котомка.

— Попасные деньги брать — это не грех, — подумал Левка.

Фурщики — два молодых парня и один с седой курчавой бородой — в ожидании, пока сварится каша, играли в карты.

— Потребую пятак с пары, — решил Левка, увидав медные деньги и почерневшие карты на плоской баклаге.

— Здравствуйте, господа... Дозвольте заплатить за попас.

— А ты кто такой? — спросил курчавый старик.

— От здешнего хозяина. Ивана Сапроновича Рубашкина. По пятаку с пары давайте.

— Да ты чем же у хозяина занимаешься?

— Чем?.. Попасные собираю. Доверитель называюсь.

— Оно и по штанях видно — доверитель!

— Фу, скажи на милость! Да я, может, в воскресный день уберусь в брюки, так все одно — что приказчик, что я!

— Так ты в воскресный день и приходи за попасным, — сказал старик. Молодые засмеялись.

Левка рассердился:

— Да вы мне, пожалуста, ума не вставляйте! У меня, может, пять плугов распорядку ждут! Два тут да три за бугром. А вы тут мне время задерживаете! Давайте тридцать копеек!

— Пошел к бисовой матери! — сказал молодой скуластый возчик, тасуя карты и проводя внутренней стороной большого пальца по языку.

— Ну нехай уж для вас по три копейки, — объявил Левка.

Старик посмотрел в карты и сказал:

— Вышел!

— Замирил, — отвечал белокурый и пошел карту.

Левка, став на колени, некоторое время следил за игрой, потом и сам пристал, но ему не повезло.

— А ну — на последние! — стукнул он об баклагу двумя копейками.

— Последняя у попа попадья! — сказал старик.

— А позавчера у слободского попа и последняя поповна умерла, — сказал белокурый и вздохнул. — Ох, и красивая ж была!

— Да оне и те две дюже красивые были, — сказал старик. — Да в девках померли. Как пора замуж, так и стрыб за матерью в могилу.

Левка проиграл все свои деньги — восемнадцать копеек, а отыграться нечем. Попросил за попас хоть гривенник — не дали.

Стал браниться.

— Жилы чертовы! Шкурники! Кровь с нашего брата, рабочего народа, пьете! Подождите! Мы вам из ваших спин батогов нарежем!

Возчики возмутились:

— Да ты чего, пройдисвет, лаешься? По шее хочешь?

Левка обрадовался, на плоских щеках вспыхнул румянец; ныряя головой на тонкой шее, подался вперед:

— А ну, дай... дайте, пожалуста! Хоть раз!

Но дать было некому. Старому возчику не хотелось связываться, белокурый не понимал, за что драться, а скуластый и не прочь бы, но боялся начинать.

— Что же вы не даете? — спросил Левка. — Да я вас тут, как мух!

Взмахнул в воздухе правым кулаком, потом навстречу ему левым и очень довольный всем, не думая ни о попасных, ни о проигранных деньгах, пошел к лугам.

III

Когда солнце поднялось уже высоко и запахли нагретые им травы, чуть слышно донесся далекий звон. Ладько прислушался и сказал радостно:

— Значит же, сегодня большой праздник! В большой

колокол звонят!.. А мы грешим, работаем!.. Так, должно, и умрем без покаяния!..

Но Левка догадался:

— Это не праздник. Поповну сегодня хоронить будут. К обедне звонят... Вот бы на поминки зажарить! Небось есть чего покушать...

Плуги обошли загон; когда шли по лощине, звон как будто умолк, а поднялись на шпиль, опять полился, мягкий, торжественно-далекий.

Левка бросил налыгач на ярмо и, взмахнув кнутом, сказал:

— Иду!

— Это куда же? — спросил Кострица.

— Поповну поминать.

— А кто ж быков будет погонять?

— Да черт их бери! Попогоняйся один. Я в мент вернусь.

— Гм... хороший, скажите, пожалуйста, мент! Двенадцать верст туда да двенадцать, напримериче, обратно...

— Сроду на хороших похоронах не был, так ради такого случая не пойти!

— Тьфу, куда ж ты, голодранец, годишься? Там, может, одних священников сколько будет, не говоря уже об господах, а у тебя шапка — три дня латать потребуется.

— Шапка в руках полагается.

— А штаны?..

— Как бы ж я на свадьбу! А на похороны не зиськуется.

Левка закинул кнут за плечи и, скользя босыми ногами по траве, пошел через балку по направлению к слободе. Сначала шел широким шляхом, со старыми, поросшими травой колеями по сторонам. Потом свернул на узенькую, но тоже хорошо накатанную дорогу. Шел быстро, размахивая длинными руками. Поднялся на бугор. В стороне, где ложбиной проходит межа, бродил по рубашкинскому сенокосу арендаторский скот молодняк. Передние были уже близко от лоснящейся на солнце буйной озимой пшеницы. Левка всмотрелся: два пастуха с подпаском лежат у самой межи.

— Если балкой подкрасться сзади, можно всем трем арапником всыпать... Под кручей, может, еще черти лежат... Ну да пока добегут, можно утечь...

В груди у Левки сладко вздрогнуло, синие глаза заблестели.

— Плохо только — на поминки тогда не успеешь...

Левка остановился в раздумьи, прикинул на глаз расстояние.

— Пока туда-сюда, пока драка — опоздаешь, чтоб его... Да еще если рубаху разорвут, как в прошлом годе ореховцы, или губу раздерут, — на похороны такой уж не явишься.

Решил:

— Оттуда зайду! В слободе дрючок захвачу. Я им покажу межу!

— А-ря-ря-ря! — закричал он, размахивая кулаками. — Я вам, чертовы сыны, посчитаю ребра!..

Стал спускаться с бугра в ложбину, крикнул:

— А ну бегом!..

Взмахнул кнутом и побежал.

Солнце еще под обед не поднялось, когда с бугра открылась слобода, протянувшаяся вдоль заросшей камышами и вербами речки. За слободой тянулась к речке балка, доверху заросшая вербами. А за ней до горизонта стлались бурые жита и густо-зеленые пшеницы. С высокой белой колокольни несся похоронный перезвон. А от церкви по улице двигалась большая толпа, реяли впереди хоругви.

Левка сбежал к пересохшей речке. Среди речки стояла баба по колени в воде и пыталась погрузить в нее рассохшуюся кадку.

Поднявшись от речки, Левка попал прямо в толпу. Спрятав рваную шапку за пазуху, крестясь и работая локтями, он легко растолкал народ и очутился у гроба, подле высокого, тонкого батюшки без риз, с острым седым клочком на подбородке. Одной рукой батюшка держался за гроб, а другой все приглаживал на виске седые волнистые волосы. Левка посмотрел в лицо — желтое, потемневшее, словно вылепленное из воску, смешанного с землей, а под глазами были черные круги, как будто тут пыль залегла.

Левка подвинулся вперед, заглянул в гроб через голову какой-то бабки и замер с раскрытым ртом.

На серебряной подушке спало осыпанное цветами бледное лицо с тонким шнурком бровей на мраморном лбу и с бахромой ресниц под ним, со скорбной улыбкой

у рта: казалось, девушка вот-вот грустно улыбнется или заплачет.

Левка никак не ожидал, что на свете может быть такая большая, уходящая красота, и в грудь его хлынула сначала радость, а за ней щемящая грусть. Растерявшись, он отстал от гроба. Бросился потом догонять, но догнал и проложил себе дорогу уже у могилы, когда гроб закрывали крышкой, и он на мгновение увидел белый точеный лоб и богатую прядь каштановых волос.

Гроб стали опускать в могилу, а батюшка все крестил его частыми крестами и нагибался к могиле все ниже, ниже, будто опускавшийся гроб тянул его за собой, пока не коснулся головой края могилы. Его подняли, и он снова стоял тонкий, прямой и внимательно следил сухими глазами за сверкавшими на солнце лопатами, и все приглаживал волосы на левом виске.

Левка стоял тут же и все еще не мог опомниться. Выхватив из рук у маленького старика лопату, стал швырять землю в могилу. Потом он пошел к батюшке во двор на поминки. Духовенство и благородные поминали в доме, а для простонародья были разостланы скатерти по двору от кухни до ворот. Поминки, действительно, были такие, каких Левка отродясь не видал... А есть, к удивлению, не хотелось. В груди стояла большая, все заслонившая грусть... Странник с черной бородой сидел за обедом недалеко от Левки и говорил:

— Теперь из благородного сословия только девицы в царство небесное попадают. Потому что нынче среди барынь блудниц такое множество развелось, что нет возможности всех прощать!

В конце обеда высохшая старушка в черном, должно просвирня, раздавала медовые коржики. Старый кривой попов работник ходил за ней следом с наполненной коржиками большой корзиной, и она клала перед каждым по две штуки.

— Дайте, бабусю, рубашкинским рабочим, — сказал Левка, подставляя вынутую из-за пазухи шапку. — Помершую помянуть...

— Да я вас, этих рубашкинских рабочих, сроду в церкви не видала, — сказала старуха и бросила в шапку маленькую горсточку коржиков.

Этого, разумеется, слишком мало. Левка, улучив момент, когда сторож отвернулся, и за спинами у поминальщиков зачерпнул из корзины еще горсть.

Спрятав коржики за пазуху, он пошел домой. У моста женщины с бочкой уже не было, вместо нее босой без шапки мужик поил лошадь.

— Эх, называется при речке живут! — насмешливо сказал Левка. — А искупаться негде. Народ тоже!..

Мужик смерил Левку сонным взглядом и спросил:

— А ты это с какого моря-окияна такой сазан вынырнул?

— Некогда мне тут с вами, народами, разговоры разговаривать! — сказал Левка. — Меня худоба в ярмах ждет! А то б я тебе показал сазана!

Поднявшись на бугор, Левка оглянулся на слободу. За выгоном, средь буреющего жита, маячат убогие кресты, некоторые прячутся за зелеными ивами. Вон подле трех белых памятников свежая могила, и опять остро заныло в груди. Пошел дальше, оглянулся — слобода уже спряталась за бугром, только что часть выгона да кладбище видно.

Жаль стало уходить: Левка постоял немного, посмотрел — хоть плачь. Вздохнул:

— Царство небесное!

И быстро пошел степью. Грустно дрожали сине-зеленые дали. Дорогой Левка вспомнил, что надо зайти арендаторских пастухов прогнать, и почесал затылок: забыл в слободе дрючок разыскать. Свернул вправо к меже, чтоб незаметно выйти из-за бугра прямо к пастухам.

Но когда вышел, пастухи и стадо были уже далеко на арендаторской толоке. Левка пошел межою мимо озимой пшеницы. С краю на большом пространстве она была съедена, вытоптана. Грустно припали к земле поломанные стебли. Левке стало жаль молодую погубленную зелень: полгода назад он засевал ее. А тут живо представилась поповна — как эта пшеница, в цвету увядшая...

— Я вам, паршивые души, за пшеницу ребра потрóщу! — закричал пастухам что было силы. А сам думал:

— Неужто все три дочки такие красавицы?..

Вспомнил поучение монаха о блудницах:

— А ведь, пожалуй, верно: всех их в царство небесное пускать не следует! Вот таких, как тетка Лисавета, — это еще можно. Надо ей коржиков занести!

Он свернул к экономии; вербами, чтоб не увидел приказчик, прошел к скотному двору, через него на кухню, откуда слышно было пение Лисаветы. Лисавета, стоя спиной к двери, засучив рукава и подтыкав юбку, подма-

зывала печку. Левка подкрался сзади и закрыл ей глаза руками.

— Ой, кто ж это, серденько? — засмеялась Лисавета.

И когда открыла глаза, ласково удивилась, блеснув зубами и карими глазами:

— Чего тебя серед рабочего дня чертяки принесли? Лодыряка!..

— В слободе был... У поповны на похоронах...

— Да неужто ж и эта померла!..

По румяным щекам ее вдруг градом покатились слезы:

— То ж звон был.

— Ох и хорошая ж! — вздохнул Левка, вытаскивая из-за пазухи коржики. — Лучше áнголя!.. Я и не знал, что такая может быть... Вот поминайте, тетка.

— Голубонька сизая, кто ж по ней тужил?

— Да никто. Только батюшка шел, да и тот не плакал.

Лисавета закрыла глаза, помолчала и, сложив руки под грудью, стала тихонько причитать:

— Рано с вечера в небе зиронька одним-одна загоралася, в темную речку на красу свою любовалася... Рано с вечера бледный месяц из-за горы всходил на небо. В тихой радости ему зиронька усмехалася: ты мой братец, ты дружина моя суженая! А ближе бледный месяц подходил, ясна зиронька тут жахалася, побелела вся: ой, не братец же ты, не дружинонька, ты мне смертонька злая, ранняя!..

Левка слушал, сочувственно встряхивая опущенной головой.

А Лисавета причитала о том, как поповна одна в далекую дорогу собиралась, да не было ни сестры, ни матери, чтоб одеть ее и косы заплести.

— Будет уже, тетка, — попросил Левка, тоскуя. — Будет, говорю, чего там уже...

Лисавета не сразу отняла руки от глаз и как со сна, недоумевая, осмотрелась.

— Ну, чего его там...

— Да так, с дурного ума! — засмеялась она и стала есть коржики. — Я как дивчиной была, то вся Гайдарь меня так и знала: как некому над помершим тужить, то за мной и посылают. А я, было, как гляну — особливо если молодое померло — сердце у меня зайдется, и как начну голосить да рассказывать, какой он хороший был,

так и родная мать того про него не знает и не скажет... Ох, стоит ще в грудях — не дал ты мне всего выплакать!

Левка помолчал и усмехнулся.

— Погодите, дядько Якуш придет с поля, он поможет доплакать... С кем эту ночь ночевали?

Лисавета сделала большие детские еще глаза:

— С господом милосердным. С кем же еще больше?

Она передернула плечами и поправила на груди расстегнутую вышитую полотняную рубаху.

Левка сказал:

— Показал бы вам дядько господа милосердного, да горе его — куричья слепота одолела!.. С вечера полегли спать, только было задремал, слышу, мой дядько пошмурыгал от коша. Та-ак... Только вижу — не на ыкономию правится, а все цобе[1] забирает.

Лисавета вздохнула:

— Мое серденько!.. Как время к Петровке, так она и тут, злая напасть...

— Смех меня под свиткой так и бьет... Верни, кричу, дядьку, цобе! Смотрю под месяц — так и есть! Совсем в степь повернул... Сегодня просыпаюсь, а он от арендаторских хуторов шкандыляет!..

— Ах ты ж, царица небесная! Прошлым летом покормила я его три вечера воловьей печенкой — как рукой сняло. А теперь опять прицепилась клятущая слепота! Днем человек, а как зашло солнце, так хоть плачь!.. Как на грех никто вола не режет!

Вошла Горпына, быстро ткнула острым взглядом в Лисавету, Левку, в коржики. Удивилась:

— Левка уже подкатился! Откуда такого угощения набрал?.. Вот будет дегтярь назад ехать: он тебя квачем поквацюет!

— Заквакала жаба! — Левка нахлобучил шапку и быстро пошел на кош.

IV

Под вознесенье рабочие шли ночевать в экономию. Солнце уже зашло, оставив на небе только золотую пыль, засыпавшую край полей. По склонам балки вились ряды вытоптанных стадом дорожек, и это было похоже на ребра, а на дне в кустах пели два соловья. По дороге

[1] Вправо.

проехал верхом на лошади, запряженной в соху с перевернутыми вверх сошниками, чернобородый арендатор.

— Дай, друг любезный, покурить, — попросил у него Кострица,— до пылинки в степу докурился!

Арендатор искоса угрюмо глянул в сторону рабочих и проехал молча.

Кострица сплюнул.

— Видал куркулей?.. Называется — землю обрабатывают. По двести десятин на рыло арендуют, а ковыряют сохами, как оспа на физиономии! За пять лет засорили землю — овсюг один да сурепица растет!

— Не хочется только рук пачкать, — сказал Левка, — я б его поковырял!

— Земля должна только барину принадлежать! — сказал Кострица. — Мужик же должен только труд давать! Барина земля видит — возвеселяется и цветами украшается, мужика же видит — в огорчение впадает и будяком зарастает!

Левка с уважением покрутил головою:

— Ишь ты, ловко!.. А говорят, такая земля есть, где ни панов, ни мужиков, все одинаковы.

— Этого не может быть!

— А почему?

Кострица объяснил:

— Как это один человек может сразу и барином и мужиком быть?

— А грец его знает — как...

Когда подходили к экономии, далекие поля уже тонули в сумерках, и там, где зашло солнце, низко мерцала в зеленом небе вечерняя звезда, будто невидный кто-то держал свечку над степью.

А на другой стороне поля уже белели края засыпавших тучек и скоро выглянул месяц.

За двором Горпына рвала какую-то траву.

Годувала мене маты,
Як перепелычку! —

пела она низким грудным голосом так громко, что в ушах стучало, и не слышно было ни скрипа подъехавших арб с сурепой, ни рева телят за сараями, ни гоготанья возвратившихся с пруда гусей.

Якуш плохо видел и шел по двору с опаской, нащупывая дорогу палкой с железным наконечником для

чистки лемехов. Он прошел к кухне. Прислушался — Лисаветы не слышно. Заглянул в кухню — тоже нет. Повесил кнут на гвоздь и через поветь при конюшне прошел на скотный двор, где в длинной тени от сараев чуть маячили серые коровы. Прислушался — и тут тихо. Вдруг он услышал у стенки сарая на другом конце тихий разговор и словно бы звуки поцелуев. Прислушался — Лисаветин голос... Якуш сжал в руке палку и, пригнувшись, стал неслышно пробираться туда меж коровами. Ничего не было видно. Только ходили в глазах зеленые круги. Якуш остановился перевести дыхание.

— Будет же, мой голубчик, будет уж, родной,— говорила Лисавета ласковым полушепотом,— приходи еще завтра на зореньке.

Якуш выглянул из-за коровы.

— Ой, господи...— отшатнулась Лисавета и выпустила из рук теленка, которого за шею оттаскивала от вымени.— Да это ж вы... мой голубчик. А я ждать-пождать — что ж это запозднились...

Теленок опять зачмокал. Якуш размахнулся и, подпрыгнув, ударил Лисавету кулаком по лицу. Она тихо охнула и пошатнулась:

— Ох, господи... Молоко...

И потом заговорила ласково:

— Ну, ничего, ничего... Выпейте молока... не надо, серденько, слушать того, что злое, не надо... Только доброе слухайте! А злое пусть мимо ушей летит.

Якуш прохрипел:

— Да про тебя, шкуреху, кто доброе скажет!

— Да, может, и скажет еще... Вы только слушайте... как сватали вы меня — хоть бы одна душа доброе слово про вас сказала. Кого ни спросишь, все ругают. Слушала я, слушала и до того мне, серденько, жалко вас стало... Вы, было, идете по улице, а я смотрю сквозь тын да от жали плачу. И такая меня на людей обида взяла... Коли ж вы, говорю, такие-сякие, ничего хорошего в человеке не приметили, то я сама найду! Взяла и вышла за вас... И вот же нашла!

— Нашла, гадюка! — проскрипел Якуш зубами, жадно рассматривая снизу вверх бледное при луне чернобровое лицо и сияющие пьянящей лаской глаза — нельзя оторваться от них.— Нашла, подлюка... А у дегтяра что нашла?.. А у бахаревского приказчика в прошлые жнива тоже нашла?..

А глаза у нее сразу потухли, и сбежала улыбка с застывшего мелового лица. Только заколыхалась высокая, слабо прикрытая рубахой грудь.

Хотелось рвать эту грудь, топтать ногами.

— У, тварь!..

— Будет же... будет...— В упавшем голосе звенела только жалость и тоска.— Пойдемте вечерять...

И когда они пришли к кухне, там у порога на земле уже сидели за ужином человек десять рабочих. Сел и Якуш. А Лисавета процедила и отнесла на погреб молоко, потом достала из печки вареную воловью печенку и, сев подле Якуша, стала кормить его.

Рядом с Якушем сидел старый пастух Жменя, за ним конюх Пантюшка, а против — Кострица. За его спиной сидели две собаки: одна лохматая, дворовая, а другая — приказчикова гончая. Кострица бросил им по куску хлеба и сказал:

— Вот обратите внимание! Этот кушает, как барышня, благородно и прекрасно, а этот — видали? Давится, проклятая крестьянская порода!.. Пошел вон, чтобы тебе трижды издохнуть!.. Терпеть не могу!.. Да... Тут тоже задача смысла: обе собаки сотворенные богом. А почему, примериче, одна сволочь, а другая благородная? Потому что в барских руках потерлась! Так же и человек! Кого бог создал прежде? Мужика ай барина?

— Господь Адама с Евой создал,— сказал Ладько, вздохнув.

— А Адам с Евой кто были? Господа были! Потому — все им отдано было во владение, как земля, как живность. Ну потом отчасти отобрали и за грехи выгнали из рая. А в восьмом колене уж мужичье расплодилось.

— Из рая не за грехи выгнано,— сказал Жменя, черпая кандер из котла.— А за правду! Потому что правда срозь не нравится и за правду человек везде страждает!

— Кушайте, голубчик,— тихо говорила Лисавета Якушу, разрезая печенку на мелкие куски,— оно, бог даст, уже завтра прояснится!

— Вот, напримериче, почему мужик так плохо видит, что даже куриная слепота на него нападает? — спросил Кострица.— Оттого, что плохо кушает! Почему мужик даже землю под ногами не видит, а барин даже на небесах каждую звезду в огромадном виде разучивает? Астрономы называется! Кушают — уму непостижимо... Магазины для них астрономические полагаются — только

птичьего молока нет! Паюсная икра, примерно, или колбаса, сортимент называется!

— Вот то́ жизнь! — сказал Пантюшка, сплевывая.— Это можно звезду увидать! А как тут тебе кандер такой — крупина за крупиной гоняется с дубиной, так не дюже рассмотришься!

— Это не пищей деется,— сказал Ладько,— а от спокою. Праведнички божии только просвирочкой питались, а не то звезды, даже ангелов на небесах видали! Оттого, что в спокое в келийках сидели, только молитовку творили!..

— При пище,— говорил Кострица, не слушая, закрыв глаза.— Да ежели с трубой и книжкой... У его всякая звезда перед глазами...

— Чтоб они ему повылазили! — проворчал Пантюшка, все еще сплевывая.— Харцызы!..

— Труба? Я эту трубу ихнюю знаю! — взвизгнул Жменя.— Вот где она у меня сидит!.. Как сгорело у меня дите семи годов, а сам с жинкой в одних рубашках выскочили... Заместо двора только печка осталась! Сидим поутру — жинка все головой об печку бьется, а он, старый Леберь, едет мимо на дрожках, морда как у бугая, кричит: сколько раз говорил таким-сяким невежам — пожарную трубу купить!.. Так я эту трубу по гроб жизни не забуду!

Кострица возмутился:

— Поговори так вот с глупыми людьми! Тут разговор касается, примериче, трубе подозрительной, а он про пожарную кричит!

— Да я за правду до смерти кричать буду!..

Пантюшка тоже стал кричать и браниться: нанялся к Рубашкину на хозяйской обуви, а он вместо сапог опорки выдал — под крещенье повез барышню на станцию — ноги отморозил, шесть пальцев отрезали.

Левка вспомнил украденные новые валенки — непременно Пантюшка!

Стало так скучно, что и ужинать бросил. Вышел за ворота, мимо гумна с клуней и длинными скирдами соломы прошел в поле.

Теплый, не остывший еще ветер сонно дышал в лицо запахом полыни. В небе, как и в степи, было светло и пустынно. Два-три одиноких светлых облачка бродили подле месяца, и, когда встречались с ним, по степи скользила легкая тень. Потом облачка куда-то скрылись, а ме-

сяц один остался в темно-голубом просторе и сеял на уснувшую степь серебряную пыль. За скирдами сонно прокричала сова-сплюшка, и все опять стихло, только в матово-серебряной полыни трещал сверчок.

В груди у Левки была такая же печаль и такой простор, как и кругом, так же пустынно и одиноко... Когда на людях, этого не замечаешь, только скучно. А здесь — засосет что-то под сердцем, а что оно такое?.. Лишь только станешь думать — уже и думки нет: утонуло в степи без следа, как крик сплюшки, и ухватиться не за что. И нету слов, чтобы обозначить ее. Только сосет в груди. Эта пустая степь душу высасывает!

— Вот проклятая жизнь! — сказал Левка и стал думать о покойном батьке.— Тоже, видно, степь всю душу высосала. Вышел на третий день великодня в поле да и не вернулся, пропал без следа...

Выгон кончался глубокой каменной балкой. Левка подошел к ее краю: тут тоже тихо и пусто; чернеет в стороне каменоломня.

Левка вырвал торчавший из земли большой камень и, сколько было сил, толкнул его вниз. Камень с гулом покатился по откосу, но замолчал, не докатившись до дна балки, и опять стало тихо; только пахло, как ладаном, богородицкой травкой. Вспомнилась поповна, спокойно-бледная, как месяц,— сладко заныла в груди острая печаль. Вот бы от кого слово услыхать... Да сделать бы то, что она скажет!.. Представилось, как ходила она живая по двору... И на иконах такой красоты нету... Даже в горле защипало. Знатье́ бы — наняться до попа вместо Рубашкина!.. Махнул рукой:

— Э, пойду хоть теперь наймусь!

Левка зашагал по направлению к слободе, и быстро бежала впереди него короткая тень. Но вспомнил кривого работника, что разносил коржики, и повернул назад.

А высоко поднявшийся месяц теперь смотрел ему в лицо, и Левка думал:

— Может, и теперь ходит по двору?.. До шести недель ведь...

А по двору в это время батюшка ходил. В комо́ру прошел, взял оттуда один хлеб и кусок сала, работнику с работницей харчи на завтра. Зашел под поветь, где старый работник уже укладывался спать, поговорили о том, что послезавтра надо пораньше на плесо за травой ехать. Потом прошел посмотреть, закрыта ли калитка на ого-

роде. А вернувшись в комнату, спокойно стал перед киотом, освещенным голубым светом лампады, и вполголоса, деловым тоном, стал читать правило к завтрашней обедне.

Окончив правило, пошел на балкон, где ему постлана была постель, и, когда прямой и твердый шел через комнату, где белела при лампаде и свече опустевшая вчера постель, был все так же спокойно холоден. Но нечаянно рукой коснулся висевшей на спинке стула кофточки, и от этого вся сила, сколько ее спрятал, мгновенно разрядилась и ушла куда-то, должно быть в землю.

Слабый, сгорбившись, прошел он к постели, и, когда лежал комочком под одеялом и тихонько плакал, похож был уже не на батюшку, а на забытого сироту мальчика.

Во дворе и на церковной площади спал свет месяца. Сияли кресты на церкви. Потом раздались шаги в тени ограды: колокол стал бить часы. Звон катился по степи, таял в травах и хлебах, и когда, почти растаявший, догнал Левку, тот остановился и стал было считать, но насчитал только восемь.

Мимо приказчичьего дома, уснувшего в тени двух больших старых верб, Левка прошел на черный двор. Тут давно уже все стихло. Среди двора, подле бочки спала кучка гусей. Вдоль плетня тускло блестел ряд надетых на колья кувшинов. Проходя мимо белой при месяце кухне, Левка услыхал стеганье кнута и заглянул в выбитое окошко: Лисавета в одной рубахе стояла, прижавшись к печке, а Якуш стегал ее кнутом. Оба молчали, только Лисавета при каждом ударе всхлипывала, будто обжигаясь и втягивая воздух.

— Эй ты, ковалер! — сказал Левка.— А ну брось...

Но Якуш не обращал внимания и продолжал стегать.

Левка вошел в кухню и вырвал у него кнут. Якуш, взвизгнув, бросился драться, но Левка, свалив его на землю и скрестив ему руки, уселся верхом.

Лисавета застонала:

— Голубчики, не надо... Ради Христа... Ради месяца ясного...

Левка вышел из кухни, захватив в сенцах свитку, и улегся спать за кухней, где на траву падала густая тень от плетня, но не мог уснуть до самого рассвета.

V

С утра Ладько надел чистую рубаху, жирно смазал волосы деревянным маслом, а сапоги дегтем и, празднуя, неподвижно сидел в тени кухни до обеда. А в кухне Лисавета наряжала Горпыну в свою красно-зеленую кофту. В вербах за прудом уже собрались хлопцы и дивчата — арендаторские и с двух экономий, слышны были песни и гармоника.

Лисавета была головой выше приземистой Горпыны, талия ее кофты ложилась у Горпыны ниже спины, а под руками трещала.

— Ох, моя ж ясочка! — певуче говорила Лисавета, сияя карими лучистыми глазами. — Как королевна!..

Вплетала яркие ленты в большие черные косы Горпыны и радостно качала головою:

— Да за такие же косы не то парубок, паныч полюбит!

— Эге ж, — угрюмо ворчала Горпына, — здорово они, проклятые, косами нуждаются!.. Им бы только морда, а с головы хоть лысая будь... Вон Химка уже с объездчиком женихается, а у самой два мышиных хвостика на голове!

— А ты, голубонька, не завидуй, тебя еще лучший кто-нибудь возьмет!.. Ты только не перебирай.

— Чего мне перебирать! Мне уже двадцать четыре года.

Лисавета заглянула ей в лицо:

— Может, кого-нибудь наглядела уже?.. Ты, ясочка, только подморгни мне на того, кого оком накинула, а уж я ему расскажу, какая ты хо-рошая! Полюбит тебя... Будешь ты одна у него, как голубка. Пылинке на тебя упасть не даст...

Горпына улыбнулась и, качая широкую спину на коротких ногах, пошла в вербы. А Лисавета восторженным взглядом проводила ее до ворот.

Скоро от верб донесся могучий контральто Горпыны. А когда раскаленное докрасна солнце уже спускалось к густеющим к вечеру зеленям и пробежал шепот в вербах, Горпына вернулась на кухню. Пышные косы ее были растрепаны, а измятая, вываленная в пыли кофта лопнула под мышками. Багровая от злости, хрипя и сплевывая кровь из разбитой губы, она рассказала, как вздумали посмеяться над нею два парубка и как она, не стерпев

обиды, бросилась в драку; дрались долго, но парубки ее одолели, поколотили и проводили со свистом.

Лисавета бросила искать в голове у Якуша и стала было успокаивать.

— Ну ничего, моя ясочка... Может же, это любя... Бывает... Вот у нас с мужем...

Горпына посмотрела в ее красивое лицо, измерила горящим взглядом высокую стройную фигуру, и в этом взгляде вспыхнула ненависть.

— Да у тебя сколько мужей?.. Сегодня дядько Якуш, а позавчера, должно, Левка?

Встретила грустную тревогу в больших глазах Лисаветы, зло захохотала:

— Посмотрите на нее, дядька Якуш, какая святая да божья! Это оттого, что хорошо с Левкой поповну помянули! Поищите у ней коржики под подушкой.

Плюнула и вышла из кухни.

Вечером рабочие возвращались на кош. Ладько ушел перед вечером, а Левка с Якушем и Кострицей — после ужина. Как и вчера, поднимался над полями чуть ущербленный месяц. Было тихо и далеко слышно, как впереди в ложбине фыркали чьи-то выведенные в ночное лошади. Якуш хоть и шел позади, но сегодня видел гораздо лучше. Когда спустились к меже, увидели, что по хозяйской пшенице бродят арендаторские лошади. Левке даже жарко стало: вспомнил, сколько потоптали пшеницы третьего дня... Бросился к лошадям. Кострица закричал:

— Гони в экономию! Пущай по красной за голову заплатят!

И тоже побежал ловить лошадей. Но в это время на курганчике поднялись из травы три фигуры. Левка бросился к ним навстречу.

А Кострица увидел, как Левка, размахивая кулаками, завертелся между ними, заметался по меже и закричал:

— Бей их, сучьих невеж!..

Бросив Левку, арендаторы стали братать лошадей, а Левка вернулся на межу, вытирая рукавом кровь с лица.

— Держи, держи мошенников! — кричал Кострица.

— Да ты что ж это! — крикнул Левка. — Почему не помогаешь?

— Просто сказать, не хочется с мужичьей сволочью связываться!

— Ага! Значит мужик сволочь, а ты очень благородный! — Размахнулся и сбил Кострицу с ног. — Я тебе благородство выбью!.. А ты чего стоишь?.. Только с жинкой храбрый! — дал Якушу кулаком под бороду.

— Корржики! — зарычал побелевший Якуш и ударил Левку сзади железным наконечником по голове.

— Ха, — крякнул Левка, рванулся вперед, но споткнулся у курганчика и захрипел.

А когда подбежал Кострица, он уже лежал спокойно...

— Караул! — закричал Кострица вслед уезжающим арендаторам. — Убили человека, сукины дети! Невежи!

И побежал назад в экономию. А Якуш, тяжело приседая и не оглядываясь, шел через пшеницу к кошу.

Утром было ясно, но ветрено: майский ветер нес по шляху пыль и волновал бархатную пшеницу по ложбине, пырей и ковыль на курганчике и белые, как ковыль, Левкины волосы. Ладько сидел рядом — сторожил прикрытого свитой Левку. А вдали Кострица с Якушем, молча, допахивали одним плугом. Другой плуг стоял на загоне, и тут же, по толоке, испещренной желтыми пятнами молочайника, ходили свободные четыре пары быков.

Два раза приезжал приказчик. Пришла Лисавета, села у ног Левки и, подперев щеку ладонью, смотрела, как привольно спит он, полуоткрыв чуть опущенные губы, откинув левую руку на траву, и не вытирала крупных, падающих на траву слез. Потом глянула кругом и, уже закрыв глаза, начала причитать:

— Да упал сокол, да упал ясный при битой дороге. Да нет ему в чистом поле ни жалю, ни помоги...

Подходили люди из экономии и хуторов, смотрели на Левку и молча слушали Лисавету. Станового ждали...

В обед пришел пастух Жменя, стал кричать:

— Я знаю, чье это дело! Это беспременно Хомка рендатель! Меня тоже похвалялся убить, да я, брат, молчать не буду! Я за правду до смерти кричать буду!

Ветер донес приближающийся от шляху ласковый перезвон почтовых колокольчиков.

1916

ВЛАДЫКА

I

Когда иподиаконы одевают владыку в лиловую мантию с красными и белыми полосами внизу, серебряные бубенчики ее звенят тихо и медленно, в тон детскому трио, что поет: «Ис полла эти, деспота»[1].

Владыка Иннокентий кладет последний земной поклон перед престолом и выходит из алтаря на амвон.

Половина свечей потушена уже в конце всенощной, и кафедральный собор тонет в полутьме. Только в разных местах сверкает золото икон. У амвона толпа молящихся подходит под благословение владыки. Черный клобук резко вырисовывает изможденное, слишком молодое для архиерея лицо, с небольшой клиновидной бородкой, с тонкими изогнутыми бровями над опущенными, чуть припухшими веками.

Он благословляет, не видя тех, кто подходит. Только чувствует, как иногда мягкие женские губы дольше обыкновенного прильнут к его руке. Быстро ее отдергивает и плотнее прикрывает глаза за длинными ресницами. Еще раз звенят бубенцы мантии — благословение кончилось.

Архиерейский дом на той же площади, что и собор, но владыка едет домой в карете. Пока едет и потом поднимается по широкой лестнице во второй этаж, не переставая твердит молитву.

«Меньше дышать, нежели как вспоминать о боге должно», — поучает Григорий Богослов. И владыка Иннокентий, по примеру древних подвижников, давно уже привык в свободные от занятий минуты дыхание свое привязывать к воспоминанию о боге. Оттого молитвы его всегда текут ритмически, в такт дыханию.

В архиерейских покоях тепло и уютно; с тихой лаской теплятся лампады у золотых киотов, золотя иногда и серебряные узоры, что нарисовал мороз на стекле окон.

---

[1] На многие лета, владыка *(греч.)*.

В зале пахнет ладаном и свечами, в кабинете — регальным маслом.

— Не приходил еще отец ректор?

— Нет, ваше преосвященство.

Но отец ректор легок на помине; уже слышны в зале его тихие шаги, а потом мягкий молодой голос:

— Господи Иисусе Христе сыне божий, помилуй нас!

— Аминь.

Отец ректор еще моложе владыки, но уже с выраженной наклонностью к полноте. Роста среднего, владыке по плечо. Лицо его кругло, румяно, с затерянной на белизне щек скудною светлою растительностью. Закутанное монашеским куколем, оно очень похоже на лицо благочестивой женщины.

— Простите, Христа ради, что отвлекаю вас епархиальными делами, ваше преосвященство.

— Бог с вами, отец Серафим! Вы меня простите, что столь утруждаю вас.

Садятся за большой, заваленный бумагами стол. Идут дела административные, потом учебные. На них особенно долго задерживается владыка, может быть малодушно оттягивая время у дел дисциплинарных. Но этого креста не миновать.

— На священника Доброхотова жалоба, — докладывает отец ректор. — В среду и пяток вкушал мясную пищу. Следствием подтверждено.

— О господи! — тихо вздыхает владыка.

— В объяснение представил слабое состояние здоровья.

— Что ж... На месяц в монастырь.

— Вдовствующий священник Восьмигласов обвиняется в прелюбодеянии. Следствием подтверждено, но объяснений со стороны обвиняемого не представлено.

На прозрачном лице владыки страдание. Пишется резолюция:

— Запретить на год в священнослужении.

— Крестьяне-арендаторы просят, ввиду неурожайных лет, сбавить аренду.

— Это, отец ректор... какие же крестьяне?

— Арендаторы архиерейской земли.

— Архиерейской?..

— Да... разве вы еще не знакомы с источниками ваших доходов?

— Н-не совсем.

— По крайней мере, общую сумму их знаете?

— Нет! — сконфуженно улыбнулся владыка.

— Видите ли, архиерейские доходы нашей епархии равны двадцати трем тысячам. Источники их следующие: шесть тысяч жалованья из государственного казначейства, восемь тысяч с монастырей и девять — аренда с архиерейской земли. Крестьяне просят по случаю неурожая понизить аренду до шести тысяч.

— Что ж? Если неурожай, понизим?

— Едва ли это пристойно будет, ваше преосвященство: ведь эта доходная статья — не ваша личная собственность, а дома архиерейского. Притом пойти навстречу этой просьбе — создать крайне опасный прецедент. Знаем мы эту публику: ныне просят скинуть три тысячи, в следующем году попросят шесть!

— Да, если же незаконно, пожалуй, лучше отклонить?

Занятия епархиальными делами продолжаются полтора часа. В девять часов отец ректор отбывает из архиерейского дома.

— Спаси Христос, что помогли нести тяжелое бремя, — целует его владыка и провожает на лестницу.

Возвратившись к столу, сидит некоторое время наедине со своим раздумьем. Тяжелое это послушание — епархия! Острой скорбью скорбит сердце, вырывая тернии с нивы Христовой, изгоняя бичом торгашей из храма. Каких озлоблений и ран не принял бы он на свое тело, чтобы не класть тех двадцати карающих резолюций, что положены сегодня... Но — твори волю пославшего!

Такой головокружительно быстрой карьеры не запомнят старые архиереи. В 34 года ректор академии, епископ Иннокентий получил самостоятельную архиерейскую кафедру в богатой южной епархии.

В архиерейских сферах это произвело сенсацию. Сжалось завистью не одно старое сердце. Все, однако, видели, что этим назначением синод воздал только должное. Проявленная Иннокентием строгая настойчивость в подавлении студенческого волнения дала самые утешительные результаты. Ведь до сих пор еще волнуются остальные академии, а в академии Иннокентия давно уже благодатная тишина. Были удалены по его представлению две трети зараженных вольномыслием студентов и половина профессоров, сомнительных в смысле православия. Даже святейший синод был приятно удивлен такой ре-

шительностью. А сам Иннокентий три месяца не выходил из комнаты: молился о ниспослании благодати, укрепляющей в столь тяжком подвиге, и, не вынеся тяжести креста, слег в постель.

В богословской науке Иннокентий также известен.

Его магистерская диссертация «О прозябшем жезле Аарона» признана достойной докторской степени. Однако сам Иннокентий не согласился принять эту степень и работает над докторской диссертацией на новую тему: «Об именах Божиих». Главное же — нравственный облик Иннокентия своим сиянием коснулся даже высоких сфер. Недаром княгиня избрала его своим негласным духовником. Однако для самого владыки Иннокентия лестное назначение на епархию было тяжелым ударом.

Расстаться с воспитавшей его академией, с богатейшей ее сокровищницей — библиотекой было так тяжело, что владыка даже прихворнул.

Но монашеский обет молчаливого послушания для него прежде всего.

Возблагодарил бога за ниспосланный крест и, со слезами оставив дорогие стены академии, отбыл на епархию. Очутился здесь как в лесу. Епархия большая, без викария, хозяйство сложное и запущенное. Кто разберется в нем! Сектантство свирепствует и чудовищно растет. А духовенство поразительно далеко от своего призвания.

Но бог, возлагающий бремя тяжкое на выю раба своего, посылает ему благодатную помощь. Такая помощь послана от бога владыке в лице отца ректора семинарии, архимандрита Серафима.

Подлинный административный талант у этого боголюбца! Как быстро и разумно разбирается он в хозяйственных вопросах и в делах епархиального духовенства! Истинно — божий дар у человека! Как дивно постигает пороки духовенства!

А вот владыка чувствует себя совершенно лишенным этого дара. Все эти вопросы давят его своею сложностью... Терзают сердце стоны и слезы людские.

От девяти до одиннадцати — часы вечерней молитвы. С радостной торопливостью в движениях, светясь легкой улыбкой, становится он на молитву.

В ней только настоящая, счастливая жизнь владыки.

А все остальное — грубая обстановка, тяжкое послушание.

Только здесь широко и радостно открываются его большие темно-серые глаза. И по мере чтения наизусть акафистов сердце наполняется восторгом. И вот уже оно переполнилось: сияет радость и в детской улыбке владыки, и в румянце бледных его щек, по которым катятся крупные капли слез. Ничего не видит и не слышит он... На соборной колокольне бьет одиннадцать часов, и отходит он от молитвы, чистый, бодрый, словно благоуханную ванну принял.

— Поди, осел, на ночлег, — говорит он своему телу, по примеру великих восточных аскетов, ибо тело они отделяли от своей личности, как врага и сосуд диавола. И боролись с врагом-плотию неспанием и долулежанием.

Владыка отходит к часовому сну: ложится подле кровати на голый паркет, только положивши под голову деревянное изголовьице.

А через час уже стоит на краткой полунощной молитве.

Угрюмо и медленно просыпается зимний день, скрипят полозья на площади.

На архиерейской колокольне ударили к ранней обедне. И владыка идет в церковь.

II

Совершаемый в неделю православия чин анафемствования был, по предложению отца ректора, проведен с небывалой торжественностью: сверх положенных анафемствований провозглашена особая анафема крамольникам, затем Льву Толстому и иже с ним, наконец, по именам и фамилиям перечислены все отпавшие в пределах епархии в сектантство. Эти три анафемы протодиакон провозгласил с нарочитым многогласием. На торжестве был губернатор и все власти. Впечатление от анафемы было огромно. Какие-то женщины даже вопль подняли; пришлось приставу вывести их из собора. По окончании торжества истинные ревнители православия, подходя под благословение, со слезами умиления благодарили владыку за столь грозное осуждение врагов церкви и отечества. А председатель отдела «Союза русского народа», миллионер Созонт Поликарпович Самохин явился с благодарностью на дом. Это был визит примирения. Полгода тому назад, в первый же день по приезде владыки на епархию, Самохин явился к нему во

главе депутации и просил, по примеру предшественников, принять союзнический значок и звание почетного члена. Владыка уже знал от отца ректора, что Самохин ревностный патриот, которого знают в столице.

Однако на почетное предложение владыка ответил отказом: неуклонно держался правил апостольских, строго возбраняющих заниматься мирскими попечениями.

«Легко улавляется монах, который вмешивается в житейские дела», — пишет Ефрем Сирин.

И владыка в своих отношениях к мирским делам твердо памятовал это предостережение. Обещал только возносить моления о благопоспешении «Союза» и блюсти свою паству от крамолы.

Отказ восстановил было против него местные патриотические круги. Но небывалое анафемствование крамольников и сектантов внесло примирение и воодушевило их.

Еще не ушел Самохин, как владыке подали телеграмму: «Приезжайте, папаша при смерти».

Владыка со слезами помолился и стал собираться в дорогу. Через два дня он в широких поповских санях въезжал в занесенную снегом северную деревушку.

Тяжкой земной скорбью наполнилась грудь, когда из дьяконского домика навстречу выбежала хромая девушка и упала ему на грудь с криком:

— Ваше преосвященство, братец родименький! Умер папашенька!

Владыка не видел отца и сестру 15 лет, со времени своего пострижения в монахи на первом курсе академии; трудно узнать маленькую Наташу в этой бледной стареющейся девушке-неудачнице. Еще труднее узнать в высохшем, седом покойнике большого, румяного отца с копной черных кудрей. Но всех узнал и горько заплакал...

Возвращаясь в епархию, видел в окно вагона землю, покрытую белым саваном, и все время стояло в душе причитание Наташи:

— Папашенька, родименький!

В тон рыдала душа владыки и повергла мысль в великое смущение. Ибо не достоит монаху скорбеть о присных по плоти мирской грешной скорбью:

«Печаль бо, яже по бозе, покаяние неизменно ко спасению соделовает, а печаль мирская смерть соделовает».

А когда, возвратившись в свой епархиальный город, ехал с вокзала под колокольный трезвон, снег уже поч-

ти растаял на улицах. Журчала вода по канавам вдоль тротуаров; в больших лужах и дружных ручьях играло горячее солнце, и плыли легкие, весенние облака. В саду, облепив высокие тополи, оглушительно чирикали стаи воробьев, а на вершинах уже гомозились грачи. Оттуда, с юга, кто-то дышал дыханием вечной жизни и навевал обновляющие душу мысли о воскресении. Черная тоска по усопшем теперь растворялась в прозрачную грусть. Уже видит уповающий взор сквозь грустную дымку радостную встречу в лучшем мире... Льются теплые слезы молитвенного утешения... Всякий год, с наступлением весны, грудь владыки волнуется странным беспокойством. Так бы взял посох и пошел вон из города широкими полями, в веригах, под рубищем, с язвами на ногах, слушал бы шепот травы, трели жаворонков и вместе с ними пел бы хвалу вся премудростию сотворившему... Или — еще лучше — уйти в лесную глубь, где от века не слышно гласа человеческого, и никто уже не помешает ни посту, ни умной молитве, где питаться можно только «даром божьей пищи»...

Теперь, как и в прошлые годы, это желание всколыхнуло грудь, но уже не прежней смутной радостью — грустным вздохом отозвалось в ней.

Не только рубище, а даже простую, не шелковую, рясу не может носить он, архиерей. Когда, при наречении его в епископа, он явился в синод в люстриновой рясе, то пришлось выслушать двойное замечание. Владыка московский шепнул:

— Сия одежда недостойна вашего сана...

А обер-прокурор сказал, не понижая голоса:

— Такая ряса, ваше преосвященство, может принизить положение епископа в ряду чинов государства.

Стал носить шелковые и бархатные рясы, но на тело надел власяницу.

А о пешем хождении тем паче нельзя мечтать. Первое время, по приезде на епархию, ходил пешком и в собор, и в семинарию, и в консисторию. Но скоро московский владыка, кем-то осведомленный об этом, прислал ему братское письмо. Ставил на вид, что не подобает пешее хождение величию епископа господствующей церкви, что это большой соблазн для паствы, а тем паче для самого епископа Иннокентия: в стремлении быть не похожим на прочих архиереев он может впасть в гордость и преувеличенное мнение о собственной святости.

Прочтя письмо, владыка вспомнил Нифонта и других иноков, некогда впавших в грех гордыни, и смиренно приказал закладывать карету.

III

В посту, на пятой неделе, два семинариста, Бодрухин и Преображенский, замечены в целом ряде проступков.

В пяток и среду оба уклонились от преждеосвященной литургии, а в воскресенье ночью надзиратель, иеромонах Тихон, поймал обоих на семинарском заборе: сознались, что возвращались с танцевального вечера. Отец Тихон принюхался к ним, от обоих запахло не только водкой, но даже колбасой.

По докладу отца ректора владыка приказал уволить этих семинаристов.

Три дня спустя, когда владыка вместе с отцом ректором клал резолюции на прошениях и консисторских постановлениях, из приемной донеслись голоса: келейника и чей-то посторонний.

— Нельзя, — урезонивал келейник, — ибо у владыки прием только дважды на седмице: по понедельникам и пяткам.

— Я ж тебя не спрашиваю, сколько раз у владыки прием. Совсем даже не спрашиваю! Требую доложить! По весьма экстренному делу! Понял?

— Вам сказано — нельзя. На это есть приемные часы.

— А ты не рассуждай! Лакей!

— Я не лакей, а келейник.

— Это одна марка!

Владыка и отец ректор вышли на небывалый шум. В передней наскакивал на послушника, как петух в драке, плюгавенький причетник в подряснике: жидкие волосы его, рыжие, с красным отливом, сбились в один пучок и нахохлились, воспаленные глаза презрительно щурились.

— Это Бодрухин, — доложил отец ректор, — низведенный.

Владыка обладал великолепной памятью и тотчас вспомнил рассмотренное год тому назад дело священника Бодрухина. В формуляре этого иерея несколько листов занимает перечень провинностей и наложенных за них наказаний: строптивость, брань и драки, вольномыслие, небрежение, нетрезвость. За все это он до десяти

раз был посылаем на временное послушание в монастыри, неоднократно переводим с плохого прихода на худший, потом низведен сначала на диаконское положение и, наконец, на причетническое. Теперь запрещен в богослужении и лишен рясы.

— Что вам угодно?

— Видите ли, ваше преосвященство, моего сына тут, как котенка, задушили и в выгребную яму выбросили, — ответил Бодрухин деловым тоном.

— Что это значит?.. Кто задушил?

— Да вот они-с! их высокопреподобие постарались,— ткнул он, выгнув большой палец, в сторону отца ректора.

— Вы за уволенного сына просите?

— Не-ет, владыка, я не прошу! Я требую!

— А вы, прежде чем явиться с требованием, причесались бы, — внушительно заметил отец ректор.

Бодрухин прищурил на отца ректора серые глаза и спросил:

— Да вы, бывает, не из парикмахеров?

Взвизгнул отец ректор:

— Вы слишком обнаглели, господин Бодрухин!

— Я не «господин», а «отец»! На мне такая же благодать священства, как и на вас. Делаю вам, за ваше неумелое выражение, замечание. Стыдно-с!.. Да-с!

Отец ректор скривил в презрительную улыбку тонкие побелевшие губы.

— Итак, вы явились сюда с требованиями и замечаниями?

— Да-а-с! С требованиями, а ежели понадобится, то и с замечаниями. А вы только к слезным мольбам привыкли? Нет-с! Только вы напрасно суетесь. Осядьтесь! Да-с! Я ведь не к вам... Я к вам, владыка. Когда вот эти черные вороны терзали грязными когтями мое чистое сердце, пили мою горячую кровь, сокрушали кости души моея в своих застенках, тогда я кланялся и просил.

— Положим, не особенно-то вы кланялись...

— Вас не спрашивают! Делаю вам второе замечание. Я просил до тех пор, пока меня клевали. Но когда заклевали мое дитя, я уж требую. Да-с!

— Что вы требуете? — тихо спросил владыка.

— Не изгоняйте сына. Примите обратно. Потому что он воспитывался в семинарии на взысканные с меня же кровные гроши. А больше у меня нет грошей.

— Вашего сына принять обратно нельзя, — так же тихо ответил владыка.

— Нельзя? А почему, собственно?

— Вам, вероятно, объявили.

— Положим. Значит, за танцы?

— Не только за танцы, — поправил отец ректор, — но также и за несоблюдение постов.

— Да, да! колбасу бишь ел. А вы хотели, чтобы он, как вы: съедал бы по одной просфорке и по одному человеку в день?

— Ну недаром жена ваша уже дважды была у меня с жалобой на вас! — покачал головой отец ректор.

— Может быть, и недаром... Только этот сюжет о бывающих у вас чужих женах при себе оставьте...

И, повернувшись ко владыке, продолжал:

— Так-с! Значит, не можете вы, святые отцы, терпеть того, чтобы наши дети веселились и танцевали? Так вы уж, чтоб не огорчаться, пожалуйте в пустыню! Там вам, честные иноки, куда вольготнее и благолепнее будет. Да-с! В пустыньку! А детей наших оставьте, пожалуйста, в покое. Вы в себе все семейные чувства убили, а беретесь заменять нас перед нашими детьми! Лицемеры!

Бодрухин скребнул пятерней голову и вызывающе выставил вперед из узенького подрясника левую ногу с заплатой на колене. И вдруг сделал шаг вперед, к ректору, жестикулируя руками, брызгаясь горячими, как вар, словами:

— А! Вы забыли только одно: что детская светлая радость во сто крат приятнее богу, чем ваша черная скорбь! Да-с! Да может, их цветущей душе танцы нужнее, чем вашей — земные поклоны!..

Чуть дрогнули тонкие приподнятые брови владыки, а отец ректор закричал:

— Как вы смеете кощунствовать!.. Ваше преосвященство! Да что ж это такое! Надо полицию позвать, запротоколить!

Владыка махнул на отца ректора рукой и продолжал слушать молча, закрыв глаза. А Бодрухин кричал:

— От вас вот уже полторы тысячи лет, как нет спасения! Да-с! Я читал о вас!.. А еще больше размышлял от нечего делать, пока вы в своих монастырях меня гноили! Христианство — свет и радость, а вы его в черный цвет перекрасили! Убили в человеке самое дорогое — веру в себя! Клеветники вы! Да-с!

— Простите, владыка, — сказал отец ректор, бледный, трясущийся, — присутствовать при подобном богохульном беснoвании я не могу.

И быстро удалился в кабинет владыки.

— Молитесь об исцелении одержимой врагом души вашей, — тихо произнес владыка, благословляя Бодрухина.

Владыка долго сидел бледный, молча, закрыв глаза; слушал негодующие воздыхания отца ректора и с беспокойством спрашивал себя, не обидел ли словом злобствующего брата.

Через три дня в синод пошло представление о лишении Бодрухина священного сана и извержении его из клира.

IV

Весна пришла ранняя, а пасха поздняя, и уже на вербной неделе зазеленели вербы, а кустарники дали почки. Город стоял на горе, и с балкона, что выходит внутрь архиерейского двора, видно, как широко, почти до горизонта, разлилась степная река. Захваченные разливом зеленые вербы будто бродят по воде, то в одиночку, то группами, а по местам взобрались на зеленые островки, оттуда, как толпа праздничных девушек, смотрят в водное зеркало. В стороне вьется под горою железная дорога, дым от поезда тонет в лиловой весенней мгле.

Так бы снялся с архиерейского балкона и утонул в этой мгле вместе с вольным дымом...

Вечером, когда уляжется городской гам, любит владыка смотреть с балкона, как радостно тонет в серебряной пыли загородная даль, как сквозь деревья белеет в глубине двора корпус, где помещаются келии братии при архиерейском доме. Ежедневно, после вечерней трапезы, на белом фоне вырисовывается плотная фигура иеродиакона Савватия. Сложив руки на большом животе и задрав голову с нахлобученной скуфьей, лениво икая, медленно озирает он звезды от одного края неба до другого. Так любуется он небом час, другой, пока совершается пищеварение. Потом, вздыхая, идет спать.

А владыка остается один и уже не ложится до полуночной молитвы. Сна нет. Но мысли, плавая в сладкой грусти, тонут и растворяются где-то в прозрачной мгле, там, где земля растаяла и стала серебряным курением пе-

ред небом... Плавает душа между сном и действительностью, между землей и небом, лелеемая полной радостью, что залетела от дней юности. Какие благодатные сны посещали тогда! Особенно часто снился ему, семинаристу и студенту, один сон. Прилетел ангел в серебряной тунике, с голубыми глазами, светлокудрый, с ямочками на щеках, как у девушки. И когда вдвоем летели они к каким-то туманно-голубым храмам, грудь от прикосновения к шелковому локону ангела наполнялась неземным счастьем, которое целые недели потом медленно-медленно таяло. Казалось, от этого полета у самого выросли крылья... Теперь уж нет этих снов!

Наступила страстная седмица. В течение трех последних дней ее владыка питался только единственной маленькой просфоркой, пребывал почти совсем без сна, в непрестанной молитве и слезах, не отрываясь мыслью от Христа, но неотступно следуя за ним от Гефсиманского сада до гробной пелены.

В четверг торжественно совершал на возвышении среди собора обряд омовения ног двенадцати священникам и слезы падали в серебряный кувшин, из которого он лил воду на ноги иереям. Встало происходившее много веков тому назад так живо, будто плотскими очами узрел: пришли они, тринадцать, из далекой Галилеи, с ногами, покрытыми грязью, о камни разбитыми.

А через несколько часов будут бежать они, слабые, в страхе, прочь от него, проданного сына человеческого... Еще пуще разобьют ноги свои о камни, и некому будет омыть их. «И встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался... И начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем».

— Весте ли, что сотворих вам? — начал владыка слова Христа и остановился — рыдания стеснили грудь — и закрыл лицо руками.

— Вы глашаете меня господа и учителя,— продолжал он, успокоившись.— Образ дах вам, да якоже аз сотворих, и вы творите такожде... По сему узнают, что вы мои ученики...

И опять остановился на полуслове и стал молча плакать. Текли слезы по седым бородам иереев, и встали рыдания богомольцев над забытым божественным примером омовения ног ближнему.

В великую пятницу владыка уже ни на минуту не отрывался от распятого, от тернового венца и кровавых

язв и к вечеру странную боль чувствовал в средине ладоней и в ступнях ног: словно гвозди вбили ему в эти места, и болела кожа кругом головы, на лбу и висках, будто от каких-то уколов.

Но в субботу эти боли ослабели, а на первый день пасхи от них уже не осталось следа. Явившихся с поздравлением духовенство и педагогическую корпорацию владыка принял светлый, радующийся, и веяло от него свежестью, новизной, будто вернулся с приятного, здорового путешествия.

И когда говорил краткое слово на тему «Всегда радуйтеся о господе», казалось, сообщал всем какую-то неожиданную радость.

Зато в первый день пасхи открылись забытые за страстную седмицу тернии епархиального управления.

Вслед за духовенством явились с визитом предводитель и голова с просьбой освятить завтра перед началом парадного спектакля вновь выстроенное здание театра. Владыка даже вздрогнул от такого предложения.

— Театрам нет моего благословения,— тихо, почти шепотом, сказал он.— И освящать их — сего кощунства я не позволю... Не допущу также завтра, во второй день великого праздника, вместо молитвы, развращение народа театральными представлениями.

— Но позвольте, ваше преосвященство! У нас именно на завтра сделаны все приготовления! Посланы приглашения в другие города, приедут депутации, из Петербурга представитель!

— Не могу!

— В таком случае сейчас направляем жалобу в синод и министерство! — закричал предводитель, гневно теребя баки.

— Простите, Христа ради,— прошептал владыка, низко, по-монашески, кланяясь, и тихо удалился.

Являлись на светлой седмице еще представители общества борьбы с детской смертностью. Просили допустить в один из праздников сбор в церквах в пользу общества и разрешить желающим священникам сказать соответствующее слово.

— Ваше общество не имеет церковного характера,— возразил владыка,— напротив, в числе его членов есть много иноверцев: не могу допустить в церковь.

И опять получилось огорчение и диаволу радость: в злобе обещали телеграфировать в столичные газеты.

В семинарии тоже не обошлось без соблазна. На пасхальные вакации было задано в первом классе сочинение: «Добродетели ветхозаветного патриарха Иакова». И вот однажды помощник инспектора, иеромонах Тихон, входя в классную комнату, заметил, что ученик Павел Разумов, работающий над сочинением с Библией в руках, торопливо спрятал в стол исписанные листки. Иеромонах Тихон подбежал и конфисковал листки. Прочитав, он представил их отцу ректору, а отец ректор — на благовоззрение владыки.

На листках с незначительными помарками написано следующее:

«Добродетели ветхозаветного патриарха Иакова. Сии добродетели суть следующие. Патриарх Иаков с ранней молодости заявил себя непроходимым лодырем. В то время как брат его Исав добывал себе и родителям пропитание охотой, Иаков предпочитал сидеть в шатре подле мамаши.

Во-вторых, этот маменькин лизун был форменный провокатор. Какой благородный путь избрал он, чтобы отнять у Исава первенство? Изготовил чечевичную похлебку, и когда Исав возвратился с неудачной охоты голодный и холодный, этот провокатор стал на глазах у Исава аппетитно уплетать свою похлебку, чтобы еще более разжечь аппетит голодного человека. А когда тот попросил накормить его, он тут-то и предложил поменяться на первенство. Таковы братские чувства патриарха Иакова.

А вот его сыновние чувства. В погоне за первенством этот молодой человек не остановился перед тем, чтобы надругаться над слепотой престарелого отца, выдав себя за Исава, и обманом получил благословение на первенство. В этом поступке обнаружилось кощунство его.

Натворив этих милых вещей, Иаков проявляет самую низкую трусость перед обманутым братом: испугавшись расправы, бежит от него к дядюшке. А по дороге этому корыстолюбцу снится соответствующий сон: бог открыл для него парадную лестницу на небе, обещал ему в вечное и потомственное владение ту самую землю, по которой он улепетывает! Собственно, за какие же добродетели? За провокацию, за обман отца или за кощунство? А когда это сокровище явилось к дядюшке, начались дела еще почище. Тут уж он себя показал! Стал Иаков

охаживать дядюшку насчет пестрых овечек и прибрал к своим рукам все стадо дяди.

Эту мошенническую аферу он устроил опять-таки в надежде на помощь всемогущего бога! Как известно, даже шекспировский Шейлок восторгается перед этим гешефтмахерством.

Недурна также и нравственность у патриарха Иакова.

Попавши в дом к дядюшке, этот кавалер постепенно превратил его в гарем: сначала забрал дочерей, а потом привлек под свое благочестие и всех рабынь. «Это,— говорит,— необходимо для увеличения потомства, как песок морской!»

Как и подобает трусу, патриарх Иаков — бессовестный хвастун. Когда, обобравши тестя как липку и убежавши от него тайком, он узнал, что Исав идет к нему навстречу, то «убоялся зело» и задал стрекача. Со страху он где-то сверзился впотьмах с кручи и сломал ногу. Тогда он что же вздумал? «Это,— говорит,— со мною сам бог боролся! Ну, я же такой силач, что и бог меня не поборол! Только ногу мне сломал. А за мою силу и храбрость велел мне называться — Израиль, сиречь богоборец!»

Таковы в общих чертах добродетели патриарха Иакова, за которые бог возлюбил его и столь щедро наградил. Ибо добродетели сии были «зело угодны богу»...»

Владыка брезгливо прочитал это сочинение и спросил отца ректора:

— Он из хороших учеников?

— Учится посредственно, но способностей прекрасных.

— Тем паче горестно,— вздохнул владыка.

— Не по летам развит! — добавил отец ректор.— Читает слишком много. Притом характера необычайно замкнутого.

Владыка приказал отцу ректору уволить богохульника без права поступления во все учебные заведения.

Старый деревенский дьячок Разумов являлся после этого к владыке, просил помиловать сына ввиду того, что кроме Павла у него их на руках еще пятеро, а дохода в летние месяцы восемь рублей.

Запавшие щеки и большой нос у Разумова лилового цвета: не раз были отморожены. Излагая просьбу, он все время просительно улыбается какой-то озябшей улыбкой, открыв и немного скривив рот; а покрасневшие глаза так неопределенно, скупо, но упорно роняют слезы,

что не разберешь — просто ли слезятся или плачут. Сжалось сердце у владыки от пришептывающей речи дьячка. Боже, как тяжело человеку на земле! Но правда божия выше человеческих чувств, и перед ней должны смолкнуть наши радости и печали о себе и о других.

С семинарской скамьи ушел он в одно стремление: освободить свою личность от всех земных чувств. Чтобы не мешали они службу приносить богу, чтобы душу свою принести ему чистой; оторвать себя от людей, чтобы слиться с богом.

«Аще кто хощет душу свою спасти, погубит ю».

Бдительным самопротивлением давил он в себе, в архиерее, плотскую жалость к человеку, которая здесь, на епархии, так часто становится в противоречие с интересами церкви. А она, эта земная жалость, как плевелы пшеницы, глушит чистую любовь к богу.

Разумову через келейника выслал пятьдесят рублей.

На следующий прием являлся сам уволенный Павел Разумов, худой, маленький, гораздо меньше своих тринадцати лет, с неприглаженными белыми вихрами.

Просил исключить его, не лишая права поступления в другие учебные заведения.

Владыка, конечно, отказал:

— В светских учебных заведениях ваше вольнодумство еще тлетворней, ибо не встретит надлежащего противодействия.

Павел Разумов слушал владыку, исподлобья неловко глядя в сторону, на портрет какого-то патриарха, и растерянно улыбаясь кривой, жалкой улыбкой.

И еще одно испытание: к празднику пасхи получилась телеграмма от московского владыки: «Поздравляю кавалером Анны 1-й степени».

— Боже мой,— простонал владыка,— я же хочу быть монахом, а не кавалером...

Получилась вскоре и самая звезда, как раз в день торжественного собрания у губернатора, и по настоянию отца ректора владыка надел ее.

— Неужто, отец Серафим, этими звездами мы хотим уподобить свою грудь небу!.. Ведь грудь человеческая с ее страстями и пороками — уголок ада, а не неба... Зачем это кощунственное самопревозношение, да еще иноку, персям коего более приличествуют железные вериги, нежели бриллиантовые звезды...

— Но ведь и звезда от звезды разнствует во славе, владыка! — зачем-то процитировал отец ректор, не отрывая от звезды горящего взгляда.

Но не должно быть своей воли у инока: звезду пришлось носить.

Зато владыка вспомнил, что и святые принимали иногда зрак какого-нибудь порока, да не от человеков, но от бога мзду приимут.

Так, великие девственники, как, например, святой Виталий, на виду у всех входили в дом блудниц, чтобы люди не прославили их целомудрие. И, помолясь со слезами, владыка приял зрак любочестия: звезду носил днем, зато никогда уже не снимал и ночью, привязывая ее под власяницей к обнаженной груди. А привязывал так плотно, что она глубоко впивалась в тело остриями оборотной стороны.

V

Старинный консисторский зал с низкими потолками слабо освещен несколькими свечами; в полутьме его, сливаясь, тонут темные фигуры духовенства и светских ревнителей православия.

На темных силуэтах блеснет иногда золото наперсных крестов.

Впереди, за большим столом, рядом с владыкой, отец ректор. По краям стола с одной стороны — епархиальный миссионер отец Лаврентий Водосвятиев, дебелый батюшка с грубыми, точно из-под топора, чертами лица, с другой — член консистории отец Мизериев с острой красной бородкой, с профилем Мефистофеля. Кроме этих лиц, за столом никто не решился сесть.

— С благословения владыки выслушаемте, отцы и братия, годичный отчет отца миссионера,— заявил отец ректор сладким тенорком.

Отец Водосвятиев взял у владыки благословение и приступил к чтению отчета.

— Христос основал церковь свою на земле. Но, как известно, диавол, сей исконный враг рода человеческого, еще древле погубивший своим прельщением церковь божию в раю, сиречь Адама и Еву, и днесь не престает, аки лев рыкати, иский, кого поглотити.

И хотя церковь ограждена благодатию Христовой, но враг, диавол, прелазяй инуде, денно и нощно изыскивает

пути к уловлению членов ее в бесовскую прелесть. Для сего-то и посылает сынов своих, сих волков в овечьей шкуре, сиречь еретиков.

Посему в истекшем году, как и в предыдущих, есть отпадшие от церкви. Таковых около 400 душ. Но зато есть и велие утешение: обратилась в лоно церкви целая семья из родителей и двух детей.

Отец Лаврентий подробно останавливается на описании торжества присоединения: сама природа, видимо, ликовала в сей радостный для церкви день: на небе ни тучки, по-особенному радостно зеленела травка, и птички божии так умиленно-весело щебетали, как будто принимали участие в торжественном церковном пении.

— Не сообщите ли также, отец Лаврентий,— ласково спросил отец ректор,— какое участие принимала природа в отпадении четырехсот сектантов? Какой цвет имела трава, а также как вели себя птички?

У отца Лаврентия покраснела шея и надулась жила на лбу.

— Сих сведений, отец ректор, я не могу дать, ибо к отпадению в сектантство никакого отношения не имею.

— Съел? — прошептал в углу батюшка с заячьей физиономией, толкая коленкой своего соседа-толстяка.

— Вывернется, постой,— ответил тот.

Но отец ректор только кивнул головой и умиленно закрыл глаза. Ничего не сказал. А отец Лаврентий продолжал доклад. Сам он в течение года произвел до ста бесед. К сожалению, сектанты редко выступают на беседах. Бог их знает почему.

— Да потому, что трудно им прати против рожна! — заявил, вскакивая на ноги, отец Мизериев.— Отец Лаврентий так их обреет, что они потом гласа его трепещут!

— Сам Вельзевул хвостом завилял,— прошептала заячья физиономия.

Отец Лаврентий скромно опустил глаза и ответил:

— Не хвалюся о себе, но о благодати божией я могу сказать, что беседы мои, на коих выступали сектанты, были поистине торжеством православия.

Ядовитая улыбка зазмеилась под русыми усами отца ректора.

— Что вы в данном случае называете торжеством православия?

— Торжеством православия, отец архимандрит, я называю то, что все диавольские измышления сектантов

были мною изобличены, и все воочию убедились в истине православия.

— Однако в результате обратилось четверо, а совратилось четыреста.

На лбу отца Лаврентия надулись две жилы.

— Слово божие, отец архимандрит, подобно семени. Един сеет, а ин пожинает. Наш святой долг — сеять, а как оно растет в сердце человеческом и кто пожнет его,— сие лишь богу ведомо.

— Так вот, отец Лаврентий, я и думаю: когда мы пожнем то, что вы посеяли, тогда и будем говорить о торжестве православия на ваших беседах.

— Глотнул? — ткнул толстый заячью физиономию.

— Постой, песня только начинается.

— А ты держи мазу.

— Держу.

— За Лаврушку.

— Дюжину пива.

— Я за Иудушку — две.

Перешли к вопросам организационного характера. Ввиду наглости, с которой сектанты открыто ведут свои собрания, постановлено ходатайствовать о воспрещении или хотя бы об ограничении этих собраний.

Отмечена ревность по вере станового пристава Баннова. Как только собрались сектанты, уж он налетает:

— Что за собрание? По какому праву?

— Мы — евангельские христиане.

— А! Сектанты! Я православным не разрешаю сборищ, а вам, богоотступникам, и подавно!

Они — давай собираться тайно. А он, как орел, так и накроет.

— А! Тайные собрания! Крамола!

Раскассировал... А главарей изъял!

Постановлено выразить приставу Баннову благодарность миссионерского комитета и просить владыку довести до сведения губернатора о ревностной деятельности его на пользу православия.

Владыка молча утвердительно кивнул головой, не подняв опущенных век.

Когда речь зашла о распространении книг миссионерского содержания, отец ректор ласково спросил:

— А кто у вас теперь книгоноша, отец Лаврентий?

— Сейчас сие место вакантно, хотя соискатели имеются.

— А где же прежний, которого вы так расхваливали?

Шея отца Лаврентия побагровела, а на лбу сразу надулись обе жилы.

— Двенадцать апостолов избрал сам Христос,— ответил он,— но между ними оказался Иуда — предатель, отец архимандрит...

— Напрасно вы, отец Лаврентий, ссылаетесь на примеры, коими злоупотреблять отнюдь не подобает! Христос избрал Иуду, ведая, что тот предаст его, но взял его, да исполнится домостроительство божие. Вы же, отец Лаврентий, избрали книгоношу, почитая его ревнителем православия, а он от вас в сектантство ушел...

— Что ж, отец архимандрит, подобные случаи, к прискорбию, слишком часты, и ежели находите пример с Иудой неподходящим, то можно указать примеры и поближе.

— А именно?

— А именно нижеследующий. Не примите, отец архимандрит, за лесть, но я почитаю вас выдающимся и блестящим воспитателем будущих служителей церкви, о сем даже сами вы скромно глаголете во благовремении. А в результате вашей многоплодной деятельности получилось, что в истекшем году из двадцати пяти окончивших семинарию пошли по духовному ведомству только пять, да и те суть последние по разрядному списку. А двадцать где? «Како не обретошася дати славу богу?» Печальнее же всего то, что из четвертого класса больше половины ушло в университет!

В полутемной зале произошло движение; отец ректор побагровел.

— Во-первых, отец Лаврентий, не кощунствуйте над текстами из Евангелия! — закричал он фальцетом.— Во-вторых, не поднимайте вопросов, в коих вы, как не получивший даже законченного семинарского образования, не компетентны!

— Очевидно, отец архимандрит, я и в миссионерстве не компетентен, и, будем уж говорить откровенно, требуется очистить место для чьего-то компетентного брата... Будем уж говорить начистоту!

Владыка, все время погруженный в какое-то внутреннее созерцание, наконец тихо произнес:

— Позвольте мне сказать... Мне кажется, мы немножко отвлеклись в сторону. Главной и столь назидательной темой нашего собрания служит вопрос о действии слова

божия на отпавших. В смысле возвращения их в лоно церкви. И глубоко справедливы слова отца Лаврентия, что собственные наши силы здесь — ничто. Все созидает благодать божия, только благодать...

«Нам принадлежит предызбрание и пожелание,— пишет Иоанн Златоуст,— а богу выполнение и приведение к концу. Меньшая часть наша — в предызбрании и пожелании, большая часть божия — в выполнении и приведении к концу». И святой Ириней Лионский пишет: «Без духа божия мы не можем спастись». Еще вразумительней и настойчивей говорит об этом Тертуллиан: «Кому открыта истина без бога? Кем бог познан без Христа? Кому сделался известен Христос без духа святого? Кому сообщился дух святой без таинства веры?»

Владыка закрыл глаза и, цитируя изречение за изречением, улыбался тихой, приятной улыбкой, будто пил сладость святоотеческих слов.

— «Благодать,— говорит Кирилл Иерусалимский,— предваряет все наши душевные движения и вызывает их на движение воли и желания». «Предосияет» — любимый термин сего святого отца. И не должно, отец ректор, смущаться, по-видимому, скудными плодами — косностью сектантов в деле возвращения в лоно церкви, ибо, как пишет Григорий Богослов, «от бога зависит призвание, причем позднее призвание иногда сопровождается большей верой и лучшим произволением».

Не подобает также, отец Лаврентий, смущаться и видимым ожесточением сектантов, ибо ни мы, ни сами они не ведают о том, что тайно творит благодать божия: «Как пчелка тайно выделывает сот в улье,— говорит Макарий Египетский,— так и благодать тайно совершает любовь свою и горечь превращает в сладость». Ведь только после обращения в лоно церкви сия благодать делается ощутимой. «Истинна вера, исповедуемая мною,— пишет Иероним Греческий,— ибо ею я сподобился принять божественную некую силу, действующую во мне ощутительно». Еретики же не ощущают божественной силы. Если же и говорят о ней, то, выражаясь словами Макария Египетского, «подобны человеку, не вкусившему меда, но другим старающемуся изъяснить его сладость». Правда, и они иногда чувствуют как бы присутствие некоей силы, которую и принимают за благодать, но это просто дьявольское прельщение, ибо говорит Исаак Сирин...

— Ну, теперь пошел по лесу! — безнадежно махнул рукой батюшка с заячьей физиономией.

— Вот так он всегда! — грустно вздохнул толстый.— Напустит мистического туману, и вся недолга!

А владыка, забыв все в мире, долго еще упивался сладостью святых слов, и все никак не мог напиться...

VI

Второго мая владыка был в семинарии на экзамене по литургике. Преподаватель литургики, старый батюшка, испортивший свою карьеру пристрастием к вину, тридцать лет сидит на литургике и гомилетике. О его свирепости на экзаменах и казуистических тонкостях по части церковного устава с уважением и страхом говорит ряд поколений епархиального духовенства.

У стола стоит экзаменуемый юноша в длинном сюртуке. Трясутся колени, прерывается голос. Экзаменатор раскинул перед ним сеть из Минеи, Марковых глав и триоди. Уставщики восточных монастырей много веков плели эту сеть, чтобы черпать воду живу, и передали эту сеть тысячелетиям. Семинарист запутался в ней и, чувствуя полное бессилие, умолк. На красном носу преподавателя и постном лице отца ректора одно чувство — тонкое сладострастие истязателей. А над партами даже воздух застыл в тяжком томлении пред неразрешимым вопросом:

— Коего же гласа поем тропарь, аще совпадает преполовение святой четыредесятницы со иным полиелейным праздником?

Пойманная в сию сеть рыба даже не пытается выбиться.

В открытое окно из огромного семинарского сада вместе с запахом мая несется неугомонный птичий гам. Пернатые семинарские жильцы поют на всевозможные гласы, счастливые тем, что для их пения не написаны Марковы главы.

А в семинарии стоит жуткая тишина. Здание всеми четырьмя этажами задумалось над вопросом:

— Коего гласа поем тропарь?..

Внизу, в вестибюле, стукнули чем-то, должно быть уронили тяжелое, и снова душная тишина. На прозрачном лице владыки сострадание. Он подает руку помощи погибающему семинаристу:

— Совершается ли литургия в великий пяток?

— Отнюдь нет! — радостно встрепенулся экзаменуемый.— Ибо в сей день нет нужды в бескровной жертве, зане принес е на голгофская жертва — господь наш Иисус Христос.

В класс вбежал бледный как мел семинарист.

Быстро подойдя к столу, он сказал с неслыханной развязностью:

— Отец ректор, Павел Разумов застрелился... в вестибюле... наповал!

Отец ректор побледнел, но не изменил своего внешнего спокойствия. Объявил перерыв и, медленно поднявшись, направился к выходу. Владыка пошел рядом, опустив голову ниже, чем обыкновенно.

В вестибюле, у самой лестницы, уже стояла толпа семинаристов. Они расступились, и владыка прошел мимо распростертого на полу Разумова. Очень быстро прошел... Но глаза не отвел и увидел лицо. Знакомые белые вихры. Алое пятно на виске, от него тоненькая струйка к губе. Вероятно, от этой струйки знакомая владыке неловкая усмешка стала еще более кривой. Молчание в вестибюле было еще полнее, нежели в классе над гласом праздничного тропаря. Отец ректор о чем-то громко заговорил. Владыка молча, торопливо сел в карету и уехал.

Через час приехал с докладом отец ректор. Самоубийца не оставил никакой записки. Труп отправлен в городскую больницу. В глубоко религиозных душах семинаристов самоубийство вольнодумца, притом столь демонстративное, вызвало искреннее негодование. Многие вспомнили слова псалмопевца: «Погибе память его с шумом». И еще: «Путь нечестивых погибнет». Таким образом, неисповедимыми путями провидения богохульное самоубийство явилось для юных душ свидетельством пагубности вольномыслия.

Владыка молча выслушал и проводил отца ректора. Хотелось скорее помолиться. Стал перед кивотом, чтобы читать акафист богоматери. Он прочитал только один икос, когда в открытое окно донеслось с улицы торопливое рыдание.

Быстро подошел к окну. Внизу, по тротуару, в сопровождении дамы, пробежала девочка-подросток в бордовом платьице с белыми нарукавниками — епархиалка.

Захлебываясь от рыданий, девочка тихо звала:

— Братец... Пашенька!.. братец мой миленький!..

Еще мгновение, и ее уже не видно... Стихли и рыдания. Владыка высунулся даже из окна и увидел только белый нарукавник, тотчас скрывшийся за поворотом.

Но как поразительно похоже на плач сестрицы Наташи: «Пашенька... Пашенька...» Даже в словах сходство... Кто этот Пашенька? Ах, это сестра Павла Разумова...

Паша встал в памяти владыки, каким он видел его два часа тому назад: с белыми вихрами и кривой, окровавленной усмешкой. Владыка вдруг почувствовал, что нет и не может быть никакого отношения между этими вихрами и поношением добродетелей патриарха Иакова, занесенным в протокол об увольнении семинариста Павла Разумова. Но где нет ничего общего, там не может быть противоречия. А Павел Разумов стал в кощунственное противоречие по отношению к религии. Оно было! Владыка так решил и спокойно стал на прерванную молитву.

— Радуйся ангелов многословущее чудо, радуйся бесов многоплачевная скорбе!..

Но радость, обычно вместе со словами акафиста широкой светлой волной вливавшаяся в сердце, на этот раз не пришла. Между ней и сердцем стали светлые вихры.

Стали и не впускали. Неприятно кололи.

Хотелось и за них помолиться, благословить...

Ежедневно подходит он к окну, что на улицу, и благословляет идущих и едущих по улице людей на все доброе. И потом молится за них днем и особенно глубокой ночью, когда все спят. Горячо молится за тех, кому скорби земной юдоли спать не дают. Но молиться за самоубийцу нельзя. Церковь этого не может. Не воспрещая, впрочем, делать сие отдельным, частным членам церкви. Но Иннокентий не частный член церкви — архиерей.

VII

В епархии находится курорт с лечебными водами и грязями. Путь к нему из соседних губерний до губернского города по железной дороге. Отсюда сорок верст на лошадях.

На другой день после самоубийства Разумова к владыке заехал, направляясь на воды, архиерей соседней епархии, преосвященный Иеремия. Он пробыл с полдня до утра следующего дня.

Съел за это время только просфорку и выпил один стакан чаю. Преосвященный Иеремия — маленький, высохший старичок, с острым носом, жидкой бесцветной бородкой и острым взглядом маленьких глаз. Говорит, скупо роняя ржавые слова. Слушая его, все время кажется, что вот он со старческим усилием скажет это последнее слово и умолкнет, изможденный дряхлостью, смирением и постом. Но преосвященный Иеремия не умолкал и тягуче ронял скупые слова до самого отъезда. И от этого разговора получилось такое ощущение у владыки Иннокентия, как будто весь день непрерывно каплет из серого неба скупой осенний дождь. И не верится, что будет конец этому тягучему дню... А на дворе ликовал голубой майский день.

Преосвященный Иеремия со скорбью говорил об оскудении веры и благочестия в кормчих государственного корабля, о небрежении со стороны властей предержащих к церкви и ее иерархам.

— Разве не прискорбно видеть хотя бы сицевое явление: за истекшие два года, по вычислению моему, в военном ведомстве число генералов, получивших орден первой степени, составляет пять процентов всего состава. А число получивших ту же награду архиереев всего два процента! И это в государстве, коего краеугольный камень — православие!.. Да и самые награждения-то — сплошное пристрастие и неправда. Говорить тяжко...

Все же, вздохнувши, преосвященный Иеремия продолжал тяжкий разговор о пристрастии.

Ведь уже два года, как у него должен быть бриллиантовый крест на клобуке! Но в нынешнем году его опять обошли, а дали крест епископу Акиндину. А почему? Несть тайно, еже не будет явно. Несть тайны и в том, что Акиндин нередко посещает переднюю фрейлины Налипкиной...

То же самое и с переводом на богатую поволжскую кафедру: едва только заболел покойный Анастасий, Иеремия уже почитал себя переведенным на сию кафедру. Обошли!.. Афанасия назначили...

Утешал себя упованием Иеремия: Афанасий не жилец на этом свете. Но скончался Афанасий — и назначили кого же? Лазаря...

— Тьфу! прости, господи!

Говорит владыка Иеремия, и зеленеет заострившееся лицо его от обидных воспоминаний.

Правда, есть и светлая надежда на близкое будущее. Заболел архиепископ Савватий. При его осьмидесятилетнем возрасте сие едва ли не к смерти. В крайнем случае, архиепископ Тарасий тоже очень плох (Иеремия беседовал с его врачом). Так что Иеремия ожидает с терпением и смиренно уповает.

Владыка Иннокентий слушал и мысленно горячо молился: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего».

Многолетней работой над собой он добыл способность не осуждать. Мысленно он просил у Иеремии прощения, «аще худое о тебе помыслих». А в памяти с блазнящей неотступностью стояло изречение Сириянина: «Дьявольская мысль — монаху желать чужих степеней...»

— К вам, я знаю, весьма благостно относится московский владыка,— закончил свою жалобу преосвященный Иеремия.— Соблаговолите, Христа ради старцу, его же небрегоша, подать руку помощи... Верьте, не оставлю вас в святительских молитвах! А при случае не лишите слова представительства и перед великою княгинею. Вам бог сторицею воздаст!..

VIII

Обычным порядком потекла жизнь в архиерейском доме. То же ночное стояние на молитве и долулежание. Те же утренние церковные службы, потом размышления и молитвы. За молитвой — чтение отцов и учителей церкви, писал диссертацию об именах божиих, читал дела и налагал резолюции, принимал просителей и снова отдавался молитве со многочасовым коленостоянием, с сотнями земных поклонов. Поздно вечером, изможденный, ложился на пол, чтобы полночь встретить во бдении.

Но что бы ни делал теперь владыка, о чем бы ни думал, небывалая тоска, тупая, серая, лежала на дне души и давила каменной тяжестью. Что-то необъяснимое происходило на молитве. Когда в сладостном упоении душа на легких крыльях молитвы уже готова была подняться и улететь к небу, серая тяжесть не пускала ее, давила к земле. Поднималась душа со скучным усилием, подымалась низко и быстро опускалась. Смущенный владыка всматривался в серую бесформенную тяжесть на самом дне души и тогда видел, что там — смутная, слабо освещенная сознанием невозвратимая потеря.

Гулял ли владыка по своей любимой дорожке в саду, не прилетал к нему вместе с дыханием весеннего ветра восторг, и не хотелось уже, слушая шепот листьев, сладко плакать от умиления.

— Что потеряно?

Напрягал память и разум, но ничего не мог ни припомнить, ни сообразить.

Чтобы преодолеть тяжесть душевную и на молитве в горняя вознестись, должен был делать усилия плоти: тяжкие воздыхания и биение себя в перси. И молитвенная мощь наконец вернулась. Душа воспарила, и теплые слезы оросили ланиты, как и прежде. Великое дело телесные подвиги в духовном преуспеянии! Даже от одного положения нашего тела уже весьма зависит состояние духа.

Об этой зависимости владыка решил побеседовать сегодня с братией архиерейского дома. После всенощной он пригласил их в приемную. Это было восьмого мая. Накануне иеромонах Акакий праздновал именины, и перед рассветом казначей отец Исаакий подрался с иеродьяконом Фокой из-за легкомыслия и непостоянства прачки Ефросиньи. Отец Исаакий — старец маленький, тощий, и отец Фока смял его под свой большой живот одной ладонью. Но отец Исаакий вцепился в Фоку когтями, и, пока Ефросинья и другая прачка, Дарья, разливали их водой, успел расцарапать ему левый глаз. Посему приглашение владыки повергло братию в великое смущение: отец Исаакий лежит и стонет в постели, а у Фоки разнесло всю щеку. Прочие иноки уже выехали на архиерейскую дачу. Оставались отец Акакий и два послушника, певчих. Решили Фоке завязать глаз: пчела укусила, а отец Исаакий — не явился по старческой немощи.

Владыка благословил братию, опустив и полузакрыв очи, и не заметил подвязанной щеки. Стал говорить о телесном благоповедении, о зависимости душевного состояния от положения тела. Настойчиво советовал братии в деле духовного преуспеяния неусыпно следить и за внешним положением тела, наипаче главы, а также рук, ног: преклоненная глава вызывает в нашей душе смирение, а гордо поднятая — гордыню; покойно сложенные руки, как подобает иноку, смиренно согбенные колени и в душе устанавливают покой и светлое созерцание. Аще же инок легкомысленно размахивает руками, отставляет ногу, то и душа рассеивается, отдается суетным мыс-

лям, чванству, гордыне. Сие также начало гневу полагает.

Когда, получив наставление владыки, братия вышла в коридор, встретились с отцом ректором.

— Что это у вас, отец Фока?

— Пчелка, ваше высокопреподобие, укусила.

— А!.. И сильно укусила?

— Нет, сколько ей от бога положено.

— Так вы скажите пчелке, что если она еще раз укусит вас, то далеко ей придется лететь... за вами.

Братия в глубоком молчании разошлась по келиям. Только отец Фока остановился на пороге кельи отца Исаакия и сказал:

— Вот что, отец Исаакий. В случае драки во хмелю можешь без числа брыкаться, щипаться, карябаться, кусаться — ни слова не скажу. Но аще ты, старый котюга, еще единожды мне личность испортишь,— кишки и вся внутренняя из тебя, пса смердящего, выдавлю! Аминь!

Отец Исаакий ничего не возразил, только, пока говорил Фока, стонал на ложе своем и громко молился:

— О, всепетая мати! Да покарай же ты его, бугая проклятого, самарянскою проказою и французскою болезнию!..

IX

Девятого мая в Никольской церкви, по случаю храмового праздника, было архиерейское богослужение.

Уже на литургии оглашенных владыка услыхал в душе тихое веяние благодати. Робкою радостию волновалась душа, как молодая травка при ласковом весеннем ветерке. Ярче и ярче озаряло ее Вечное Солнце.

Вот владыка вышел на амвон с дикирием и трикирием. Тихо заговорил:

— Призри с небесе, боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди, его же насади десница твоя...

То закрывал глаза, то смотрел поверх голов, этих гроздей винограда, на который вот сейчас изливается насаждающая и утверждающая благодать. Изливается чрез него, недостойный, скудельный сосуд! О, безмерного человеколюбия твоего!..

Счастливые слезы застилали глаза владыки, и уж не видит он благословенного винограда божия, слышит толь-

ко три серебряных, как колокольчики, детских голоса:
— Святый боже, святый крепкий...

Дети ли это поют или ангелы в глубокой высоте? Фимиам ли это струится в куполе или серебристые облака там, в небесах, где так легко теперь парит душа...

За херувимской владыка в царских вратах умыл перед народом руки свои. Когда, отерши лентием, вернулся в алтарь и шел к престолу, то взглянул на большую запрестольную икону «Тайная вечеря»...

Владыка вздрогнул и с болью закрыл глаза.

Иоанн Богослов, в красном хитоне, склонил голову на грудь Учителя и чуть улыбается горькой улыбкой Пашеньки... Страшное сходство... Даже откинутый льняной локон издали — Пашенькин вихор.

Ослепляющей молнией прорезало душу это сходство и мгновенно осветило на ее дне темное чувство огромной невозвратимой потери. Тьма стала Пашенькой. Опаленная молнией душа, как раненная в крыло птица, тяжело упала с неба на землю и беспомощно заметалась, безмолвно застонала...

Уже певчие спели первую часть херувимской. Иереи и протодьякон удивленно смотрят на владыку: уже должен он прочитать трижды херувимскую и вынуть у жертвенника частицы за предстоящих. А он как после омовения рук сказал: «Умыю в неповинных руце мои», так и стоит перед престолом, сомкнув побелевшие уста. В церкви молчание, а владыке кажется — после прорезавшей его молнии — гром гремит.

Пришел в себя от продолжительной тишины в церкви. Вспомнил, какое нашел сходство, и затрепетал от собственного кощунства. Улетело дыхание благодати, и трепет страха объял грешную душу. Так, трепеща, и закончил литургию.

X

Семинарская жизнь с ее экзаменационной страдой тоже шла своей многовековой колеей. Разумова скоро забыли. Да и некогда было вспоминать. Каждому семинаристу только до себя было среди этой лихорадочной, торопливой, как на пожаре, нагрузки в голову — сегодня пророков, завтра квадратных уравнений, послезавтра еретиков и святителей, а там — латинских исключений и правил гомилетики.

На экзамен по церковной истории приехал владыка. Слушал ответы семинаристов. А когда зашла речь об отцах и учителях церкви, объяснил мистическое отличие отцов от учителей. Все они говорили по внушению благодати божией, но с тем различием, что на отцах церкви и их творениях сия благодать почивала неотступно, в жизни же учителей церкви бывали такие моменты, когда благодать не осеняла их. Тогда в их творениях излагалась не общецерковная, освященная благодатью истина, но частные их, учителей, мнения, часто, конечно, ошибочные. Таково, например, ложное мнение Оригена о невечности мучений для грешников, высказанное им по его мягкосердечию. Слово же божие и наш разум убеждает нас, что сии мучения должны быть вечны. Говорил владыка о благодати и «мнениях» без обычного упоения, кого-то невидимого в чем-то растерянно убеждая. И всякий раз, когда выходил из-за парты к столу новый семинарист, он напряженно, что-то отыскивая, всматривался в его черты. Но не находил. И на прозрачном лице его тотчас потухала мимолетная надежда. Оставалась беспомощная детская сиротливость. Уезжая с экзамена, преподал благословение, и семинаристы дружно спели:

— Ис полла эти, деспота.

«Morituri te salutant»[1],— мелькнуло в памяти владыки.

Но, садясь в карету, он никак не мог понять, при чем тут «morituri».

XI

В половине июня ожидался епархиальный съезд, и владыка подолгу вечерами работал вместе с отцом ректором над подготовкой материала, постановкой вопросов. Углубились в вопрос о реорганизации эмеритальной кассы.

— Необходимо заменить выборного председателя и назначить его по нашему собственному выбору!— волновался отец ректор.

Владыка улыбнулся и тихо сказал:

— А Пашенька-то в могилке, отец Серафим.

Отец Серафим удивленно поднял глаза от бумаг:

— Какой Пашенька?

---

[1] Идущие на смерть приветствуют тебя (*лат.*).

— Павел Разумов... Уже забыли...

— Ах, тот... Атеист-самоубийца. Что ж, ваше преосвященство, много их, этих Пашенек, развелось ныне. Но не должно смущаться, атеисты всегда были, и всегда память их, по псалмопевцу, погибала с шумом. А божественная истина стоит вечной скалой, обуреваемая еретическими и атеистическими волнами, иже разбиваются в прах о ее незыблемое подножие...

Владыка закрыл глаза и сказал:

— Да, да... скала будет стоять и после нас, как стояла до нас. А Пашенька вот разбился о нее, и нет его... и не будет, отец Серафим... В неизмеримости веков был один только Пашенька, оттого-то он и дорог неизмеримо! Скала могуча и тверда, а он — слабенький, хрупкий, разбился о нее. На глазах наших... на глазах... и канул... Нет Пашеньки... и не придет... А? Осталась только горькая улыбка... О боже мой, боже мой...

Владыка проговорил все это с несвойственной ему торопливостью, половину лица закрывши ладонью. Не о Пашеньке говорил, а о собственной острой боли. Проговорил и умолк, к чему-то в себе прислушиваясь, забыв об отце Серафиме. А тот смотрел на него снизу холодным удивленным взглядом.

— Да, конечно,— сказал он, постно вздохнувши,— по человечеству, действительно, жаль юношу. Но божия правда, ваше преосвященство, выше человеческой жалости.

Владыка взглянул в его круглое лицо, залитое деланной бабьей грустью и благочестием.

О чем это он?.. Ах, возражает...

— Да, да, правда ваша, отец Серафим... Простите, Христа ради, за смущение.

Уехал отец ректор. Время уж стать на молитву. Но владыка чувствовал, что смутная посторонняя мысль не даст места молитве. Вышел в сад. Боже мой, какая святая ночь! Небо и земля молитвенно умолкли, будто в ожидании совершения великого таинства. В темно-синем куполе зажжены мириады лампад и свечей. Колоссальная люстра переброшена от края до края. А внизу курят благовонный фимиам сирень, акация, липа, всякий куст, всякая трава. Два ряда высоких темных тополей, с листвой почти от земли, как иереи в черных рясах, стоят друг против друга молча, в благоговейном ожидании начала таинства. Из-за соборного купола всходит месяц, чуть

окутанный белой дымкой, как первосвященник в золотой митре. Входит в необъятный храм, и шепчутся иереи-тополи, и быстро поверх черных ряс надевают серебряные ризы, а травы и цветы, омывшись росой, сильнее курят благовония. За беседкой соловей наскоро пробует трели, готовясь грянуть гимн творцу.

«Сотворил есть луну во времена... Одеяйся светом, яко ризою...»

Из-за священного стиха медленно, как месяц из-за купола, выплыло в памяти бледное лицо Пашеньки... Владыка даже остановился и схватился за грудь: невыносимая острая жалость прорезала сердце. Заклубилась в душе, мутя сознание, и разлилась по саду, и покрыла землю и небо... Как тоскливо смотрят с неба звезды... Мертвенно побелел месяц, охваченный погребальной тоской. Побледнели в печали своей высокие тополи и низкие кусты... Вот оно, совершаемое Вселенной таинство... Страшное таинство смерти, Пашенькиной смерти... Вот она, невыносимо-тяжкая печаль мирская, плотская скорбь по человеке...

Откуда она? Откуда этот образ самоубийцы, что стоит перед очами и в ночной мгле, как при свете дня, и в молитвенном пении, и в курении фимиама? То не угрызение совести. Владыка знал это всем своим разумением. В своих действиях по отношению к совратившемуся семинаристу он именно велением своей святительской совести и руководился. Только велениями совести. И теперь, с тревогой вопрошая ее, он видел, что его совесть, судящая и мздовоздающая, так же чиста в смерти Пашеньки, как и совесть предваряющая. Так почему же этот самоубийца-богохульник стал неизмеримо дорог святительской душе? Почему вытеснил оттуда небесную скорбь и небесную радость, подменив их грешною тоскою по себе и дыханием бренности?

«Жизни свойственна радость, но нет радости у нечестивого»,— пишет Феофан Затворник. Вот он где — источник этой скорби: в нечестии унывающей души... Обошел ее враг, связал ее узами греха, и оттого не парит она горе, а стелется по земле.

«Сей же род изгонится токмо молитвою и постом».

С этой ночи началась у владыки страшная борьба с диаволом, что сеет в душе его плевелы мирской печали и похищает тайно семя благодати. Главное дело — познать врага. Средства борьбы указаны в Евангелии и ты-

сячелетия тому назад разработаны великими духовными воинами. Эти средства — молитвы, пост и изможденне плоти.

«Станите убо препоясани чресла ваша... Облецитеся во вся оружия божия, яко возмощи вам стати противу кознем диавольским».

Враг человеческий пришел и посеял плевелы именно ночью — сказано в евангельской притче. Тем-то и страшна ночь душе, что именно теперь диавол лют бывает в кознях своих.

Уж не знал он больше ночного сна. С вечера становился на молитву и так, не отходя от кивота, встречал восход солнца. Неустанно клал сотни поклонов, следуя примеру великих подвижников, кои, по слову Феофана Затворника, «через трение тела оттирали онемелый дух».

Увы, умучение и истощение плоти достигалось: к утру не имел силы без помощи послушника подняться от коленопреклонения, но душа не горела, была теплохладна и не взлетала к небу. Тяжелая погребальная тоска, как черный дым, низко стояла над нею, заслоняя свет, не пуская ее от земли, оставляя в ней только горечь.

Нет славы богу, нет пения, ибо душа стала — расстроенная арфа, съела струны греховная ржа. От утра и до вечера обретается владыка в тоске, унынии и тяжелом размышлении.

«Вот молитва моя немощна, ибо беззакония мои велики и сильны»,— сказал Ефрем Сирин.

«Все добродетели, наподобие некоей духовной цепи, одна от другой зависят,— говорит Макарий Египетский,— молитва от любви, любовь от радости, радость от кротости, кротость от смирения, смирение от покорности, покорность от надежды, надежда от веры, вера от слуха, слух от простодушия».

На каком же из этих звеньев порвалась цепь, столь тщательно при помощи божьей скованная?

XII

Веселым хороводом пробежали голубые майские дни. Промчались, целомудренно смеясь и счастливо громыхая молодыми вешними грозами, брызгаясь пахучей росой, цветами и соловьиными песнями. На смену пришли горячие июньские дни, пыльные, медленно ползущие, и торопливые, страстные ночи.

В распределении архиерейского дня произошли некоторые нарушения: исключены часы, посвящаемые прежде сочинению «Об именах Божиих». Случилось это так. Однажды владыка в обычный час сел за работу и вдруг почувствовал, что позабыл план сочинения и ту стройную философскую связь, какую установил между именами божиими. А когда попытался восстановить, то в мертвых схоластических натяжках не узнал так долго и благоговейно лелеемой в душе стройной, живой системы.

Какие жалкие потуги на богословствование! Только убогий разум, опутанный диавольским самомнением, мог создать такое поношение себе...

И владыка забросил плоды многолетних трудов. В эти часы уж ничем не мог заниматься. В тоске и ужасе перед собственной немощью подходил к окну и смотрел на пустынную, словно сожженную солнцем улицу перед архиерейским домом. Пустой скверик вокруг собора и тополи вдоль тротуаров, покрытые серой пылью, бросили на сверкающие камни короткую резкую тень. Изможденный полдневным жаром, дремлет, весь белый, город, как этот извозчик на козлах ободранной пролетки. Вот какой-то батюшка сел на пролетку — извозчик долго дергал вожжами, наконец раздался оглушительный лязг и грохот, взвилась бурая туча пыли, как от взрыва; пролетка скрылась в ней, будто в пороховом дыму. Только раскаты от ее грома слышны за много кварталов...

Город с каждым днем пустел. Пустели учебные заведения, выпуская одну за другой веселые стаи молодежи. Владыка живо представил, как разлетаются они по зеленым лугам, по волнуемым полям, в тень лесов и садов. Сладкие ожидания, радостные встречи... Днем и ночью их счастливые песни и смех звенят теперь на бархате трав, на серебре рек...

Только Пашенька не будет уже петь и смеяться... И не ждут его в родном гнезде... где ребенком ползал по траве, лазил по деревьям... и не вернуть его никогда...

— Пашенька! Несчастный! Что ты наделал с собой!..— застонал владыка.

Подкошенный острой тоскою, упал головой на кресло, судорожно хватал и рвал на себе подрясник и до крови резал сухие ладони драгоценными инкрустациями панагии. Бился в рыданиях и чувствовал одно: душа бьется об острые камни какой-то глухой стены. Стена

давит своею незыблемостью, а душа, ударяясь об острия, только больше ран себе наносит...

Слезы не дали облегчения, только, омывши образ Пашеньки, сделали его еще более ясным, жутко мучительным. Если бы теперь пойти на могилу отслужить панихиду... с архиерейскими певчими — легче бы стало.

«Блажен путь, в онь же пойдеши, душе, яко уготовася тебе место упокоения...»

— О господи, прости мое кощунственное малодушие!.. Помоги мне... О, помоги!..— застонал, ломая тонкие пальцы, и прислушался.

Анфилады пустых комнат отвечали молчанием склепа. Пусто, пусто в этом мире! И в первый раз за пятнадцать лет монашества почувствовал себя одиноким в мире: ушел он от людей, а бог отвернулся от него самого. Хоть бы поговорить с кем о самоубийце. Только не с отцом ректором. С тем, кто плачет и скорбит о нем мирскою скорбью. С той сестренкой?.. Не уехала ли еще? Только бы не уехала!.. Владыка торопливо прошел в кабинет и справился с расписанием экзаменов в епархиальном училище. Третий класс завтра отпускают... Слава богу!

Через начальницу пригласил к себе на завтра воспитанницу 3-го класса Наталью Разумову, с родными, если приехали за ней.

На вечерней молитве лишний раз убедился, какой заколдованный круг обвел вокруг его помыслов диавол. Когда, отсчитывая по четкам, клал земные поклоны, четки вдруг разорвались в том месте, где, соединившись, заканчиваются кисточкой, и рассыпались по полу. Эти агатовые четки — петербургский подарок неизвестной ему благочестивой дамы. На месте соединения их у кисти — черная крупная жемчужина. Помнится, говорили, что она стоит больших денег. Рассыпавшиеся по полу агаты келейник собрал. Но жемчужина куда-то бесследно закатилась. До поздней ночи искал ее келейник под шкафами и под аналоями и не нашел.

Владыка стал на молитву без четок, а воспитавшаяся на символике мысль уже кружилась в заколдованном круге:

«Размеренным счетом, как четки между пальцев, текли тихие дни жизни. И не замечал соединяющей их драгоценной жемчужины. Но вот она выпала и затерялась, и рассыпались и обесценены дни — четки земной жизни. Не

найти уже потерянной жемчужины, да не собрать рассыпавшихся дней в боголепные четки...»

Когда на другой день в одиннадцать часов келейник доложил, что в приемной дожидается заштатный псаломщик Разумов с девочкой, владыка смутился, заволновался.

«Что им сказать? Зачем, собственно, позвал?.. Разве оказать им денежную помощь? Ведь и несчастье-то все из-за средств вышло».

Открыл ящик и захватил пачку кредиток.

«Акелдама — цена крови»,— вспомнилось из Евангелия от Матфея. Бросил деньги на стол и, сжав рукой панагию, нерешительно направился в приемную.

«Что сказать?.. Зачем?..»

Старик стоял у порога, в пояс кланяясь и сложив руки для принятия благословения. Лицо его, еще более сморщенное, с посиневшим носом и щеками, улыбалось той же озябшей улыбкой, и глядели те же слезящиеся тусклые глаза. Девочка стояла, взявши, как подобает епархиалкам, левой рукой ладонь правой. Смотрела исподлобья, наклонив стриженую голову.

«Пашенькины вихры...»

Владыка, с восковым лицом, шатаясь, как будто с громадной тяжестью на плечах, перешел через приемную и в двух шагах от Разумовых стал вдруг опускаться на колени — не в силах больше стоять под придавившей тяжестью, и пал лицом на пол. Мягкие волосы тоже упали с плеч и рассыпались по полу. Прошептал, задыхаясь:

— Простите... Помолитесь...

Старик густо посинел отдельными пятнами, затрясся:

— Ваше... ваше преосвященство!.. О боже милостивый, царица небесная!..

Не смея прикоснуться к владыке, с тихим воплем упал пред ним на землю. Девочка заплакала и тоже упала на колени. Так лежали они — архиерей и дьячок, повергшись ниц друг перед другом. Вбежал келейник, поднял с пола архиерея, усадил его на стул.

— Ваше преосвященство, водички выпейте.

Владыка пил воду и разливал на подрясник, который келейник вытирал платочком. Закрыл глаза рукою, несколько успокоился. Взял лицо девочки ладонями и впился в него глазами, высохшими, остановившимися, широко открытыми страданием и любовью.

Потом спросил шепотом:

— Помнишь Пашеньку?

Девочка опять заплакала.

— В сновидении видишь ли?

Она кивнула головой.

— А я — нет,— тяжело покачал головой.— Нет! Молишься о нем?.. Помолитесь и за меня... Помогите...

Владыка опустил голову к коленям. Каштановые волосы опять упали наперед и закрыли его лицо. Замолчал, маленький, жалкий. Судорожно вздрагивали выступившие под подрясником худые лопатки.

Девочка посмотрела на них, на узкие плечи.

— Я буду молиться!.. Буду! — вся устремилась к нему.— Буду и за вас молиться... родненький!.. Не надо!.— всхлипывала она, откидывая назад его волосы и приглаживая их тонкими дрожащими пальцами. Потрясенный дьячок все лежал у ног владыки и тихо голосил.

Келейник доложил о приезде отца ректора.

Владыка, торопливо благословив, отпустил посетителей.

В другое время отец ректор сразу узнал бы этого неприятного дьячка, заметил бы и неуместность визита, и необычайное расстройство на лице владыки. Но теперь он сам чем-то крайне расстроен. На низкий поклон причетника даже не ответил обычным пренебрежительным кивком. Приняв архиерейское благословение, он подал ему распечатанное письмо.

— Только что получил! — значительно произнес он.

Письмо было — анонимное, в нем отца ректора называли Иудушкой, гадиной и Каином, советовали обмыть кровь на руках и поскорее каяться, так как на днях он будет убит в собственной квартире.

Для отца ректора не было никакого сомнения, что анонимный автор — сектант, почуявший в нем смертельного врага, доблестно поражающего сектантство в голову.

Разумеется, отец ректор рад претерпеть за веру и церковь. Но, во-первых, считает себя недостойным мученического венца. Во-вторых, хотелось бы еще поработать на божьей ниве. В-третьих же и наипаче, особливо жаль в сиротстве оставлять святое дело возжжения светильников православия.

Лишь в силу этого отец ректор приехал за благословением на исходатайствование городового к подъезду.

Владыка помолчал, задумавшись, и грустно заметил:

— Без воли божьей волос с головы не спадет.

— Истинно, ваше преосвященство, но зачем же небрежением себя искушать волю божию! Ведь и пророк Давид, и святые цари, и князья, уповая на помощь небесную, неослабно имели стражу земную.

Владыка ничего не возразил и благословил отца ректора на истребование городового.

Отец ректор успокоился и уже обычным деловым тоном сделал владыке еще один тревожного свойства доклад. В женской гимназии двадцать лет служит швейцаром Михаил Шпак. И что же оказывается? Этот самый Шпак вот уже пятый год, как не был у исповеди и причастия святых таин! Есть большое подозрение, что он уклонился в сектантство. И этот человек стоит на таком месте! У двери, через которую ежедневно пропускает шестьсот детских душ... Даже помыслить страшно, какие семена мог он посеять в этих душах...

Владыка позвал секретаря и приказал написать начальнице гимназии предложение немедленно уволить Михаила Шпака.

— Но хорош и законоучитель, отец Капитон!— усмехнулся отец ректор.— Такое небрежение к состоянию насаждаемого вертограда! А еще выражает нетерпение, что долго в протоиереи не возводите, хи-хи!—горько усмехнулся отец Серафим. И поехал к полицмейстеру.

Оставшись один, владыка грустно задумался. Вот отец ректор боится смерти, хотя и отрекся от мира. Ибо жизнь радует его, божия работника, как нива, готовая для жатвы. Изыде сей святой сеятель на дело свое и на делание свое до вечера и не хочет раньше вечера уходить с нивы.

Смутное чувство зависти к ректорской анонимке шевельнулось у владыки. Ведь прожито только тридцать шесть лет! Ужас объемлет от мысли — что, если суждено жить еще столько, а может быть, и более...

— Господи, сократи дни мои и призови меня к себе от земной юдоли. Положи предел испытанию твоему, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приблизися...

Это было в пятницу. А по субботам в архиерейском доме раздача денег бедным. Владыка положил в конверт двадцать пять рублей и написал: «Михаилу Шпаку». Вдруг напало сомнение: «Хорошо ли? Не будут ли эти деньги, отнятые у чад церкви, поощрением для отпадающих?»

Владыка вздохнул и вложил в конверт еще десять рублей. Келейника послал сказать, чтобы Шпак пришел в архиерейский дом.

Но Шпак не пришел.

Сектант... А может быть, и просто — зная, что владыка не может оказать серьезной денежной помощи. Вообще, грустную особенность стал замечать владыка в своей благотворительности. В первое время по приезде на епархию он еще до некоторой степени мог оказывать помощь лицам, пострадавшим от его архипастырской ревности по вере и благочинию. Но чем дальше, тем больше чувствовал свое бессилие. Теперь обиженным приходится уделять такие жалкие суммы, что больно и стыдно.

XIII

«Ожестело сердце мое, изменился рассудок мой, омрачился ум мой... Нет у меня чистого покаяния. Нет у меня слез во время молитвы, хотя и воздыхаю...

Вот молитва моя немощна. Беззакония мои велики и сильны!»

Как часто, бывало, наизусть читал про себя владыка эти слова великого сирийского мистика! Сжимали они сердце сладкой неземной скорбью.

Хотелось плакать, и слезы, послушные, теплые, омывали смиренную душу. А душа, купаясь в них, просит слез еще и еще...

Льются они, благодатные, и цветет душа благоуханной радостью, как майский день после проливного дождя.

«Душа моя скорбит, и глаза мои желают слез...»

О сладкая скорбь, о блаженное желание!..

И вдруг эти слова Сириянина повернулись к нему новой, страшной стороной. Повернулись не благолепной правдой, что создана святым самоуничижением, а правдой голой. Слез, действительно, нет... Иссякли. Есть воздыхание, есть биение в перси, а глаза сухие. Омрачился разум. Ожестело сердце. А душа скорбит уже не прежней сладкой скорбью. Так скорбит, что едва ли адская скорбь может быть невыносимее.

— Душе моя, душе моя! Что сталось с тобою, бедная? Как низверглась ты в пучину? Как проспала ты, нерадивая, и не заметила, что ограблены собранные

тобою слезные сокровища, что отринута еси от лица света незаходимого и покрыла тебя тьма, окаянную!

О, воззови мя, спасе... О, восстани, бедная душа моя! Конец приближается... Страшными местами поведут тебя, беззащитную...

Гонимая смертельным ужасом, взметнулась растерявшаяся мысль владыки от раскрывшейся перед нею черной ямы отчаяния и, бессильная, прячется под сень святоотеческих мыслей. Жадно перечитывает он творение за творением, перебегает памятью от одного к другому из бесчисленного множества наизусть известных изречений. Но — странное дело: святые изречения не осеняют былой благодатной сенью. Будто деревья, с которых осыпались зеленые листья, и, как обнаженные ветви на ветру, уныло скрипят голые, высохшие слова и тысячелетние мысли.

И среди сухого шороха умерших мыслей еще страшнее смертельно испуганной душе.

Жажда смертельная томит ее. Тысячи живоносных источников заключены в святом писании и творениях отцов. Но тщетно припадает к ним душа: оттуда ни капли влаги. В тяжком томлении мечется смятенный дух от одного изречения к другому. Кто же заколдовал сей божественный вертоград? Кто снял сень его и иссушил ключи его?

Богохульные вопросы! Ибо в священных книгах текут реки живы, и никто не может заколдовать и иссушить их. Не вертоград, а душу заколдовал злой дух.

«Змий таится под самым умом во глубине помыслов,— говорит Макарий Египетский,— гнездится и умерщвляет тебя в тайниках и хранилищах души».

Теперь этот змий поднял главу из глубины и стал его помыслами.

— Беснование...— прошептал владыка, уставившись в угол широко открытыми от ужаса глазами.

За стеной, в передней, покатился громкий хохот:

— Хо-хо-хо!

Как будто бросали вниз тяжелые вещи, которые с грохотом скатывались по ступеням парадной лестницы.

Владыка вздрогнул и перекрестился: хохот в архиерейском доме!..

— Наваждение бесовского неистового торжества...

Но вошел келейник и доложил, что то не бесовское неистовство, а приехал, возвращаясь с курорта, епископ Арсений.

А епископ Арсений уже вошел в зал, толстый, приземистый, с большим, как у беременной женщины, животом. Хохочет и лобзает Иннокентия. Пышет жаром от мясистого, багрового лица его, до самых глаз заросшего широкой бурой бородой. Здороваясь, над чем-то хохочет, что-то громко бранит и сразу же наполнил своей фигурой и своим грохотом весь архиерейский дом.

Облобызавшись, он всмотрелся в Иннокентия и закричал:

— Э, что ж это ты, молодой архиерей, так запаршивел? А еще в теплых краях живешь! Запостился, брат, запостился! А ты гляди на меня!

Арсений, расставив локти, ударил себя ладонями по круглому животу.

— Служу богу, а мамона сама растет, прах ее побери, хо-хо-хо! Фамильное, брат. Все Благовидовы с пузом! Да!

Грохотал, а суровый сонм российских патриархов в золотых рамах, начиная с Иова и кончая Адрианом, мрачно смотрел со стен на неблаголепного святителя.

— А Еремка-кощей к тебе заезжал?

— Кто такой?

— Да Еремия ж, гробокопатель!

— Ах, преосвященный Иеремия. Да, был.

— Хо-хо-хо! Упованием архиепископских смертей только и держится на этом свете, божий старец. А ведь твоей, говорю, смерти все викарии ждут!.. Скоро ли освободишь? Сорок викариев смотрят на тебя с высоты своих кафедр! Как орлы со скал на старую козу! Да ты бы, говорю, отвез его святейшеству Владимиру Карловичу пять тысяч на благолепие. Или свои девяносто тысяч с собой в могилу взять думаешь? Взбеленился, позеленел! Никаких, мол, девяноста тысяч у меня нет. А за твой, говорит, цинизм никогда тебе не быть высокопреосвященством. Хо-хо!.. Зато я божьей милостью — толстопреосвященство!

Расставив локти, погладил брюхо:

— Это не всякому дано, и никакой Карлович не отнимет!

За обедом епископ Арсений много ел, много смеялся и ругал членов синода, называя их унизительными име-

нами с прибавкой для каждого хлесткого эпитета. Рассказывал о похождениях екатеринославского епископа, которого все время называл цыганом Семкой.

Вечером владыка принимал по делам казначею подгородного женского монастыря. Встретив епископа Арсения в зале, она подошла к нему под благословение.

— О! Да ты, мать честная, еще толще меня! Хо-хо-хо!— развел Арсений руками, осматривая грузную фигуру растерявшейся инокини.— Перелазь-ка, молитвенница, для комплекту в мою епархию! А я тебе подобающий случаю иноческий анекдот расскажу... Хо-хо-хо!

Два дня прогостил епископ Арсений у Иннокентия, отдыхая от растрясшей его езды на лошадях.

Сытый, грешный смех его тяжело, как ломовая телега с мешками по мостовой, грохотал в архиерейском доме.

И странное дело — этот грохот спугивал, как стаю воронов, черные мысли владыки, душа получала облегчение, какого давно уже не давали ей ни священные слова, ни молитвы и песнопения.

Прощаясь с владыкой на вокзале, Арсений вдруг пристально всмотрелся в его лицо и сказал уже без смеха, негромко:

— Что-то, брат, посмотрю я на тебя,— худость твоя не от изможденяя плоти и не от печали, яже по бозе... А скорбь твоя как будто к земле тебя тянет... В глазах она у тебя.

Владыка молча закрыл лицо рукою.

— Есть?— спросил Арсений.— Уязвлен, видно, миром-то? Иди-ка ты, владыка, в затвор,— заметил он с необычной тихой серьезностью.— На епархии тебе не место: шкурка зело тонка — прободут!

— Поздно теперь.

— Значит, прободен уже?.. Что ж, в затворе залечишь, может быть. Отчего тоскуешь-то?

— Тяжело человеку... Мальчик тут... погиб...

Арсений грустно помолчал.

— Плохо, что ты детей не имел. Вот они — родительские чувства, нераспечатанные, и бушуют,— сказал он, задумавшись.— Я своих младенцев тридцать лет поминаю.

XIV

В середине июня владыка переехал на подгородную архиерейскую дачу. Здесь с первого же дня почувствовал в себе еще небывалое неистовство вселившегося беса.

Когда наступали эти неистовства, владыка уже не владел ни своими мыслями, ни действиями. Только отмечал их в своей душе. На Петра и Павла совершал литургию с молебствием в кафедральном соборе. В момент, когда на молебне певчие грянули многолетие, владыка вдруг глубоко вдохнул в себя воздух, словно задыхаясь, и вскрикнул:

— Пашенька!

И не заметил, какое смущение произвел среди иереев, двумя золотыми рядами выстроившихся среди собора.

Только уже в карете, по пути на дачу, вспомнил об этом, вспомнил, что всю литургию стоял мысленно не перед престолом всевышнего, а перед распростертым на полу трупом. Не отрываясь. Дивился теперь не богохульному своему поведению, а тому равнодушию, с каким вспомнил об этом богохулении.

«Но ведь хула на духа святого не будет прощена!— лениво убеждал он себя.— Ведь за сие вечная погибель душе! Смерть... Ад... Муки вечные!» — силился он испугать себя. И чувствовал, вместо былого священного ужаса, холодное равнодушие к собственному спасению. Будто речь шла не о вечном возмездии, а о награждении орденом.

«В смертном параличе душа моя»,— устало, без сожаления подумал он.

Прошли знойные июльские ночи с запахом сухой травы, с горечью полыни и треском кузнечиков, с далекими сухими зарницами на горизонте.

В такие ночи невыносима тоска. Напрасно врезываются в окровавленное тело колючие звенья от вериг, напрасно бьются о железную постилку разбитые до гнойных ран колени. Враг не отступает. Не выпускает душу из своих адских когтей. Играет ею, как коршун смятой, окровавленной птичкой.

Было уже к полночи, когда владыка, обессиленный неравной борьбой, вышел в сад. Одной своей стороной большой архиерейский сад спускался к маленькой степ-

ной речке, за которой теперь чуть курилась прозрачная туманная мгла. Противоположный конец сада, поднявшись на пригорок, выходит в поле, уже усеянное копнами пшеницы. Оттуда, вместе с запахом жнивья, доносились крики перепелов, где-то фыркала лошадь. У братских келий запоздало икал отец Савватий. Залюбовался ночью, потемневшей от сладкой страсти, в знойной истоме пылающей звездами...

Вот он икнул в последний раз и ушел спать.

Владыка прошел по тополевой аллее, что ведет к полю, навстречу перепелу и запаху жнивья. Запах красного детства и лазурной юности... Сколько слез восторга пролито в такие тихие ночи! Отчего же теперь эта темная ночь стала жуткой? Будто мертвая вечность опрокинулась вдруг над человеком, и хлынул оттуда океан тоски. Если бы в этой бездне засветилась пара глаз... Стала бы жизнью мертвая вечность. Но глаза навеки закрылись, а без них тайна ночи — вечные врата смерти. Как жутко у врат!..

Когда-то, семинаристом, путешествуя в Кавказских горах, он подошел к краю заоблачного утеса и заглянул в пропасть. Где-то на страшной глубине, в полутьме, терялось подножие утеса. Цепляясь за уступы, робко ползли внизу серые тучки. Пахнуло из этой глубины таким нестерпимо холодным ужасом, что, казалось, продлись еще несколько секунд это положение, и душа не выдержала бы ощущения бездны. Закрыв глаза, бежал он прочь.

Так и теперь: заглянул в зияние черной тоски, и нет сил вынести веющего оттуда холодного ужаса. Но некуда бежать от нее, от бездны ада... Владыка упал на скамейку.

«Один в горькой печали моей... Во всем мире один...»

— Что ж ты, милка, грубиянишь,
На любовь мою не глянешь! —

донеслась со стороны дороги ленивая песня: должно быть, возвращался рабочий из города на черепичный завод. Слышны спокойные шаги его по дороге. Счастливый человек! Счастливая, беспечная песня...

А неистощимый в кознях враг уже подбрасывает в душу одну за другой черные, как угли, мысли. Раздуваемые холодным дыханием тоски, угли-мысли вспыхивают адским пламенем. Обжигаясь, он пересыпает их.

— Будет ли конец этой грешной скорби?— спрашивает он.

— Не будет,— отвечает черная мысль.

— Ведь скорбь — земная, а все земное имеет конец,— отбрасывает он черную мысль.

— Но вечны души ваши. И вечны мучения его. А может быть, забудешь его,— сыплются черные мысли.— Забудь! И жди себе вечного спасения! Будешь ликовать и славословить в свете неизреченном, и не дойдет до тебя из тьмы кромешной его плач и скрежет зубовный...

Мгновенно вся душа освещается зловещим огнем запылавших адских мыслей.

— О, будь проклято мое спасение, если оно над муками Пашеньки! Забудет пусть бог душу мою, если я забуду тебя... твою горькую улыбку — хоть один твой волосок!

И сразу потух адский пожар. Опомнился владыка в своем богохулии. Жутко было оглянуться на смрадное пепелище...

С луга потянуло свежестью; пел коростель и еще какая-то луговая птица.

Объятый ужасом, побежал назад, к дому. Путался в аллеях и все бежал от адских мыслей. А они влеклись за ним роковой нитью, концы которой путались в голове в страшный ком.

— Что ж это за вечное блаженство над вечными муками ближнего! Как совместить блаженство за любовь к человеку с терзающими слух адскими стонами человека? Невозможно... Невозможно распутать ком... Если бы разорвать!

Схватил себя руками за голову, рвал кожу и волосы хрупкими пальцами.

Подле террасы упал на колени:

— Разорви!.. Отними ты у меня разум... Пошли юродство!..

И бился лбом о землю.

Пока клубок в голове сам собой не заворочался... Жив!.. Но это уж не клубок. Это змий, клубком свернувшийся! Тот самый, что гнездится под мозгом... Правда твоя, египетский подвижник!..

Быстро вбежал по лестнице на второй этаж, в моленную. Прислушался: тихо в голове.

В углу большое, в натуральную величину, распятие. Дремлет у ног его синеватый свет лампады. Перед рас-

пятием скамеечка, узенькая,— с трудом поставить обе ноги,— усеянная чуть выглядывающими остриями гвоздей.

Владыка становится на нее босыми ногами, чтобы приступить к полунощной молитве.

Но быстро темнеет в глазах, и он летит куда-то в зияние бездны.

Очнулся, когда утренний свет сквозил в окна, растворял и успокаивал тени ночи. Как тяжело в опустевшей голове! На щеке, разбитой о кресло, не заметил запекшейся крови.

Истерзанный плотию, убитый духом, сел он у подножия распятия и молчал, подняв к распятию позеленевшее лицо, с черными кругами под глазами. Прядь волос упала на щеку и прилипла к запекшейся крови. Громко воззвал, как некогда распятый:

— Боже, боже мой, вскую мя оставил еси...

А солнце уже всходило, и красные лучи его торопливо одевали скорбный день в багряницу. О, как тяжко встречать утреннее пробуждение мира, потеряв самое дорогое в нем! Кто в жизни своей встретил такое утро, того уже коснулась вечерняя тень.

Подошел к рабочему столу и скользнул по нему взглядом: дела консистории, дела семинарии, прошения, телеграммы. Сверху телеграмма от епископа Иеремии: «Архиепископ Савватий агонии. Христа ради, телеграфируйте мою пользу московскому владыке. Приснопоминающий вас молитвах смиренных епископ Иеремия».

В стороне под книгами толстая тетрадь — «Об именах Божиих»...

Человек нашел множество имен, чтобы назвать ими бога, и считает это богопознанием. Да не нашел имени тяжкой скорби своей. Где оно? Если бы найти это имя и поставить рядом с именами божиими! Не ночные ли туманы у подножия каменной горы?

«Диавола мысли»,— подумал владыка, раскрыл диссертацию, прочитал страницу, другую — и вдруг диавол налил в душу до краев горячего, как кипяток. Владыка быстро зажег обе свечи на столе и, поставив рядом, держал над ними диссертацию. В упоении жгучей мести закрыл глаза и только слышал, как огонь, шелестя, ест бумагу, лижет руки... И была сладость в этом остром лизании... Стихло. Открыл глаза и смел пепел в корзину...

XV

Сон приснился. Архиерейское служение. В светло-голубых облачениях стоит он с собором иереев среди церкви. В руках у молящихся ветви распустившейся вербы.

Сноп весенних лучей, падая с высоты купола, золотит парчу, навстречу ему поднимаются голубые клубы фимиама. А вокруг — куда ни взглянь — высокая трава волнуется, цветы в ней прячутся, те самые, знакомые с детства цветы, что росли каждую весну за селом по оврагу; шумят по-весеннему зеленые деревья... И с травой вместе волнуется грудь неизъяснимой, еще небывалой радостью.

— Общее воскресение прежде твоея страсти уверяя,— несется с хор торжествующая мелодия первого гласа,— из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе боже. Тем же и мы, яко отроци, победы знамение носяще, тебе, победителю смерти, вопием: осанна в вышних...

С этой песнью, с теплым дыханием ветра столько счастья льется в сердце, что, кажется, не выдержит оно, порвется, отчего это? Владыка знает причину: там, впереди, в толпе молящихся — Пашенька. Владыка знает, что он там. Он жив и никогда не умирал. О, какая светлая, бесконечная радость! Льется торжественное пение, шумит зеленая трава, и от шума проснулся, вскочил на ноги.

Та же полутьма в комнате, а на дворе шумит проливной дождь. Как тяжело просыпаться...

— Пашенька, солнце мое багряное! Закатилось ты, не согрев мою сироту-душу. Только бросив последний кровавый луч, покрыло ее черною тенью... Тенью вечной ночи...

Слушает он, как быстро тают в душе сонные грезы, тают и смываются черным потоком мыслей:

— Может быть, затем только и призвал тебя Христос на паству, чтобы спасти сего единого агнца и возложить его на рамена? Но не уразумел ты призвания своего, и, когда повис агнец над бездной, ты столкнул его...

— Чьи это мысли? Диавола или мои?

— Забыл ты от Луки главу 15-ю, стих 4-й...

— Едва ли это мысли диавола! Впрочем, и диавол иногда богохульно на писание ссылается. Ибо в каноне...

— Бьется душа твоя в установлениях канона, как малая птичка в силках, а сова-совесть уже вонзает когти...

— Его мысли! Диавола... Ибо каноны и совесть — одно и то же!

— Одно ли?.. Кто спрашивает? Ах, это — лукавый разум!

Хочет владыка твердой стопой наступить на свой разум. Но он только пуще извивается и жалит, как змий.

— Господи, раздави его ядовитую главу! Лиши меня отравленного разума, даждь ми юродство! В нем одном спасение.

И когда напрягал все силы, чтобы наступить на разум, опять почувствовал с поразительной ясностью, как отвратительный змий заворочался в голове под черепом. Ворочается и испускает яд, разливающий в мозгу знакомые богохульные мысли. Владыка крестит лоб, изо всей силы вдавливая в него ногти, и не чувствует ни боли, ни облегчения. Тогда торопливо зажег он страстную свечку и, держа ее в руках, стал водить пламенем по лбу.

— Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут от лица божия!

И, закрывши глаза, видел, как змий, не стерпев святого огня, прыгнул из головы на пол и стал извиваться у ног, скользкий, блестящий при свете лампы, с желтыми глазами... Владыка бросился, чтобы наступить на него, но змий ускользнул и, шипя плотские мысли, тянулся к нему ищущим жалом... И стали они гоняться один за другим по комнате: владыка — чтобы наступить, змий — чтобы ужалить. Опрокинули кресло и аналой, владыка разбил колено и ударился головой о притолоку.

Обессиленный, беспомощно закрыл глаза руками. Но ударили к заутрене, и змий медленно пополз из комнаты, извиваясь и оглядываясь, то с одной стороны, то с другой. И богохульно шипел:

— Луки 15-я, стих 4-й...

XVI

В середине лета умер Самохин. Похороны были торжественные, с архиерейским богослужением. В церкви над гробом стояло знамя «Союза русского народа». На молящихся блестели союзнические значки. Прибыл губернатор с губернскими чинами и полицией.

На литургии, после запричастного стиха, отец ректор сказал высоким певучим тенором блестящее, прочувствованное слово.

— Избранников своих господь уже из чрева матери предуготовляет на великие дела. Сие видим еще во времена ветхозаветные. Предуготовляя Израиля, бог избрал сего ради уже Авраама и Исаака. Не то же ли предуготовление божие видим мы и в роде усопшего богоизбранного мужа Созонта? Благочестивый отец его во святом крещении приял имя Поликарп, что по-гречески значит «многоплодный». Кое же качество знаменует имя сие в приложении к носителю его? Знаменует ли многочисленное потомство? Отнюдь нет, ибо почивший брат наш Созонт был единственное чадо своих благочестивых родителей. Не ясно ли из сего, что многоплодие их разуметь должно не в физически-количественном, но в нравственно-качественном смысле: сей мног плод есть усопший брат Созонт. Един, но ценою дороже многих! Еще разительнее предуказание божие зрим мы в имени самого почившего. Ибо имя Созонт значит «спасающий». И вот, братие, мы сподобились видеть, как сие предуказание от купели крещения благодатно исполнилось во славу церкви и отечества. Усопший брат, ты еси поистине Созонт! В лихую годину, когда инородчески-революционная гидра силилась поглотить веру православную, и престол, и отечество, в сие лихолетие родного твоего града глас воззвал к тебе: иди, спасай! Ты встал и спас! Земной же поклон тебе от родного града, земной поклон от всего народа русского, от церкви православной на земле и венец праведника тебе в церкви небесной!

Когда владыка вышел на чин погребения, то, став перед гробом, впился в мертвое лицо напряженным взглядом и так стоял, не отрываясь, как будто силясь что-то прочесть в тронутых тлением чертах.

А после канона, при могильной тишине, сказал слово.

— Брат Созонт,— произнес он негромко, но всем было слышно.— Брат Созонт! Кто и что ты днесь? Точно ли ты брат нам?.. Вот среди нас ты, но уже не наш и не с нами. Тайну страшную, тайну, стирающую в пепел ум человеческий, узнал ты днесь и закрыл очи и сомкнул уста твои, дабы не обмолвиться о ней... Чтоб не выдать ее нам, взыскующим ее. Мы собрались вокруг тебя сетовать, плакать и молиться о тебе, а ты, чужой, молчишь и не скажешь, что́ тебе эти слезы и молитвы? Молчишь

страшным молчанием вечности, тая от нас единое бесценное... Да нет в мире силы, чтобы заставила тебя, хоть мановением черты, намекнуть нам на разгадку. Да кто же нам разгадает ее?.. О, если бы крылья орлиные! Полететь бы взвеваему ветром от четырех стран: от востока, и севера, и запада, и моря...

Владыка, подняв руки, медленно взмахнул ими, будто крыльями.

— Вознестись бы в сторону от земли и взглянуть с высоты в шеол...[1] Объять горняя и преисподняя!..

Вдруг сделал шаг ко гробу и коснулся его рукою.

— Скажи, что видишь там?— понизил он голос до шепота.— Успокоится ли печаль наша? Согреет ли кто лаской озябшую душу?.. Расскажешь ли там, во свете, как тяжко и темно здесь, на земле?.. Скажи хоть о себе: встретили тебя дети, их же святой кровью обагрил ты руки свои? Встретили тебя той улыбкой, на коей оборвал ты их радостные дни? И растаял ли в той улыбке каменный ужас души твоей и не приходят ли к тебе больше кошмарные ночи?.. С лютым змием в мозгу?.. А? Нет?.. Или расплавленным железом падают на тебя капли пролитой тобою неповинной крови, и в безумии болезни мечешься ты, о несчастный Ирод, под кровавым дождем?.. И клянешь себя, что за одну их кровинку, за счастье пригладить светлые волосы на простреленном детском височке не отдал ты свою окаянную душу, всю свою богом проклятую жизнь... А горькую улыбку ты заметил?.. Скажи... Скажи... Что ж молчишь?

Совсем низко наклонился к мертвецу и впился в его распухшее лицо...

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство! —

Отец ректор махнул певчим, чтобы пели, и под руку отвел владыку от гроба на архиерейское место.

— Молчишь... молчишь...— твердил владыка, не отрывая горящего взгляда.

После погребения владыку усадили в карету. Но, проехав несколько кварталов, он выскочил на тротуар.

— Не надо, не надо кареты... Уезжай!— твердил он, испуганно оглядываясь на нее и быстро шагая по улицам.

Потянулись мимо окраинные домишки, потом лесные склады, городской выгон. Знойный ветер, кружась вих-

---

[1] Библейское название загробной жизни.

рями, гнал перед собой перекати-поле; вот он помчался вдоль по дороге, поднял огромный столб пыли и повел его в овраг, где кирпичные заводы. Вот на пути стадо коров. Старый пастух, стоя на коленях и заслонившись свиткой от ветра, бьет кремнем о железо, чтобы закурить трубку. Но дряхлые руки дрожат, а ветер, забираясь сквозь дыру в свитке, тушит огонь.

Владыка остановился сзади, посмотрел, как дед несет трут в трубке, и сказал:

— Потухло.

Но дед не слышал. Тогда из куста выскочила серая собачка и стала лаять на владыку, а владыка смотрел на нее и долго не мог понять, в чем дело: уже много лет, со времени принятия иноческого сана, не лаяли на него собаки.

Пастух оглянулся, заслоняя рукой от солнца слезящиеся глаза, и, увидев духовное лицо, кряхтя, приподнялся на ноги.

— Чьи это коровы? — спросил владыка.

— А городские, батюшка, мещанские больше.

— Мещанские?

— Разные тут. Вон энта серая господина полковника, что собственный дом на Мариинovской улице.

— А эта тоже господина полковника, что собственный дом?

— Которая? Что сюда смотрит? Нет, это печникова — Савкина. Ну только разницы между ними, действительно, мало: которая полковницкая, которая Савкина — одна коровья шерсть. А вы, батюшка, купить желаете ай так, для антиресу спрашиваете?

— Да... А вы пастырь?.. Не потеряли ни одной пасомой?.. А я потерял!.. потерял! Только одну потерял!..

Еще быстрее пошел владыка, направляясь к архиерейской даче, так что келейник не поспевал за ним. Спустившись вниз, оглянулся и подумал: «Только рога видны... Недопустимо, чтобы у диавола рога были: бог дал рога смиренной и незлобивой корове. А диавол — это змий!»

Придя на дачу, владыка велел секретарю изготовить циркулярный указ по епархии, чтобы в церквах замазали диавола с рогами и переделали бы его в змия с желтыми глазами.

А отец ректор, вернувшись домой, написал обо всем случившемся подробное письмо московскому владыке.

Неделю спустя уже ехал в епархию, под видом проезда в собственное имение, миссионер, тайный советник Скворцов.

XVII

Если смотреть из окна дачного зала, то за архиерейским садом виден изгиб речки, спрятанной в белоголовом камыше, опушенной лозняком. Извилистая дорожка вынырнула из лозняка у самой воды и взбежала на полуразрушенный мостик с причаленной к нему лодкой, у которой возятся с сетями три человеческие фигуры. Дальше за лозами видно, как песчаная дорожка вьется по зеленому лугу к хутору. Белые мазанки и риги с исполинскими кровлями спрятались в чаще огромных верб и тополей; только кое-где белеет кусок стены или умирающий луч солнца позолотит соломенную кровлю.

А за хутором уже быстро темнеет зеленая даль и развернулась над ней розовая заря. Скоро в ответ ей из сизого луга засветились красные точки огней. Ветряные мельницы, столпившиеся на горке, превратились в силуэты монахов в остроконечных скуфьях, с разнообразно раскинутыми руками: один несколько опустил левую руку и поднял правую, будто благословляет; другой поднял обе руки, как архиерей; третий тоже поднял руки, но не поймешь — благословляет или в ярости проклинает. Не поймешь!.. Уже за полночь, а владыка сидит у окна и напряженно старается решить этот вопрос о значении поднятых рук у силуэта-монаха. Сдавил обеими руками горячую голову. Если теперь встать и пойти в моленную, змий обязательно зашевелится, станет шептать.

Что-то с грохотом упало и разбилось в моленной.

— Он... заманивает,— догадался владыка.— Нет, не пойду.

Но вдруг охватило владыку жуткое, непреодолимое любопытство:

— Чем стукнул диавол?

Приоткрыв дверь, увидал на полу икону богоматери. Она упала с большой высоты; стекло разбилось, и доска выпала из рамы. Дерзкое поругание бесовское над святыней! Владыка взял требник и святую воду и освятил оскверненную диаволом икону. Подошел к открытому окну и снова стал смотреть. Постепенно все огни потух-

ли. Только чуть тлел, догорая, костер у рыбаков. Потянуло от реки сыростью, контуры деревьев стали расплываться и постепенно потонули в предутренней мгле. На колокольне пробило три часа. Владыка облегченно вздохнул.

Слава богу, ночь пройдет спокойно: в это время змий уже не ругается над душою. Но как тяжелы были предыдущие бессонные ночи... Истомленный ими, владыка положил голову на локти и все смотрел на силуэты монахов. Стало клонить ко сну.

Покоя, хоть бы на одну ночь...

Забылся... И вдруг вскочил на ноги. Прислушался, широко открыв глаза. Заворочался под мозгом, что-то шепчет... Слов еще не слышно, но навстречу шепоту уже поднялись и остановились во всей необъятности боль и ужас. А гад ворочается, и от его движений, кажется, сейчас лопнет голова... Сжал ее руками и бросился зажигать свечу. А шепот все громче, и нет возможности не слышать адских слов:

— Отцеживал ты комара, пожирая верблюда...

— Лжешь!— засмеялся владыка.— Лжешь и воруешь! Это не твои слова. Украл ты у Феофана Затворника!..

— Но ты ведь, как и я, не веришь писанию.

— Лжешь!

— Нет, ты сам своей душе лжешь!.. А что сделал ты со своею душою?.. Оторвал ее от людей, как зеленый лист от дерева.

— Но я прилепился ею к богу, чтобы расцвела, как райский крин!— отвечал владыка.

— Это засохший-то листок? Ха-ха... Кружит теперь его ветер во мраке и холоде, пока не сдует в геенну, ибо все, что бесплодно,— сжигается.

— А вот погоди, я тебя сейчас самого!.. Проклятый василиск!..

Дрожат худые, прозрачные руки, торопливо зажигая свечу. А змий шепчет:

— Дана тебе сугубая сила благословлять обеими руками, а ты этой силой задушил мальчика... обеими руками... А в бога ты не веришь.

— А! Древлий сатана!..

Владыка гневно стал водить лбом по пламени свечи.

Змий испуганно затих. Маленький желтенький язычок спокойно лизал лоб от одного виска до другого.

Святая теплота захватила постепенно всю голову. Крепко сжав веки, радостно чувствует владыка, как больно жжет она змия. Корчится он на святом огне; будто спираль деревянных стружек, горит его скользкая чешуя, и даже запах гари слышно. Вот уже нет ему места в голове, в грудь ползет! Но владыка чувствует, как в груди, навстречу ему, загорается святой огонь... тяжело, душно змию, слышно — задыхается! Не стерпел святого жжения, закричал:

— Ваше преосвященство!.. Горим!.. Караул!.. Спасите!..

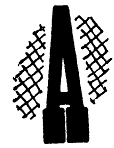
Выскочил... Исчез... навсегда... Неизреченная радость победы объемлет все освободившееся существо владыки. Подхваченный ею, возносится он куда-то прочь от земли. Слышен радостный частый звон колокола. Мельннула впереди ласковая улыбка Пашеньки, и поплыли вместе по красно-голубым волнам...

Сбежавшиеся на крики келейника монахи тушили загоревшийся аналой и бумаги на столе; с колокольни несся набат, а владыка лежал среди пепла с остановившейся счастливой улыбкой.

Крым, 1912

МОКРАЯ БАЛКА

I



рба с сеном въезжала в ворота Качкиного двора, а работник Хома лежал на верху арбы, протянувшись во весь громадный рост, свесив голову вниз, и тихо да жалобно пел:

Мамаша сплять,
Свеча сгорета,
Я у вакошечка сидю!

Дед Качка бежал из глубины двора навстречу, с граблями в руках, тряс серенькой бородой и сипло кричал:

— Слазь с гарбы, бо зачепишься! Лодыряка!

Хома сел на возу, глянул вниз и нехотя ответил:

— Кто там зачепится!.. Цобе, цобе!..

— Бери, мерщий, за налыгач! Гаспид!

Арба застряла в воротах. Хома, не слезая, крикнул:

— Цоб!

Волы рванули, арба затрещала и села на переднюю ось.

— Ну, не скаженная ж ты собака!— хрипло завизжал дед Качка.— Люшню поломал!..

— Зробили ворота — штанями закрыть!— сердито ворчал Хома, подставляя под арбу громадные плечи.— Тут хоть сам анхирей, так и то зачепится! Кабы сделали ворота, как у пана Яловацкого на Деркуне...

— Да я тебе, пройдисвету, голову развалю, как ты мне каждый день струмент ломаешь!

Хома, ворча, как медведь, стал освобождать поломанную арбу, а дед, тощий, согнутый в пояснице, метался вокруг, охрипнув от крику, оскалив зубы, брызгаясь слюной на узенькую бороду.

Подъехал на другой арбе старший сын Тихон, услышал брань — рябое лицо его стало печально. Подошел к отцу, снял большой соломенный бриль с оторванными краями и поклонился так низко, что черные с проседью волосы, длинные, как у монаха, закрыли глаза.

— Простите его, тату, ради Христа... Не гневайтеся...

Брат Хома, аще обидел старого человека, попроси прощения со смирением...

Хома лениво смерил Качку с ног до головы и сказал:

— Еще хуже жабой в очи запрыгает...

— Ах, брат Хома,— сказал Тихон, подставляя спину под арбу,— побеждай беса гордыни...

— Тоже, справа называется!— усмехнулся Хома, посмотрев на сломанную люшню с тем же презрением, что и на деда.— Вот у пана Яловацкого, ну это верно, справа! Там, брат, вся чисто на железном ходу. Оккуратность!

— Да что ты, идолова худоба, с паном носишься!— подскочил дед.— Что ты все панькаешься!

На той стороне балки степь утопала в золотой пыли от заходящего солнца, и красная круча бросила тень на пруд, на вербы и на огороды внизу.

— Тату,— сказал Тихон,— в писании сказано: «Да не зайдет солнце во гневе вашем».

Но дед не слушал писание и продолжал браниться, пока не подъехал на другой арбе младший сын, Серега, и не сказал коротко и спокойно:

— Го́ди!

Дед и Хома сразу замолчали. Стали все освобождать застрявшую в воротах арбу.

Показались на выгоне коровы, а с другого конца улицы ревели телята: по всему хутору вспыхнула бабья тревога. Женские крики смешались с ревом телят и коров. Качкины невестки несли с огородов на коромыслах полотно. Заслышав тревогу, бросили полотно на току и побежали за ворота. Старшая, Одарка, как утка, переваливаясь на бедрах, спешила навстречу коровам, а младшая, Ганна, стройно и легко бежала наперерез телятам.

Через пять минут тревога упала, и по дворам слышны были в сумерках только спокойные окрики на телят да запах парного молока, смешанный со свежим сеном.

Хутор тянулся вдоль оврага и назывался Мокрая балка. Было в степи выше Мокрой балки еще две: Сухая, в которой не было ни речки, ни плесов, а пруд высыхал к середине лета, и еще Куцая балка, коротенькая, закрытая рыжими обрывами.

Где-то, верстах в двадцати к югу, Мокрая балка впадала в степную речку, и там, по речке, уже начинались казачьи хутора и станицы с вишневыми садами.

А здесь — на далекое расстояние вокруг балки — голая холмистая степь, да в трех верстах от хутора курган — Красная Могила. Земля тут, верно, красная и, если пахать не плугом, а сохой, плохо родит. В вершине кургана заросшая травою впадина: кто-то раскапывал его, но давно-давно, и впадина стала такой же целиной, как и весь курган.

Весной, в половодье, когда стоявшие по обе стороны балки горы снега трогались в далекий путь, вода в балке весело играла, с ревом разрывая плотины, обрушивая на себя нависшие с круч белые громады, и, могучая от буйного весеннего восторга, катила и быстро уносила их в мутных волнах. Но, отшумев три дня, убегали вешние воды, умолкало журчание ручьев в маленьких разбросанных среди полей балочках, а по следам их вырастали лопухи да щавель; и поля, под горячим дыханием степного ветра, начинали свою летнюю работу: укрывались зеленями, потом рядились в колос, потом золотили колос на огне южного солнца. А от вешних вод оставались только пруд перед хутором да пониже — три плеса, окруженные коноплярниками, спрятанные в вербах и сизо-зеленых камышах. Плеса назывались: Малое, Среднее и Бездонное. В Малом и Среднем бабы мочили коноплю, к Бездонному же никто близко не подходил: позапрошлым летом по шпилю, что как раз над Бездонным плесом, бахчи были; спустился бахчевник, дед Говорюшко, от куреня к плесу с кувшином и только было зачерпнул, а рядом, с левой руки, из воды — гульк... Лик длинный, белый как мел. Село на кладку и ногами в воде хлюпощется...

— Господи Сусе...

А оно: ляп-ляп руками, а дале как зарегочет да в воду — бульк... Только и видал!

По эту сторону балки жили хохлы из разных губерний, а по ту — елецкие. Приходом хохлы были в Колодези, за восемнадцать верст, а елецкие в Калитву — за двадцать. Тем и другим нужно было ездить через балки, и весною, как раз в пост, добраться в церковь нельзя. Многие так и умирали, не говевши по нескольку лет. И стала хлопотать Мокрая балка, вместе с Куцей и Сухой, чтобы разрешили свою церковь выстроить. Три года не разрешали, потому что слишком мало было собственников, все больше арендаторы. Наконец, по осени, отвезли благочинному двух кабанов и воз пшеницы, и к весне

вышло разрешение построить церковь на Мокрой балке, только потребовалось семьдесят десятин земли в обеспечение. Землю отрезали хохлы и елецкие на Мокрой балке. А Сухая и Куцая и Криничкин хутор, сидевшие на аренде да на скопщине у больших и маленьких панов, обязались помогать деньгами.

У Качки было шестьдесят десятин собственной земли, да арендовал за курганом пятьдесят, и выходило так, что под церковь надо пожертвовать пять десятин.

Но когда узнал об этом Серега, то сверкнул маленькими черными глазами и сказал:

— Цего не будет! Земля такая, что есть ее хочется, а тут режь пять десятин!.. Не дам.

— Братуха!— всплеснул руками Тихон.— Не гневи царя небесного! Все мы — земля и в землю отыдем. Невже ж ты дом божий на пять десятин променяешь!

Дед сердито крякнул и сказал:

— У бога и без нашей земли церко́в богато.

— Тату,— сказал Тихон,— все под богом ходим! А вам седьмой десяток... Не дай же, господи, да без покаяния! Тогда и на своей земле не сразу заховают!

Дед испугался и подписал четыре десятины.

II

Вставал летний праздничный день. В хатах варили праздничные обеды — борщи с курицей, молочные каши, и тянулся по балке синий кизячный дым. Внизу по леваде и огородам, в тени от хат и сараев еще лежала роса. А на заставленной возами и бричками площади подле лавки уже припекало июньское солнце. Лавка помещалась в маленькой деревянной комо́ре, приподнятой на камнях, но товару всякого — и красного, и бакалейного — было в ней достаточно; только водкой, конечно, нельзя было торговать. Лавочник был солдат с Передериных хуторов, Кузьма Охрименко. А из уважения мужики звали его — Кузя Федотович. В тени еще не окрашенной церкви было бурное собрание прихожан: еще в прошлое воскресенье нужно было, согласно договору, заплатить рядчику тысячу рублей, а их и двухсот не собрали. А все Куцая балка и Кринички виной: не внесли условленной суммы. Мокрая и Сухая балки — хохлы и елецкие — бранили их и требовали деньги. А денег не было, потому что купцы, ввиду неурожая, под хлеб впе-

ред не дают, а хлеб еще в поле стоит. Да и снимешь его — продавать все равно нечего.

— Значит так? Нашармака?— сипел, как селезень, дед Качка, оскалив зубы.— Мы и землю вырежь, да мы ж и гроши плати!

— На то ж вы вешняки!— кричала Куцая балка.— А мы — сегодня тут, а завтра где бог даст.

— Голота идолова!

— Ну снимай с нас последние штанци! На!— подскочил к нему, дергая себя за штанину, маленький Оврам Крикун с Куцей балки.— На! Снимай, когда ты такой богатырщик!

— Господа старички!— внушительно взывал сотский Нетипа.— Прошу вас беспрекословно: не бунтуйтеся и не клементуйтеся! А то господин заседатель сходящую пришлет!

Дед Качка, обидевшись, ушел со схода и до вечера ходил по двору и сипел:

— Им, голодранцам, с длинной рукой под церквою стоять, а они туда ж: церкву строить!.. С старцями свяжешься, и сам старцювать пойдешь!

— А оно дуже нужно было класть шею в чужое ярмо!— хмуро сказал Серега, заплетая оброть.— Как четыре десятины земли отрезали, так лучше б я каждый праздник пешком в обе церкви ходил...

Когда солнце поднялось в уровень с церковными крестами, вокруг лавки Кузи Федотовича на сожженной пожелтевшей траве валялись пьяные мужики изо всех балок. А мирошник Левко Иванович лез на коленях от лавки через площадь к церкви и кричал:

— Жертвую на святой колокол пять четвертей пшеничной муки первый сорт! Запишите, кто грамотный!

Солнце стояло уже низко над балкой, а на восточной стороне горизонта мягко синела далекая туча и незаметно слилась бы с густой синевой неба, если бы не опоясалась отрезком радуги. Тень от церкви легла через площадь, достав до зеленой пшеницы, что стелется рядом с выгоном. В пшенице бил перепел, а с выгона, от Левкиного ветряка, неслись песни парубков и дивчат. У Бадаевой землянки, поросшей на крыше молочаем и сурепой, мужики и бабы праздничной толпой заслушались рассказов Бадая: с семью малолетними детьми он объездил в крытой рогожей бричке всю Россию — от Бессарабии до Амура — все искал лучшей жизни. Бадай

сухощав, немного сутуловат в широких плечах; черты лица тонкие, смуглые, на груди окладистая черная, как вороново крыло, борода. О своих мытарствах, о том, как живут люди в разных губерниях и городах, Бадай рассказывает так хорошо, что по праздникам возле его хаты всегда толпа.

Сотский Нетипа тоже любил, чтобы его слушали, и все порывался рассказать о том, как в прошлом году, по весне, он вместе с заседателем разыскивал по хуторам конокрадов.

— На Передерином хуторе украдено, беспрекословно, восемь процентов лошадей. Так что из девяти голов остался только один процент, да и тот жеребый: для работы нейдет. И вот заседатель присылает мне сходящую бумагу...

Но рассказы Бадая льются вольной и неудержимой рекой, захватившей и детей и стариков. Нетипу никто не стал слушать.

Обиженный невниманием, он стал, закинув одну ногу за другую и расчесывая пальцами наполовину выдранную бороду. С ядовитой торжественностью в запуганно-бегающих глазах, спросил Бадая, стараясь говорить по-русски:

— Ну хорошо! Однажды когда ты такой беспрекословно вумной, то почему ж ты семь годов не говел?

— Я, братуха, що день с семьей говею,— отвечал Бадай.— У бога каждый день праздник, а у Бадая каждый день пост. В четвертом годе, как зазимовал я в оренбургском степу с одним мешком муки, к рождеству двое деток с голодухи и помри... Схоронил я их в снегу. Жинка голосит да до снегу припадает, как та чайка при битой дороге, а я говорю: разговляйтесь же, детки, там — у бога за столом, а мы тут — обождем.

Вечерело. Солнце уже ушло из балки за красную кручу и блестело только на церковных крестах. Одарка в красном очипке, в праздничной, вышитой сорочке, подтыкав на бедрах юбку, так что видны полные икры, поливала огород. Воду брала в вербах, из криницы, где на траве лежал Шейкин солдат. Говорил он что-то смешное и несуразное, и Одарка тихо смеялась, показывая блестящие зубы и ямочку на толстом подбородке, и воровато косилась на хату узкими, смеющимися глазами.

А в хате баба Палочка, тоненькая, прозрачная, только кожей обтянута, рассказывала Тихону и Ганне о киев-

ских Печерах, куда она ходила семнадцать раз, о Почаеве и лубенском Афанасии Сидящем. И Тихон, слушая, плакал от умиления и скорби, что седеет уже голова, а он еще не сподобился побывать ни у печерских угодников, ни у Сидящего Афанасия: не пускают батько с Серегой... Потом раскрывал псальмы и начинал петь тихим жалующимся тенором, а баба Палочка и Ганна подпевали:

С другом я вчера сидел,
Ныне смерти зрю предел...
Ой, горе ж, горе мне великое!
Плоть мою во гроб кладут,
Душу же на суд ведут...
Ой, горе, горе ж мне великое!

Слышно было, как на дворе дед спорил с зятем, сапожником Василем, который жил в Колодезях и по праздникам приходил считаться с тестем.

— Богатый тесть называется!— говорил Василь.— А за дочкой яловую корову да беззубую кобылу дал! Приданое называется, чтоб ему черт!

— Да ты ж, разбышака!— сипел дед.— Отдай товар! Я ж тебе на пять пар набор дал, а ты и пары черевиков не сшил!

— Товар я тогда ж на приданое за Ульяной повернул.

— Да ты тогда еще и зятем не был! Харцызяка!

— Нет, был!

— Товар ты еще перед покровой забрал, а Ульяну за тебя, скаженную собаку, только перед масляной отдали!

— Так я ж еще до покровы, в возовицу, с нею стал жить, все равно как с женою...

— Оттó зять называется? За то, что ты мне, гаспид, дочку спортил да ославил, так я ж тебе еще и сапожного товару давай?!

— Ну а раз это дело венец покрыл!

Со двора шли браниться в амбар и в конюшню, голоса удалялись, а баба Палочка продолжала рассказывать, как печерские святые все лежат под землей рядышком, запечатанные, а которые — за склом. Ганна благоговейно слушает, и недоумение на ее грустном лице, в больших синих глазах: отчего это все святое лежит спрятанное под землею да запечатанное, а злое по земле гуляет, и никто его не спрячет и не запечатает?

III

— Вставайте, жинки, вставайте проворней, а то коровы хлев разломают!— суетился старый Качка, бегая из хаты во двор и обратно.— Вон уже Чепига[1] куда повернула!

За церковью уже белел восток, а степь еще только серела, догорали звезды вверху, и темнел молча непроснувшийся хутор, кричали только петухи по балке.

Ганна с Одаркой взяли подойники и пошли к коровам. На ходу у Ганны слипались глаза, стоял в груди приснившийся на рассвете сладкий сон, и так хотелось вернуться к нему...

— Ой!— споткнулась об оглоблю и ушибла ногу.

Петривочка — мала ничка:
Не выспалась молодичка —

смеясь, спела ей Одарка. Ганна улыбнулась сонно — не то песне Одарки, не то сладкому сну. Спали они вместе, под поветью в розвальнях, и когда в полночь рядом в конюшне запел петух и разбудил Ганну, то Одарки в санях не было. Ганна не слыхала и того, как она вернулась лишь на рассвете. Но теперь Одарка была свежа и румяна; только губы запеклись. Среди двора Хома запрягал лошадей в косилку и, не проснувшись еще, одной рукой чесался, а другой тщетно пытался набросить хомут на Буланого. Одарка мимоходом схватила шлею и ловким броском надела ее на Хому.

— Тю, скаженная!— кинулся было вдруг проснувшийся Хома, чтобы ударить ее ладонью по спине. Но Одарка хохотала уже в коровнике.

Тихон, вставший вместе с дедом, стоял в хате перед темнеющими в углу образами и читал утренние молитвы с каноном Ивану Предтече. Дед уже несколько раз вбегал в хату и хрипел про себя:

— Вже мне эти ченци![2] Уверились да усвирепились...

Уже Хома поехал по выгону с косилкой; Серега запряг быков в мажару, а дед, отпустив пшено, запирал амбары; бабы, управившись с коровами и птицей и забрав харчи и грабли, сидели на мажаре; а Тихон все молился.

---

[1] Большая Медведица. (*Примеч. авт.*).
[2] Монахи. (*Примеч. авт.*).

— Го́ди, го́ди!— сердито вбежал дед.— На то будет пилиповка, а не петровка.

Когда выезжали из хутора мимо церкви в поле, было уже светло, но солнце еще не всходило. Кое-где в других дворах тоже запрягали, и далеко слышен был в утренней тишине всякий звук. За ветряком, в поле, где мешались запахи налившейся пшеницы и созревшей ржи, встретился церковный маляр Чекалка, маленький, приседающий на одну ногу; он что-то говорил и размахивал длинными тонкими руками. Поравнявшись с возом, снял рваную касторовую шляпу и, широко размахивая ею, закричал:

— Да процветает земледелие и искусство!

— Ха-ха-ха!— грохнула Одарка, взглянув на щуплую, всю в пятнах краски, фигуру Чекалки.— Вот смаленый горобец!

Чекалка посмотрел в смущенное лицо Ганны, и на его бледном безусом лице засветилась мягкая, как у ребенка, улыбка.

Из-за кургана веером брызнули по небу розовые лучи.

— Украсилась твоя чистая краса сиянием небесным!— воскликнул Чекалка и бросился бежать по меже рядом с возом, но запутался хромой ногой в высокой росистой траве и упал. Одарка от смеха повалилась на воз.

— Улю-лю!— закричал Хома.— Вот самошедший!

— Шалапут!— сказал Серега, брезгливо скривив широкие скулы.

Рожь выросла высокая, в рост человека, но при наливе три дня дул жгучий юго-восточный ветер, и захваченный им колос вышел пустой. Так что некоторые загоны пришлось скосить на зеленую солому.

Качкин большой лан, подле кургана, был посеян под плуг, налился раньше других и от захвата ушел: колос здесь был полный.

Затрещала косилка на лану. Работали на ней дед с Хомой, а сыновья с женами гребли жито в копны.

— Не иначе как приберечь теперь жито до весны,— говорил Серега,— в цене будет! На весь хутор только у нас да у Савотиных и вышла с зерном!

— Господи, господи!— вздыхал Тихон.— Чем-то бедный народ божий храм достроит!.. Невже ж у нас и в этом году не зазвонят?..

Медленно поднималось солнце в бездонную синеву, но быстро накалялся горячий летний день. Сухо трещала косилка, и сквозь ее шум доносилась нескончаемая перебранка деда с Хомой. Когда солнце стало над головою, сварила Одарка кашу с таранью, выпрягли лошадей из косилки и сели обедать в короткой тени под возом.

— В третьем годе, как умер старый пан Яловацкий, так всем миром поминали!— рассказывает Хома с полным ртом.— Вот поминали! Брат ты мой!.. Вывезли из никономии прямо на плац семь хур с салом, а семь с хранцузскими булками... Вышел молодой пан: «Поминайти, каже, мужички, скоропостижного папашу!»

— А чего ж он скоропостижно помер?

— Живот лопнул. Роспирацию в Харькове сделали и два железных обруча наложили — ну, не сдержали.

— Да не вылавливай рыбу!— захрипел на него дед.

— Я не вылавливаю.

— Как то не вылавливаешь, когда саму тарань тягнешь?

— Ежли сама в ложку попадается, так что ж мне? Назад в казанок выкидать чи тебе в рот нести?

— На работу —лодыряка, а ест за пьятёх!

— Тату, бросьте,— сказал Тихон.— Всех господь напитает! Брат Хома, бери с мого краю.

— Как это — бросьте! Он работник, а я — хозяин! Значит, нет ему такого правила, чтоб поперед меня с ложкой в казанок лезть!..

— А чего ж я тебя ждать буду?

— Годи,— коротко сказал Серега, и дед и Хома сразу умолкли. Только после обеда дед сказал Хоме наставительно:

— Ты кирпу не гни, а сполняй, потому — ты мне раб!

— Я такой тебе раб, как ты мне — покойница двоюродная кума!— лениво проворчал Хома и полез спать в тень под платформу косилки.

Дед и Серега тоже легли соснуть под возом. Тихон поехал в хутор лошадей поить. Одарка пошла по направлению к Шейкину возу и затерялась где-то в долине меж копен. Ганна поднялась на Красный курган. Как далеко оттуда видно! Зеленой лентой протянулась внизу Мокрая балка в вербах и камышах, а дальше, вправо — Сухая с темной кучкой хат; за ней — Куцая: видна только желтая круча да уснувший над ней ветряк с поломанным крылом. Под этой кручей Ганна родилась и выросла

и нигде, кроме степи и Куцей балки, не была, пока вдова-мать не выдала ее замуж в Качкину семью. Вот по той дороге, что вьется по косогору, и везли... А за косогором, под мутно-зеленым крестом, мать лежит...

Перед хутором, на выбитой дочерна толоке, дремлет стадо коров. Ближе — остановился, распластавшись вверху, степной ястреб, такой же бурый, как и сожженная степь, и этот побуревший хлеб, как и вся жизнь. Сухо шелестит ветер в траве. Откуда он прилетел? О чем шепчет?.. Метнулся ястреб вдаль, и тень его поплыла за ним по бесконечным волнам хлебов... Далеко-далеко в степи дым поезда и два красных домика — глухой полустанок. А на горизонте, в балках, перелески синеют. Что там, за этой синей далью? Сняться бы с кургана, полететь туда, как этот ястреб...

Но стоит Ганна недвижно, стройная да беспомощная, как вот рядом сожженная солнцем былинка, и даже воображение не приходит ей на помощь. Только скучнее становится серая, глухая жизнь.

Под самым курганом Бадай с Бадайкой накладывают прямо с покосов на воз невязаную рожь. Поодаль — Лука Полтавец с семьей. Подошла Ганна к его возу — двое детей ползают в горячей пыли. Худые, голодные. А двое старших снопы таскают: возьмут вдвоем один сноп и, пыхтя, долго ползут к копне, как жуки. Ганна подержала на руках самого маленького, вздохнула тяжело: три года замужем, а не дает бог детей, да и не даст, видно, как не дал Тихону с Одаркой.

На лану опять затрещала косилка. Хома, играя вилами, сбрасывал тяжелую рожь с платформы и, стараясь придать своему реву девичью нежность, запел романс:

Зачем вы, Миша, изменили!
Я ж не надеялась на вас!

А Тихон псальму:

Из пустыни старец
В царский дом приходит.
Он принес с собою
Свят, прекрасный и любезный
Златой камень.

А Серега, смуглый, коренастый, будто в землю врос, все говорил хрипло о том, что жито нужно приберечь до весны.

— Небеспременно в тот закром ссыпать, где пшеница была, а пшеницу, как скосим,— в новую комору. До осени.

В синих грустных глазах Ганны стоят синие края степи, и кажется ей, что не пшеницу, а ее, Ганну, скосил Серега и запер в комору до осени.

— До обеда сонечко на волах едет,— говорит Одарка,— с обеда до полудней — на конях, а с полудней до вечера — на зайчику!

И действительно, после обеда день пошел быстрее.

Перед вечером, когда солнце ушло за курган и струило из-за него горячий голубой воздух, вдруг донесся оттуда страшный женский вопль: Бадайка кричала подле воза, подняв руки вверх. С ближних ланов бросились на крик. На жниве лежал навзничь мертвый Бадай, с обрывком в руке, с кровавой пеной на черной бороде: наложивши воз, начал, стоя вверху, стягивать его веревкой. Но веревка лопнула, и Бадай, слетев, со всей силой ударился затылком о землю.

IV

По распоряжению Нетипы три ночи лежал Бадай в поле, пока приехал заседатель, и в это время в хуторе мало кто спал от страха: знали, что Бадай семь лет не говел и с Бадайкой не венчался, и оттого умер такой смертью, и оттого так страшно выла теперь его серая собака, которую он привел из Темрюка. В первую ночь пришли стеречь его у кургана Нетипа, Карпо Рябой и два парня. Ночь была душная, тихая, только трещали кузнечики в стерне. Где-то сзади кургана всходил месяц, и длинная тень от кургана закрыла собою Бадая и его сторожей. Было жутко, страшен был Бадай, в полутьме такой огромный. Чтобы ободрить себя, Карпо стал передавать одно из тех приключений с Бадаем, о которых без конца рассказывал, бывало, сам Бадай в праздники на ночлегах.

К полночи высоко поднялся месяц, и далеко открылась в серебряной мгле уснувшая степь. Забелела колокольня на хуторе. Стало менее жутко. Притихший было Нетипа перебил Карпа и стал важно рассказывать о том, как ездили с заседателем сусликов выливать и как заседатель ударил его и посадил на три дня при своей квартире.

— Вытребовует меня заседатель: «Ты соцкий Нетепин?» — «Беспрекословно, я самый господин Нетепин».— «Ах ты сукин сын!» — да обома руками за бороду... «Почему хавражки жито поедают?»

Сделал паузу, чтоб затянуться цигаркой, но не донес ее до рта: в кургане послышалось тихое похоронное пение. Прислушались — пение ясно слышно, и все ближе, уже раздались глухие шаги... Сторожа вскочили на ноги. Нетипа отбежал к дороге и закричал оттуда:

— Стережить тело, а я скомандую на хуторе, чтоб с образами вышли!

Вдруг из вершины кургана вынырнула маленькая человеческая фигура. Остановилась на мгновение и запела:

— Небесного кру-у-га верхотворче го-о-споди-и!

Нетипа срыву бросился вниз по дороге и дробно застучал большими сапогами по направлению к хутору. Остальные, крестясь, полезли за копну.

— Да здравствуют живые! Да воскреснут мертвые!— закричало привидение, размахивая шляпой, и сразу все узнали Чекалку. Один за другим вылезли из-за копны. Только Нетипа долго не мог остановиться.

— Эй, убегающий в даль туманную!— закричал ему Чекалка.— Обратись возвратно.

— Фу-у,— пришел в себя Карпо,— да и глупой ты человек! А еще богомаз!

Пришел и Нетипа, бледный, не отдышавшийся. Закинул ногу за ногу и стал кричать:

— Ты какое право!.. Людей пужать, когда при сполнении службы?.. Га? Ты знаешь, что за это бувает от господина заседателя четвертого участка?..

— Собственно, я не пугать. Проведать,— мягко сказал Чекалка.

— Да чего ж ты не спишь?

— А у меня, друг, с полночи сна не бувает. Только с вечера. А с полночи я сквозь хожу.

— Чего ж ты ходишь?— сурово спросил Нетипа.

— Так. В мечтах о вечной человеческой жизни... Сюда, на курган прихожу.

— Зачем?

— А здесь самая возвышенная точка зрения. И вот я обращаю полное внимание.

— Это как же?

— А так вот: стану здесь, и сразу мне вполне отлично видать, что кругом и что в кургане.

— Что ж в кургане?

— А в кургане лежит хан Турухтан с двенадцатью конями, с семью супругами, с золотыми струменами, с шелковыми подпругами... А рядом булатное да золотое оружие, серебряные латы, а в казане мильён злата...

— Почем же ты знаешь?

— Знаю... А при луне даже вполне видать, как татарское войско сарматов кругом идет! Вот когда не была рожь скошена — закроешь глаза вот так: ясно слыхать издалека по степу говор народный и шум походный... Идет, идет... Боже мой!— воскликнул Чекалка, закрыв глаза рукой и восторженно тряся головой.— А вот уже подошли которые и палатки разбили... Видите? Кругом, кругом...

— Ну да это ж копны,— ответил Нетипа,— что ты мелешь!

Чекалка досадливо отмахнулся рукой:

— Что такое копны? Видимость соломенная! Сегодня их накосили, а завтрашнего числа свезут, и опять нет. А это, друг, веками здесь! Сколько народу прошло!.. Никогда не помрет!

— Ну, а коли ты знаешь, что в кургане мильён,— сказал Карпо,— так чего ж ты его не достанешь?

— Это мне без надобности.

— Так добрым людям сгодилось бы! Дурной!

— Пусть добрые люди и достают, ежели не рассыплется. А у меня его, друг, не отнимут! Нет!

— Чи ты себе дурной, чи брехун, чи, может, яретник...

— Яретник...

— Гляди, чтоб тебя господь не покарал такою смертью, как Бадая...

— Бадай убился оттого, что духу в себе не имел!.. Когда я летел с колокольни, так в ней высоты было сто сажен диаме́тру, но я мыслию, как орел по ветру,— крылами парил и только ножку повредил.

Чекалка посмотрел на свою ногу и грустно задумался. Светало. Вдали по балкам тянулся легкий туман. Кругом на жниве и на Бадае упала роса, и были влажны лица сторожей. Чекалка зябко повел плечами и, хромая, пошел межою к хутору. Внизу, у самого хутора, показалась на дороге кучка людей: шла к кургану Бадайка с детьми.

V

На спаса в Мокрой балке было два события. Первое — ночью обокрали Кузю Федотовича. Вор, забравшись под лавку, выпилил в половице дыру и взял, кроме кассы — жестяной шкатулки с двадцатью рублями,— еще бакалейного и мануфактурного товару на сто рублей, а может, и больше.

Нетипа ходил с понятыми из хаты в хату — весь хутор обыскали, но ничего не нашли.

Второе событие — выбирали церковного старосту. Было на эту должность два желающих: от елецких, поддерживаемых Криничкиным хутором,— Савотин, огромный мужик с черной бородой и седой, впереди совершенно лысой, головой. От хохлов всех трех балок был дед Качка. С обеда до вечера спорили и бранились, а ни к чему не пришли.

Перед вечером Микитай Разволока, чистосердечный и глупый мужик из елецких, волоча обе ноги, будто загребая ими землю, подошел к хохлам и сказал:

— Ребята, давайте полюбовно: первый черед наш, второй ваш. Справит церква-матушка хозяйство Осипа Яковлева, тады уж Савела Герасимова! Ежели согласие имеете, значит, помоля богу...

И уже, сняв шапку, начал было креститься.

Но маленький Оврам Крикун выскочил вперед и, яростно дергая себя за штанину, закричал высоким тенором:

— У нас у самих через ту церкву последние штанци остались! Нате!.. Снимайте!

— Брат,— сказал ему Савотин с тихой задушевностью в голосе и положив волосатую руку на сердце Овраму.— Брат, зачем мне твои штаны?

— Да ты, пожалуйста, за петельки не хватай!— закричал Оврам, подпрыгивая под бороду Савотина.— А то я тоже как хватну какого старика! Ишь, хват какой!

— Брат, утишься.

Савотин положил было свою громадную руку на голову Овраму. Но тот выпрыгнул из-под нее и закричал:

— Калавурь!..

И это послужило сигналом к бою.

— Беспрекословно!— закричал было Нетипа, устанавливая порядок.

Но драка уже началась, и в первую голову побили именно Нетипу. Хохлов было больше, и они погнали

елецких вниз по переулку, мимо колодца. Те, добежав до плотины, приняли бой. А с той стороны, по огородам, уже бежала подмога: парни с кольями и бабы с граблями и ухватами. Деда Качку сбили с ног и выбили у него много гнилых зубов. Когда драка кончилась и толпа схлынула, Качка хотел было подняться, но Нетипа, у которого оборвали, кроме бороды, оба рукава и полы кругом, так что из чинарки вышел жилет, подбежал и закричал:

— Лежи, Герасимович, без движения до приезда господина заседателя! Для сходящей бумаги!

Потом побежал по улице и, размахивая руками, громко кричал:

— Качку на гребле до смерти убили! И чинарку беспрекословно знистожили!.. Я им покажу на основании уголовной статьи сорок девятой категории!

Тихон подошел к деду и со слезами стал умолять:

— Тату, простите их, ради Христа, и вернитесь до дому... Да не зайдет солнце во гневе вашем...

— Убью!— захрипел на него дед, подползая к камню.

Ночь и утро пролежал он на плотине, пока не вернулся Серега, ездивший за сорок верст в казачьи хутора, на водяную мельницу.

— Годи,— сказал он деду,— треба ячмень веять.

Дед встал и, бранясь, пошел на ток ячмень веять.

Потом хохлы с елецкими три дня мирились, валяясь пьяные подле лавки Кузи Федотовича, и выбрали его старостой.

А ссоры и драки по праздникам продолжались, так как нечем было платить подрядчику. Наступали черные дни.

VI

Чекалка сидел на скамейке в тени Качкиной хаты, писал портрет Ганны и говорил собравшейся кучке мужиков и баб:

— На Капказе, друг, бедности нет! Там пшеница три колоса со стебля дает!

— Вот брехун!— заметил Хома.— Скажи лучше, как там харч: доходит?

— Там, брат, все доходит! Уравнение земли идет! Ни помещика, ни мужика! Всем поровну!

— Ты про землю брось,— мрачно сказал подошедший Серега.

Чекалка рассеянно взглянул на него и продолжал:

— Когда я был в горах капказских, поднялся на вершину синих гор — внизу люди, как комашки, по горам ползают, рядом розовые облака плывут, а вдали море голубое, бурнопламенное, зеленая волна — тридцать пять сажен высоты...

Стемнело. Чекалка бросил писать портрет и долго еще рассказывал о своих приключениях в кавказских горах...

Ночь была темная, душная, далеко в степи вспыхивали зарницы. Хутор засыпал, и где-то на другом конце его лаяли собаки. Серега с Хомой погнали на ночь лошадей и быков в степь. А дед спал на току, на ворохе невеяной пшеницы. Из хаты была слышна вечерняя молитва Тихона. Ганна лежала под поветкой в санях — не спалось. Широко открытыми глазами смотрела в темноту крыши и видела мягкую синеву гор, уходящих с Чекалкой в небо, зеленое море с белыми кораблями и высоко вздымающимися валами... И высоко вздымается грудь Ганны от непонятной, небывалой еще радости, и счастливые слезы текут по горячим щекам.

Тихон, помолившись, тоже пошел на ток. Слышит — тихонько затрещал плетень в огороде. Должно, опять сосед Карпо не запер, скушение, бычка! Настанет ночь — так по чужим огородам и ходит! Людей на зло выводит. Поспешил Тихон вниз по тропинке меж капусты. Вдруг кто-то выскочил из-за пасленового куста и, пригнувшись, побежал подсолнухами вверх, мимо Карповой соломы.

— Кто тут? — позвал Тихон. Глянул — за кустом Одарка, нагнулась над капустой, запахивает рубаху на груди.

— Чего ты здесь?

— Да вышла капустного листу нарвать. Завтра хлеб печь.

— А то кто побежал?

— Где? Не знаю... Кто-сь спрашивал: чи дома Серега? Я говорю: нету... А темно — на обличье не угадала.

— Чего ж он побежал?

— Не знаю. Может, спужался, чтоб за вора не посчитали?

Одарка, мурлыча песню, пошла во двор. А Тихон долго стоял недвижным силуэтом на сером фоне капусты. Наконец вздохнул и прошептал, перекрестившись:

— О господи, прости мое блудное помышление!

Потом пошел под поветку и сел рядом с Одаркой на грядку саней. Одарка уже крепко спала и порывисто всхрапывала. Но вдруг проснулась и вскрикнула испуганно:

— Ой, кто тут?

— Это я,— виновато сказал Тихон.

— Чего тебе?

— Прости меня, Христа ради: нехорошо я об тебе подумал на огороде...

— А что?

— Да вот... увидал тебя с чужим человеком...

— Тю, дурной!— удивилась Одарка.— Чи ты ж не сдурел?

VII

А церковь все строили, со слезами, с драками, и за лето кончили. На вторую пречистую состоялось освящение. Над земляными лачугами, поросшими бурьяном, заваленными темными кучами кизяков, стояла она, белая, прекрасная, с синими главами, с сиянием золотых крестов на солнце,— как сон, как дивное видение в этой бедной юдоли.

И когда первые певучие звуки благовеста поплыли вверх по Мокрой балке, разостлались по степи и мягко растаяли в Куцей и Сухой балках, казалось — само небо ласково заговорило с обнищавшей, насыщенной горем землею смирения. И на зов его шли через площадь и Оврам Крикун в новых штанах, и Лука Полтавец в синей чинарке, подпоясанной красным поясом; одного ребенка вел, другого на руках нес; остальные следом бежали.

В церкви смотрели на хуторян написанные Чекалкой святые, у которых были такие же ласковые, мечтательные глаза, как у Чекалки. А на святых — яркие разноцветные одежды, расшитые золотом, и, глядя на них, забылось теперь, с какими скорбями и злобой собирали по грошам на эти одежды. Помолодели сегодня корявые, с детства состарившиеся лица.

Тихон теперь прислуживал в алтаре и тихо смеялся от радости. А когда запели херувимскую, он воскликнул:

— Да невже ж это в Мокрой балке!..

А сам зарыдал и подал дьякону кадило без угля.

— Дурак!— сказал чахоточный дьякон.— Что ж я тебя кадилом по голове должен бить, чтоб огонь высечь?

После обедни столпились у амвона калеки и недужные. Откуда набралось их так много? А между тем почти все они были здешнего прихода.

Тихон подошел к девушке с Пристенских хуторов. Какая-то болезнь страшно изуродовала ей лицо, так что нижняя часть его удвоилась, нос сровнялся со щеками, и глаза казались на лбу. Сказал с тихой лаской:

— Уповай, сестро!

— Я, дядечку, и то... И слезно-слезно каюсь!

— А с чего ж это тебе сталось?

— Да съела я после споведи, перед самым причастием пряничек, что по копеечке, конигками...

— А-а,— скорбно покачал Тихон головою,— скушение...

— Прокинулась я у ночи да и сгадала, что в кармане пряничек, мать купила. И до того мне, дядечку, материнского пряничка захотелось, что сдается, как не съем, так умру.

— То ж — он... Что проматерь Еву погубил!

— Съела я таки... А утром причастилася, и сразу мне оттого сталося...

Залилась слезами.

— А я ж, дядечку, была веселая да хорошая... Просватанная!

Тихон тоже заплакал и, обняв ее голову рукой, стал гладить обезображенное лицо.

— Все упование и печаль твою на нее возложи! Бо у ей, владычицы, милосердия и красоты неизреченной пучина неисчерпаемая! И не счуешься, как осияет тебя нечаянная радость!..

— Простой молебен — двадцать копеек, с акафистом — полтинник!— громко возвестил новым прихожанам остановившийся в царских вратах отец Кондратий, с вьющейся бородкой, в крахмальных воротничках.— Общий молебен по пятаку с личности, но отнюдь не менее пяти желающих! Деньги, пожалуйста, вперед, чтоб потом недоразумений не проистекало!

Вечером у батюшки в новом, недостроенном еще доме было много гостей: отец благочинный, пять соседних батюшек в цветных рясах и пять дьяконов с семьями, заседатель, касьяновская барыня, лавочники из Колодезей и Калитвы.

Хуторяне, облепив открытые окна, дивились отроду невиданному блестящему собранию. А мирошник Левко Иванович ползал на коленях от одного батюшки к другому, целовал руки и вопил:

— Ваши преподобия! Молитвенники наши! Благословите!

Подполз к отцу Кондратию и, подавая два рубля, сказал:

— Вот! Жертвую!.. За то, что бог послал такого назидателя и пастыря!

А когда матушка пустилась с Кузей Федотовичем танцевать казачка, Левко Иванович закричал со слезами умиления:

— Матушка!.. Ваше преподобие!.. Молитвенница! Перепилочка наша!.. Дождались, грешники!— И пожертвовал еще три рубля.

У Качки тоже были гости. Но вышел ночью скандал: зять Василь, напившись, стал считаться и требовать у деда лошадь в приданое. Разгневанный отказом, выбежал во двор к яслям, где стояли лошади, и, схватив дрюк, двумя ударами убил Буланого. Тогда Хома с ревом подмял его под себя, так что с трудом стащили. А Василя только к рассвету отлили водой.

Ганна проснулась от криков и, услыхав хрипение Буланого и Василя, полураздетая, с распущенными волосами, убежала через огород к пруду. Берегом, спотыкаясь в сырых канавах, цепляясь за плетни, дошла до плотины и остановилась под уснувшими вербами: не знала, бежать ли дальше или броситься в пруд, такой тихий, ласковый при месяце. Прислушалась: сверху от хутора кто-то шел к плотине. Не видно за вербами, но Ганна по неровным шагам узнала Чекалку. Выйдя на плотину и увидав Ганну, Чекалка не удивился и только спросил:

— Ты — русалка полуночная?

— Нет, я — Ганна,— ответила она чуть слышно. Стала быстро убирать волосы. Чекалка подошел ближе и, всмотревшись, сказал ласково:

— Но я же знал, что найду вас, потому что в такую погоду, когда душа трепыхается, краса живая зъявляется!

Ганна ничего не отвечала. А Чекалка, размахивая руками, шел по тропинке вдоль балки, между коноплянниками и серебряными при месяце лозами, и все говорил о живой красе. И Ганна шла следом.

Миновали скрытые в вербах Малое и Среднее плеса и подошли к Бездонному, овальным зеркалом блестевшему внизу в темно-зеленой рамке заснувших камышей. Сели на траве у обрывистого берега. Послушали — все спит: и камыш под белой кручей, и накатанная, блестящая против месяца дорога через бугор к хутору, и коноплянники, и вербы по балке.

— В этом плесе живет на дне девушка чудной архангельской красоты!— сказал Чекалка, смотря в плесо задумавшимися глазами.— Злой татарин на свадьбу наскакал и невесту к себе в татарщину умчал... Потому что она была неописанной красоты! Приблизительная к вам. Красавица же ночью по степу убежала. Вот по той дорожке... А татарин бросился в погоню. Заслышала красавица стук копыт — бежать дальше бесполезно, подбежала к плесу, взмолилася слезно: «Сжалься, плесо, надо мною молодою, сховай меня под водою! Тут я стану жениха дожидать, при месяце в чисто поле выглядать». Бросилась с той вон белой кручи...— Чекалка удивленно посмотрел на кручу, тихо сказал:— Схоронилась на дне плеса темно-русая девичья коса, сохранилась непоруганной небесная краса...

— Почем вы все это знаете? — так же тихо спросила Ганна, смотря на уснувшую воду заплаканными глазами.

— Я, Ганна Панкратьевна, все, все знаю... Вот сяду так, гляну кругом и все чисто вспомню... Что есть, и что было, и что в земле, и что под водой. Потому что я — княжецкой сын... Меня маменька, княжна молодая, родила, с генералом-адмиралом незаконно прижила... И, как тайный плод любви несчастной, положила под Чекалкино окошко — на тернистый путь; а бросаючи ж, повредила леву ножку и белу грудь.

От хутора донесся низом крик петухов. Дохнуло предосеннею свежестью от плеса, и закурился легкий туман по балке. Месяц, краснея, скрылся за бугром. Чекалка неподвижно сидел, подперев рукой голову, и грустно смотрел на потускневшее плесо.

Ганна прижала его голову к груди и поцеловала. А Чекалка стал целовать ее руки, волосы и глаза. Потом той же дорогой пошли назад, и, когда подходили к хутору, от выгона неслись крики: поймали Савотина Сергунь-ку с украденными у Кузи Федотовича деньгами и пряниками, которые он припрятал до освящения церкви в со-

ломе, а теперь щедро оделял ими девок. Сергуньку хохлы били до утра. А утром Кузя Федотович и Нетипа повезли его к заседателю.

VIII

Однажды, рано утром, бабы, выгонявшие коров, собрались на выгоне взволнованной толпой. Обсуждали ночное событие: бегство Ганны с Чекалкой. А которые шли с водою от колодца, останавливались у ворот Качкиного двора, снимали коромысла с плеч и слушали, как Одарка передавала несложные подробности бегства: хватились Ганны только утром, а бежали они, наняв Луку до полустанка, еще с вечера, как смерклось. Лука-то, вернувшись, и рассказал обо всем.

— Вот такие все они, черницы-преподобницы, что вешают хвартушину у виконницы!— смеялась Одарка.— А под хвартушиной — хуже нас, грешниц!

Серега, за все утро слова не проронивший, подошел к Одарке и сказал спокойно:

— Иди до печи, по́райся.

— А ты краше найди свою кралю да и приставь до печи,— ядовито засмеялась Одарка, щуря узкие глаза.— А до меня тебе...

Серега молча глянул на нее, и Одарка, сорвавшись на полуслове, пошла в хату.

Весь день бабы собирались на улицах и на огородах, и всем было ясно, что неспроста это — чтобы такой хромой да поганый брехун отбил жену у молодого, красивого да богатого Сереги: причаровал!

А Серега все так же молча запряг гнедого и, взяв Хому, поехал на полустанок. Жандарм на полустанке сказал ему, что хромой маляр с высокой красивой девушкой или женщиной уехали в город ночным поездом. Серега отправил Хому домой, а сам поехал следующим поездом.

— Этот храм, что впереди, семьдесят пять сажен виду имеет!— говорил Чекалка, идя с Ганной по шумной городской улице.— Боже мой! Какой оттуда вид на всю бесконечную окрестность! А вверх глянешь — облака стоят, а кумпол плывет!.. Вот мы сейчас туда по наружной лестнице поднимемся!.. Я же там духа в виде голубине писал!

А Серега в это время уже шел за ними следом вместе с околоточным.

Чекалка остановился у ворот белого дворянского дома с высоким подъездом и спросил у толстого, как боров, бритого дворника:

— Позвольте сообщить: когда будет собрание господ дворян?

Дворник, скосив заплывший жиром глаз, осмотрел Чекалку от земли до головы и ответил:

— Когда будет, тогда за вами телеграмм пошлем!

— Войду в собрание,— сказал Чекалка,— и объявлю: «Господа дворяне! Прошу обратить внимание! Когда, между прочим, помещик имеет тысячу десятин, а крестьянин — одну! Это так оставить нельзя! А также — относительно всех правов!»

— Я ж вам говорил,— сказал Серега околоточному,— все насчет земли!.. Весь хутор смущает!

Околоточный взял Чекалку под руку и увел, а Серега повел Ганну на вокзал.

Поезд пришел на полустанок утром, а к обеду Серега с Ганной пришли к хуторским полям. Кое-где на нивах еще заканчивалась возка хлеба, и по межам тянулись к хутору редкие возы с снопами. Чтобы не показываться на люди, Серега решил до вечера пересидеть в подсолнухах. День был жаркий, а подсолнухи не давали тени. Только душно было. Сидели молча. Потом Серега нарезал сала и хлеба. Дал Ганне, а она не ест.

— Ешь!— сказал он, сверкнув маленькими глазами, и сдавил широкие челюсти.

Ганна стала насильно есть. Ее томила жажда, а до вечера так далеко... Верстах в двух по шпилю над балочкой шли бахчи. Когда зашло солнце, Серега с Ганной пошли к бахчевнику в курень и напились воды.

Пришли в Мокрую балку, когда все уже спали. Только Тихон среди двора молился богу обо всем мире, наипаче же о «во отшествии сущих».

IX

Кончилась молотьба. С хлебом Серега управился именно так, как и рассчитывал: жито ссыпал в тот закром, где была пшеница, а пшеницу — в новую коморю.

Матушка, на двух возах делавшая осенний объезд прихода, попросила было у него четверть пшеницы, но Серега коротко ответил:

— Не так, матушка, бог зародил, чтоб четвертями рассыпаться.

— А ты дай четверть, так бог пошлет тебе за это десять,— объяснила матушка.

— Когда пошлет, тогда дам,— сказал Серега и молча насыпал одну мерку.

Матушка, тоже молча, пошла со двора и разразилась гневом уже на дворе у Луки.

— Так строить церковь нельзя!— кричала она, сдвинув черные, сросшиеся на переносье брови.— Вас к тому кнутом не принуждали! Но раз выстроили, так надо к духовенству усердие иметь!

Лука и жена его Явдоха очень испугались матушкина гнева. С перепугу Явдоха отдала молодого петуха с огненно-красным хвостом, детского любимца. И когда матушка увезла его, Прохорок с Катрусей, забравшись на печь, долго и неутешно плакали.

Стала глубокая осень. Дождями смыло белую глину на хатах, и казалось — кто-то кожу с них содрал. Почернела, затуманилась бурая степь. Замесилась невылазная грязь по хутору и на дорогах. И часто в сумерках от плотины или из балочки, что за поповым током, доносился крик загрузившего воз:

— Рятуйте, добрые люди!

А ночи стали бесконечные. У Качки вставали задолго до рассвета и работали при огне. Мужики шли во двор убирать скотину. Потом Хома вносил громадную, до потолка, вязанку соломы, и Одарка с Ганной варили завтрак: картофель, или кандер, или галушки. Поедая все это, Хома вспоминал с приятностью:

— Вот у пана Яловацкого! Ну, там харч доходит! Ешь, душа,— не хочу!

— Уже ж ты мне, гаспид, уверился да усвирепился с своим паном!— сипел дед.

Когда окна в хате становились голубыми, дед тушил лампу, и тогда окна делались серыми и мутными. А на дворе в тумане еще не видно хутора. Только вверху постепенно выступают из серой колеблющейся мглы одинокие белые главы церкви. Звуки просыпающегося хутора, глухие, тут же в тумане обрываются. В хате все еще держится серый рассвет, и неясно вырисовываются лица и предметы.

У окна в руках Ганны белеет рубаха, которую она вышивает крестиками, и лицо ее — такое же белое, как

рубаха, заострившееся, с серыми кругами под глазами. Одарка ушла к коровам, и Ганна одна в хате. Боже мой... Как нестерпимо хочется тужить в такое утро, когда ночь уже ушла и унесла забвение, а день все еще не идет... Так, бывало, покойная мать: на рассвете, когда дети еще спят, долго слышно подле печи ее тихое, без слов, причитание.

Вечерами, управившись на дворе, Тихон с книгой псальмов в руках подсаживался к Ганне и говорил:

— Давай, сестро, про Иосафа-царевича заспиваем.

Затянет тихонько, водя средним пальцем по строкам, а Ганна молчит.

— Что же ты, сестро, не подтягиваешь?

— Так... Не хочется...

— Псальмы петь — да и не хочется!— смущенно качает он головой.— Ну, давай я тебе про блаженного старца Иону Затворника прочитаю.

Стал читать. Поднял на самом умилительном месте глаза от книги, а Ганна смотрит на свой портрет в золотом платье, с какими-то неведомыми цветами вокруг головы, широко раскрыла нехорошо затуманившиеся глаза, а про старца Иону, конечно, ничего не слышит...

В великом смущении и ужасе видит Тихон, что проклятый маляр зачаровал молодицу, нарисовав ее лик на портрете.

Улучив минуту, когда топилась грубка на чистой половине, а Ганна к Кузе Федотовичу за керосином ушла, Тихон ударил три поклона перед Неопалимой Купиной и, плюнув трижды на портрет, обернул его соломой, потом бросил в печку и, пока он горел, читал «Живый в помощи»; баба Палочка говорит, что к этому псальму нечистый не может приблизиться на сорок саженей.

Но без портрета вышло и того хуже: глаза Ганны запали еще глубже, а Тихоновы псальмы она совсем не стала выносить: только он заведет тихонько да умилительно, а ее уже нет в хате... Вот искушение!

И другое великое испытание постигло Тихона. Как раз на Варвары умерла баба Палочка, единая в свете утешница и подруга души... А тут еще с похоронами искушение вышло. Когда бабу Палочку внесли в ограду, случилось недоразумение: отец Кондратий потребовал три рубля за погребение вперед. Палочкин сын, тоже Кондратом звали, имел только рубль тридцать и стал было отпрашиваться:

— Повремените, батюшка: перед святками на полустанок подсвинка отвезу. Начальник три с четвертью надавал.

Но отец Кондратий накричал на Кондрата и велел сторожу Чулке запереть церковь. А сам пошел домой. Тихон бежал за ним без шапки и просил:

— Уважьте, батюшка, благую старушку!

— Никтоже благ, токмо един бог!— строго заметил отец Кондратий.

— Истинно... Похороните, батюшка! Семнадцать раз старушечка у печерских угодников была!

— Хоть двадцать семь! Сие положения вещей отнюдь не меняет.

— В Почаеве была...

— Так пусть ее в Почаеве и хоронят! Тоже! Паломники, подумаешь! Всю жизнь от собственного духовенства бегают да жирным монахам уносят то, что должны своим пастырям отдавать, а потом еще и хорони их в кредит! Небось в Почаеве в кредит не молятся!.. Бог, милый мой, во всех храмах един, и благодать священства та же на мне почиет, что и на киевских священнослужителях!

Тихон пошел домой и стал просить у Сереги:

— Позычь, братику, рубль семьдесят пять, батюшке за бабусю заплатить.

— Нехай он землю вернет,— сказал Серега.

— Тату, дайте отцу Кондратию.

— Нехай он сказится!— злобно просипел дед, оскалив уцелевший пенек.

Насилу уж Тихон по соседям насобирал, и уже поздно вечером схоронили бабку Палочку.

X

Перед рождеством ударили морозы, а снега все еще не было, и ветер нес по хутору только пыль да иней. Развороченная колесами грязь по дорогам стала теперь твердая, как железо, и никто почти не ездил по ней. Да и некуда было ездить. Скудный урожай давно уже продали, так что до новины редко у кого хватит. Заработков нигде не было, и сидели все по хатам с тяжелой думой о надвигающемся голоде. В добрые годы покупали в Касьяновском лесу делянку, и осенью, когда примерзала дорога, возили ее в хутор. Теперь было не до лесу.

Хаты до крыш были обложены кизяками и соломой,

только маленькие оконца оставлены. И все-таки — дохнешь в хате, и дыхание видно; а в иное холодное утро, когда восток горел от леденящего ветра, в хате замерзала вода, потому что мало топили, приберегая солому для скота.

Только под крещенье пошел настоящий снег и легла глубокая суровая зима.

Летом, когда степь живет каждой своей точкой, тоска ее небезысходна: все кажется — растет и скоро вырастет и зацветет в степи лучшая жизнь. Но когда завалит балку доверху сугробами и станет степь белой мертвой пеленой, по которой едешь-едешь и никак не разберешь, далекий ли это ветряк маячит, или в двух шагах сухой сломанный будяк торчит из-под снега, тогда кажется, все умерло, и нет уже жизни на земле, и не поднимется белый саван над мертвым лицом степи.

По снегу так же мало ездили, как и в распутицу. Только по вечерам, когда красный закат пылал в окнах церкви и делался розовым скрипящий под санями снег, Кузя Федотович катал матушку на вороном иноходце.

В средине зимы у Луки от холода и житной соломы совсем зачахла корова. Пробовал делать резку. Но без муки и без половы выходит все то же, и корова уже не стояла на ногах.

Раз ночью Лука взял кошелку и перелез через забор к соседу Нетипе на ток. В углу между сараем и скирдом житной соломы стоял маленький, наполовину съеденный оклунок просяной соломы. Весь он был засыпан толстым слоем снега, с наветренной стороны вровень с ним сугроб, и только со стороны сарайчика то место, откуда бралась солома, было свободно от снега и теперь темнело. В нем Лука нащупал деревянную ключку. Надергав ею полную кошелку соломы, он благополучно вернулся к себе на ток. Ночь была темная, чуть маячили засыпанные снегом хаты, да чернел плетень. По небу бежали серые тучи, а низом ветер гнал мерзлый шипящий снег, и Лука рассчитывал, что к утру хорошо заметет его следы. Но просяная солома была очень уж мелка — просыпалась из кошелки, а сухой снег сносило ветром, и когда Нетипа вышел утром на ток, то, приглядевшись, заметил следы вора и очень обрадовался. По ним пришел он к Луке в сенцы, где стояла корова, и нашел еще полкошелки своей соломы. Сейчас же собрал понятых, обследовали дело и вошли к вору в хату. Нетипа и понятые сели на ска-

мейке, Лука тоже было сел. Но Нетипа схватил его за бороду, сбросил на землю и закричал:

— Однажды када господин соцкой с господами понятыми увойшли в хату, вор должон стоять на вколюшках!

Явдоха и сбившиеся на печи дети, увидя, что Луку бьют, подняли плач.

— Увоймись,— закричал Нетипа на Явдоху,— и также детишков прекрати!

Лука припал лицом к сапогам Нетипы и сказал:

— Простите, дядьку.

— Пущай тебя господь милосердной прощает, ну я же — никада, как невозможно начальство обкрадать!— ответил Нетипа, ткнув его носком в лицо, и торжественно изрек приговор:

— Четверть водки старикам! И также на три дня под арест при моей квартире!

Потом Карпо Рябой поднялся с лавки, ударил Луку в ухо и сказал:

— Не крадь просяную солому, сукин сын!.. Вишь, моду взял!

Остальные не били. Только нехорошо выругались.

Лука отнес Кузе Федотовичу две мерки жита и взял четверть водки.

Целый день мужики пили водку, прикупая к Лукиной четверти, и желающие время от времени слегка били вора, потом целовали, а перед вечером побили и Нетипу. Потом Нетипа увел Луку к себе и три дня продержал его в своей хате. На четвертый сказал:

— Теперь ты слободной и беспрепятственной.

Лука сходил за полбутылкой, выпили вдвоем, и Лука вернулся домой.

Это было единственное событие на хуторе за всю долгую зиму.

Да в жизни Ганны было еще событие, никем, впрочем, не замеченное и никому не нужное. Как-то, уже перед масляной, поднималась она с водой от колодца вверх по проулку. Еще стояли холода, но чувствовалось уже, что зима рыхлеет; низко над хутором шли мутные с синевой тучи и сообщали зиме серый предвесенний оттенок; северо-западный ветер свистел в плетнях уже не с ледяной жесткостью, а мягко, хоть и уныло; воробьи на дорогах и опустевших токах чирикали оживленней и домовитей. С горы, навстречу, ехал к плотине Савотин на большой рыжей кобыле, в новых санях с высокой некрашеной

спинкой. С ним рядом сидел парень в черном полушубке, закутанный башлыком. Поравнявшись с Ганной, он окликнул ее и остановил лошадь. Это Сергунька, отбыв наказание, возвращался из острога. Отвернув у полушубка полу, Сергунька полез в карман и достал оборванный и затертый клочок бумажки.

— Маляр Чекалка велел передать. Вместе сидели. Ну, он вскорости почернел, кровью перхать стал. Должно, в лазарете помер!

Ганна стояла, лицо белое, как снег под ногами: поплыли мимо сани, и плетень, и сугробы. Но Ганна крепко ухватилась руками за коромысло и все остановила.

А Сергунька, садясь в сани, говорил:

— Ей, бумажки, цельный лист был, да на цигарки повертели. Ну до чего потешно! Грамотные арестанты читали — животы от смеху в отделку разболелись!..

Вечером дьячиха прочитала Ганне то, что осталось на клочке от карандашом написанного и стертого письма. В одном месте оставалось:

«... вещаем вас о нашем здравии и долгоденствии».

Внутри листка уцелело больше:

«И весенний ветерочек во зеленых камышиночках взыграет, то душа моя про бездонную любовь к вам возвещает и вас призывает... В белом плесе серебряной рыбкой встрепыхнется, а во темной роще соловьем залетным зальется».

В одном месте уцелело: «Капказ», а в другом: «Турухтан». Больше ничего нельзя было разобрать: остатки слов. Но Ганна все поняла: зовет, чтоб пришла к Бездонному плесу!.. И прямо от дьячихи пошла туда. Ночь была светлая, ветреная. Луна быстро бежала по небу, то прячась в толпе прозрачных туч, так что оставался в небе только свет ее, и тогда балка серела, то снова выбегая на простор и заливая светом необозримые снега. Ганна прошла между вербами по льду Малого и Среднего плесов, где меньше было снегу. В верхушках верб стоял гул ветра, а вышла на плесо — засвистел ветер в мерзлом камыше. Оба берега завалены снегом, и правый, высокий, бросил короткую неровную тень, а левый весь освещен, и курится при месяце его нависший тонкий край. На средине плеса снег сдуло ветром и обнажило темный, со стальным блеском, лед. Лишь пробегают по нем тонкие белые струйки. Ганна подумала:

«Может, то красавица очистила лед, чтоб при месяце в поле смотреть...»

Стала было искать то место, где сидели вдвоем,— все снегом занесло...

Где он теперь? Видит ли, как она пришла сюда?..

Утопая в снегу, попыталась пробраться к берегу, чтобы оттуда на плесо глянуть, а в это время из камыша выскочил заяц, перебежал ей путь, прыжками бросился на гору и в две секунды исчез за сугробом. Ганна сразу догадалась, к чему это: нет уже и не будет ей счастья на земле... И побрела домой берегом, по пояс в снегу.

XI

Пришел великий пост. С тягучей печалью звал колокол говельщиков, и черными точками тянулись к нему из затерянных в снегах балок по тронутым оттепелью, потемневшим дорогам.

На первой неделе было такое множество говельщиков, что церковь далеко не вмещала их. Особенно много было из Куцей и Сухой балок: торопились отговеться, пока не тронулись балки и не начался посев. Но в пятницу батюшка объявил, что допустит до причастия только половину прихожан, а другая половина должна говеть еще неделю, так как батюшка гневается и считает приход недостойным: плохо сделали причтовые дома, печки не греют, а также без усердия принимали матушку, когда ходила по приходу ленновать. Особенно это нужно сказать о Сухой балке и Криничках, кои посему отнюдь не могут быть допущены полностью. Поэтому в субботу у причастия поднялась страшная давка и крики.

Только сторож, старый фельдфебель Чулка, с жесткой, как проволока, бородой, задерживал и разбивал, хоть немного, неудержимо хлынувшую к амвону людскую волну: стоял на амвоне впереди батюшки и молча тыкал кулаком в физиономии напиравшим, а мальчишек и парней рвал за волосы.

— Ох и строгий же!— отзывались говельщики.

А приземистый дьячок бегал по амвону, как на пожаре, и, сталкивая назад передних, отчаянно кричал:

— Чи вы ж христиане, чи вы филистимляне, чи скотина despre-нибудь необразованная?.. Разве ж так причащаются!.. Свинота вы, а не прихожане!.. Заедь, Чулка, вот того кирпатого!..

Чулка заехал, а потом, нагнувшись к пробиравшейся между подсвечниками маленькой бабке с Криничек, спросил сквозь зубы, загробным шепотом:

— Ты, печерица, куда?

— Батечку, я ж три года не говела...

Чулка ткнул ей под нос кулаком. Она стала молча плакать и вытирать кровь. Потом, вынув из-за пазухи узелок, развязала его, взяла три копейки и подала Чулке.

Чулка взял монету и толкнул старуху вперед, к батюшке.

— С принятием святых таин, бабуся,— ласково поздравил ее Тихон, подавая ей запить теплоту с вином,— сподобились!

— Сподобилась... Теперь хоть бы господь милосердный и за душечкою прислал, не страшно! — сияя светлой радостью, отвечала бабка и вытирала одним рукавом слезы, а другим — кровь из носа.

XII

Весна пришла рано и бурно. Кто-то невидимый прошел по балке, дохнул, и белые горы, рухнув, уплыли в вешних водах с небывалой торопливостью. А на освобожденных ими склонах балки уже зеленела трава и синели подснежники, растущие, собственно, для окраски пасхальных яиц.

Подле хаты Луки бежала вода по канаве, и Прохорок с Катрусей смотрели, как солнце вместе с голубым небом сияло в канаве. Но вдруг оно спряталось за набежавшее белое облако. Прохорок, взмахнув длинными рукавами материной кофты, скомандовал:

— Сонечко, выглянь!.. Как скажу, так выглянет!

— Не слюсает, — с сомнением покачала Катруся головой.

— Чего там не слушает! Со-неч-ко-о, выгля-янь! — властно сказал, топнув ногой в отцовском сапоге. И солнце тотчас выглянуло.

— Видишь!.. Колесом доро-ога! — закричал он, делая знаки курлыкающим в небе журавлям, и журавли, услыхав приказ, стали кружиться.

Как раз на Сорок Мучеников, когда бабы в хатах пекли жаворонки, мужики с утра выехали сеять. Было теплое голубое утро. Весеннее солнце, шаловливо смеясь, прикрывалось кружевом из прозрачных и легких, как пух,

белых тучек. А кругом была бездонная лазурь. И степь, напоенная синим воздухом, вся, с пашнями, с далекими балками, с курганом и церковью, дрожала от счастливого смеха. Тихий ветер ласково сушил дороги и сизые пашни и невидимой рукой гладил уцелевшую под снегом степную траву и повисшую клоками шерсть на линяющих волах и лошадях.

Качкина пашня была по меже за балочкой, где прошлым летом была толока. А в полуверсте, в ложбине, была попова земля, ходившая в прошлом году под гарновкой. Перед завтраком туда приехали со стороны, противоположной хутору, по колодезянской дороге, чьи-то мужики с боронами и тремя плугами.

Серега в это время сеял.

Пройдя леху, он снял мешок с плеча, выпряг лошадь из бороны и поехал верхом к попову лану. А породистый жеребенок бежал следом и, то и дело останавливаясь на загоне, подгибал длинные передние ноги, чтобы ущипнуть травы.

Поздоровавшись, Серега спросил:

— Откуда, добрые люди?

— Курниковские.

— Сдалека... Что ж, ближе земли нету чи как?

Рыжий курносый старик вышел вперед, махнул рукой и сказал:

— Ни жмени! Всю катеринославцы забрали!

— Тут же как? В аренду чи с копы?

— С копы.

— А как?

— Да дорого: третья копа.

— Свезти?

— Где там! И смолотить!.. Просили — хоть полову себе — не дает, бог с ним. Цупкой поп! Как ременяка...

— Значит, починаете сеять? — спросил Серега.

— А вже ж не в кузьмирки грать...

— Так вы, добрые люди, вот что: бросьте. А то тут кроме греха ничего не выйдет. Землю попу мы не дамо.

— Как то так не дадите! — удивился курносый дед. — Если земля священника отца Кондратия!

— Земля наша, и жертвовали мы ее на церкву. Такую землю — есть ее хочется! От сердца оторвали... Думали: пастырю... а вышло — шибаю... Не дамо...

— А канцистория! — сердито закричал дед. — Ишь

ты! Не дамо! Раз канцистория разогрешение сделала, так вашего дела тут черт-ма!

— Вы, добрые люди, вот что, — спокойно сказал Серега, — пора теперь рабочая, так вы ее ни нам, ни себе не ганьте. Паняйте до дому.

И, сверкнув глазами, добавил:

— За землю горло перерву!

Курносый старик опять начал кричать про канцисторию и разогрешение. Но Серега ни слова ему не ответил. Сел верхом и поехал вдоль по загону, где далеко, до горизонта, маячили выехавшие сеять хуторяне. Через полчаса к поповой земле мчались верховые, вооруженные вехами и оглоблями. А завидев их, курниковские мужики бросили работу и поспешно уехали по колодезянской дороге.

На другой день приехал на хутор заседатель с десятью казаками из станицы и увез с собою Серегу, Нетипу, Карпа Рябого, Микитая и еще двух.

XIII

В Качкиной хате стало теперь жутко и тихо. Только ночью Тихон до рассвета стоял на молитве и вслух читал канон. А раз утром он вышел на ток — что-то залаяла собака,— и при месяце наткнулся в соломе на Одарку с Шейкиным солдатом. Ничего не сказал Тихон, когда Одарка вернулась в хату. Только, бледный, прошептал:

— Господи... Да хоть бы ж не в великий пост...

Одарка вызывающе тряхнула высокой грудью и сказала, нехорошо смеясь:

— Ну так я тебя разважу, чтоб не журился: я на масляной еще больше гуляла!

Замолчал Тихон. Только душа, в ответ на звон к заутрени, рыдая, звала:

— В церковь... в церковь... Нет иного пристанища...

Вошел Тихон в алтарь, стал было кадило раздувать, но отец Кондратий, увидав его, побагровел и закричал:

— А, разбойничий брат! Вон из храма!.. Чтоб и духом Качкиным божий храм отнюдь не сквернился... На полгода отлучаю!

Тихон вышел из церкви, прислонился головой к ограде и заплакал, надрываясь, как ребенок, брошенный матерью.

Кое-как отсеялись. Под благовещение Тихон с Хомой вернулись с поля — под курганом просо заскораживали. Над балкой спускался тихий, теплый вечер. Чулка, стоя в ограде и дергая за протянутую с колокольни веревку, звонил к вечерне. По просохшим, уже накатанным дорогам и по зеленой площади тянулся народ в церковь.

Тихон въехал во двор. За сараем у плетня Одарка с кем-то пересмеивалась. Ганна стоит у порога, опершись на коромысло, и смотрит в степную даль остановившимся взглядом. А дед, отворяя ворота, уже сцепился с Хомой. Стало невыносимо тяжко — на ногах не устоишь... Пал на землю перед отцом:

— Тату, отпустите в Киев... Христа ради...

Дед стал браниться. А Тихон бил землю лбом и, рыдая, говорил:

— Христа ради... К сенокосу вернусь... Останний раз прошу...

И дед наконец, ругаясь и брызгая слюной, отпустил.

На другой же день, рано утром, когда в хате еще спали, Тихон собрался в путь. Прошел к колодцу, воды в тыквочку набрать, а навстречу из верб — Ганна. Вся юбка в росе. На одно плечо свитка накинута. Пряди русых волос из-под платка на лицо упали. У Бездонного плеса была.

Тихон взял ее за руку и сказал:

— Ходимо, сестро, в Киев.

И Ганна — в чем была — пошла с Тихоном по большому Касьяновскому шляху.

Когда всходило солнце, были уже далеко. Шли по мягкой дороге, обрамленной молодыми травами. На светло-зеленых кустах целины пестрели красные и белые тюльпаны; кругом зеленели пашни, и в озимях — уже грач прячется. Оглянулся Тихон назад — хутора уже не видно, только церковь дрожит в воздухе, да вдали от нее еще не закрытая бугром купа верб над Бездонным плесом зеленеет... Покрестился Тихон, земной поклон положил и радостно засмеялся:

— Как птичку из клетки на благовещенье, выпустил меня батечко... Пошли ему, господи, веку долгого!..

А Ганна шла впереди, молча, не оглядываясь.

Перед вечером следующего дня подходили к городу. Внизу у реки, на зеленом фоне займища, белел окруженный высокими стенами монастырь. Многочисленные крес-

ты его и окна сверкали при закате. Тихон прослезился от радости:

— Параскева-Пятница в этой обители!..

А на горе у дороги — тюрьма, тоже белая, а стена кругом еще выше монастырской.

Тяжело вздохнул Тихон:

— Горькие братики в клетках правды господней ждут. Сперва в монастырь. Потом Серегу проведаем.

Ганна посмотрела на решетки и, побледнев, схватилась за грудь, потом вдруг бегом бросилась к тюрьме.

— Да куда ж ты, сестро? — позвал Тихон, не поспевая за ней.

Но Ганна не слышала и уже подбегала к воротам.

1913

РАССКАЗЫ





НА ЯРМАРКУ

(Этюд)

Деду Передере сегодня что-то особенно не по себе. Как проснулся, так и почувствовал, что ему не по себе. Уже он успел сходить и на ток, где работник Федько веял намолоченную пшеницу, прошел несколько раз по двору, скомандовал Рябку и Бровку выпроводить со двора непрошеную гостью — соседскую свинью, снова прошел по двору, а все как-то не по себе: во-первых, в голове шумит, а во-вторых, под ложечкой сосет. Вчера, признаться, он пошел посмотреть на оранку, да и зашел за Окошкин хутор к Филиппу Ивановичу; не то чтобы и дело особенное было у него до Филиппа Ивановича, а просто так — зашел поговорить с хорошим человеком. А тут случился и Панас Иванович, славный человек, дай ему бог здоровья! А немного погодя приехал Данило Выпруцкий, тоже весьма хороший человек. Он собирается ехать в Ухмылинскую губернию, так все рассказывает, как ему хорошо будет там житься. Славный, очень славный человек! А так как сам хозяин Филипп Иванович тоже очень славный человек, то не успел еще Выпруцкий и до половины довести свой рассказ про Ухмылинскую губернию, как на столе уже стояла пляшка с чем следует. А когда рассказ его подходил к концу, на столе стояла чуть ли не четвертая пляшка. Это уже шли очередные. И эта смена пляшек произвела такое впечатление на деда Передерю, что он, сложивший крестообразно на груди руки, подходил к каждому и самым умиленным голосом произносил: «Я ж тебя люблю, моя Машечка!» («Машечка» было у него ласкательное слово и прилагалось одинаково как к женщинам, так и к мужчинам.) А когда он уже поздно вечером шел домой, то делал руками самые разнохарактерные жесты и, время от времени останавливаясь, произносил: «Смирно! Подбери губы: губернатор идет!» Но вот он взглянул на небо, усеянное мириадами звезд, и его мысли и чувства приняли другое направление. Он сложил крестообразно на груди руки, закивал головой и, очевидно восхищенный устройством вселенной, запел самым тоненьким голоском: «Вся премудростию сотворил еси». «Зирочки вы мои ма-

люсенькие! Поцеловал бы я вас, Машечки!»— воскликнул он вдруг, плача от умиления, и бросился вперед, вероятно порываясь на самом деле расцеловать все звезды и планеты. Но потерял равновесие и ограничился целованием только собственной, ближайшей планеты. «Кормилица моя, земелька святая! Как я люблю тебя!—голосил он.— Дай же хоть покатаюсь по тебе, моя Машечка!» И покатился с дороги в бурьян.

Но это было вчера, а сегодня дед Передеря уже не чувствовал восторга от устройства вселенной и только все сплевывал. Сначала он плевал по сторонам, а потом стал плевать уже перед собою — признак нехороший. Уж он и на улицу вышел, и вокруг двора обошел, а в голове все так же шумит, а под ложечкой все та же тоска. Что тут прикажешь делать? То есть оно, положим, всякому известно, что тут делать, а дед Передеря в этом отношении имел за собою богатый опыт и не хуже всякого другого знал, что делать. Он, как только проснулся, так взглянул по инстинкту на развевающийся в конце хутора кусок красной материи на высоком шесте—взглянул и почти не сводил с него глаз. Очевидно, он недаром так жадно смотрит на это знамя исцеления от всяких шумов в голове и болей под ложечкой, но... рада бы душа в рай, да грехи не пускают. Так, видно, беден дед Передеря и нет у него в кармане даже трешки, чтобы пойти под красное знамя и опохмелиться? Нет, не беден дед Передеря: он считался первым хозяином в хуторе, и нет ни у кого ни таких больших скирдов, ни таких круторогих волов, как у деда Передери. А трешника в кармане у него, действительно, не случилось. И это отсутствие трешника повторялось довольно часто. А что досаднее всего, так это то, что и взять-то этого трешника в таких случаях негде.

Дело в том, что хоть и не беден дед Передеря, а лишен власти в своем доме. Эта власть перешла теперь к сыну Кондрату да жене, трехзубой бабе. Как это случилось — Передеря и сам не скажет. Было время, когда он был полновластным хозяином своего добра, и звали его тогда не дедом Передерей, а Андреем Ильичом. Правда, нельзя сказать, чтобы это было недавно; это было, когда у его бабы были почти все зубы налицо. А все-таки было! И Передеря, расхаживая теперь по двору и то и дело сплевывая, предался воспоминаниям этого былого. Тогда он был хозяином и в поле и в доме, баба ведала только

свиней и птицу, да и то в вассальной зависимости от деда; тогда никто не мешал ему выпить с хорошими людьми! (А такие хорошие люди всегда случались.) Но с течением времени его Кондрат превратился в Кондрата Андреевича, а сам он из Андрея Ильича — в деда Передерю. А вместе с этой метаморфозой произошло и удаление деда от хозяйства. Но это было еще ничего: Передеря не властолюбив. Но вместе с удалением от хозяйства он лишился и возможности выпить, когда вздумается, с хорошими людьми. А его гаманец, бывало заключавший в себе и синенькие, и красненькие, и разные другие бумажки, теперь нередко оставался совершенно пустым, как это случилось и сегодня. Сначала дед Передеря изворачивался и в этих печальных обстоятельствах: он кредитовался у шинкаря, а Кондрат время от времени уплачивал за него. Но, видно, Кондрат не особенно сочувствовал такой финансовой системе батька, и потому, когда после одного разговора его с шинкарем Передеря явился к последнему с хорошими людьми и с обычной формулой: «Влей, Машка, сороковку!», он услышал самое категорическое: «Не дам». Напрасно он слагал крестом руки на груди и произносил самым задушевным тоном: «Я ж тебя люблю, моя Машечка!» Напрасно становился в военную позу и произносил: «Смирно! Подбери губы: губернатор идет!» — ничего не помогло: кредит для него закрылся навсегда. Пробовал было Передеря еще одно средство облегчить свое печальное положение. Дело в том, что баба удержала за собою управление птичьим департаментом и даже приобрела здесь полную самостоятельность, так как Кондрат не мешался сюда. И вот Передеря решил разделить с нею труды управления. С этой целью он променял Трунихе двух куриц на селезня и получил двадцать копеек додачи. Но когда баба узнала о таком самоуправстве, она привлекла его к самой строгой ответственности. Тщетно он пытался оправдать перед нею произведенную им мену с эстетической точки зрения, уверяя, что то ж таки селезень, всему дому украшение, а то курица — и больше ничего! Баба успокоилась только тогда, когда дед отнес обратно селезня и принес кур. Причем он возвратил обратно и двадцать копеек, главную цель мены. После такой неудачи он больше уже не вмешивался в дела бабки.

Воспоминания обо всем этом вместе с похмельным шумом наполняли теперь голову деда Передери и еще более

усиливали тоску под ложечкой. Со двора он снова прошел на ток. Там никого теперь не было, и только зузулястый петух, бабин любимец, взобравшись на ворох пшеницы, разгребал его ногами.

— Киш! Чтобы ты издох!— крикнул на него Передеря.

Но петух только посмотрел на него и снова углубился в свое занятие, как будто говоря этим: «Ведь не ты тут хозяин, а Кондрат». Такое поведение петуха взорвало Передерю.

— Да киш же ты, растреклятый, скаженной бабы петух!— закричал он, чуть не плача. Но петух перебежал через ток, вскочил на другой ворох, захлопал крыльями и громко закричал.

Уж этого оскорбления Передеря никак не мог снести и бросился искать палку поувесистей. А петух как ни в чем не бывало принялся разгребать пшеницу. Неизвестно, до чего дошли бы Передеря и петух во взаимных оскорблениях, если бы сзади Передери не раздался голос: «Дидусь, идите снидать!» Он поднял голову и увидел внука Ивана.

— Ах ты каторжный хлопец!— накинулся он на внука.— Только снидать мастер, а вот что треклятый бабин петух, чтоб он ей в борще издох, все вороха разгреб, так за тем не смотришь!

Иван бросился к петуху, а Передеря пошел в хату. Проходя через двор, он увидел, что в воз впряжена гнедая кобыла, а сзади к возу Федько привязывает телушку. Передеря вспомнил, что сегодня едут на ярмарку, и ему ужасно захотелось самому поехать туда. Ведь туда съедутся все окрестные хуторяне. Там и Повзык будет, и Курак, и Марфенко, и кого только из хороших людей не будет там! Со всеми с ними он, продавши телушку, увиделся бы и выпил. А уж как это было бы кстати ввиду шума в голове и тоски под ложечкой! Но вопрос в том, удастся ли ему поехать на ярмарку! Решение этого вопроса зависело от Кондрата. Что баба поедет — в этом не было никакого сомнения. Кондрат всегда исполнял ее желания, а ярмарки — ее страсть, и она, кажется, ни одной из них еще не пропустила. Но кто еще с бабой поедет? Не решил ли ехать сам Кондрат? Тогда Передере придется остаться дома. Уж немало самых заманчивых планов его разрушил этот Кондрат подобным образом. Но сегодня Передеря решил не отступать и во что бы то ни стало поехать на ярмарку.

Когда он вошел в хату, все сидели за столом перед дымящейся миской с галушками. Баба уже надела новые чоботы, очипок и свитку «с усами».

«Уже убралась каторжная баба! Никогда не пропустит»,— подумал Передеря, взглянув на ее торжественную фигуру. Он сел за стол и начал есть галушки. Но его мысли были не около галушек...

— На ярмарок, должно быть, придется мне с бабой ехать,— выговорил он таким тоном, как будто ему неприятна предстоящая необходимость ехать на ярмарку, причем все свое внимание устремил на то, чтобы поймать в ложку находящуюся на самом дне миски галушку.

— Нет, вам, тату, не придется ехать,— произнес Кондрат догматическим тоном.

— А отчего бы это не придется? (Передеря еще с большим вниманием устремился за галушкой.)

— Оттого, что я поеду.

— А отчего бы не я?

— Так. Вам дома оставаться.

— Сам оставайся, если хочешь, а я поеду! (Передеря с яростью проглотил пойманную галушку.) Знать тебя не хочу!— кричал он.— А то вы с матерью очень уж волю взяли, а батька не нужно, батько у вас хуже ганчирки стал! О, вы мне поперек горла стали!

И много еще вылетало из уст Передери горьких упреков, накопившихся в нем в часы сознания им своего безвременного низложения. Долго сдерживаемые, они вылетали теперь со стремительной быстротой, настигая и опережая друг друга. Так стадо, до позднего утра продержанное проспавшим в сарае пастухом, стремглав вырывается потом в растворенные ворота, тесня и сбивая друг друга и в общем производя такой беспорядок, что пастух только воскликнул: «Тю! Глупая скотина!»

— Ну, затянул, батько, да слушать некогда. Идемте, мамо. А с ярмарки приедем — дослушаем.

Баба и Кондрат вышли на двор усаживаться на воз.

— И, бис твоей матери!— взвизгнул Передеря и бросился к возу.— Не пущу! Все равно не пущу,— вопил он, забежав вперед и схвативши кобылу под уздцы.

— Но!— произнес Кондрат, погоняя кобылу.

— Тпру,— закричал Передеря,— тпру, собачий сын, тпру!

Кондрат посмотрел на батька, опустил вожжи и заду-

мался. Становилось очевидным, что на этой почве с батьком ничего не поделаешь, и в голове Кондрата быстро созрел другой план действий.

— Ладно, тату, коли уж вам так захотелось ярмарки, езжайте, а я дома останусь,— произнес он.

— Вот так бы ты давно!— воскликнул радостно Передеря.— И батька не вводил бы в грех,— добавил он тоном, каким любящий отец журит сына.

— Только что ж на вас, тату, чинарка такая запачканная! Нужно новую надеть.

Передеря взглянул на свою чинарку и увидел, что, действительно, нужно новую надеть, так как эта была вся в пыли и репьях — следы вчерашних восторгов от устройства вселенной. Он полез было пальцами в голову, чтобы почесаться по случаю такого неприятного открытия, но волосы на голове были так плотно украшены репьями, что пальцы никак не могли добраться до них и возвратились, захвативши с собой несколько репьев как вещественное доказательство, что почесать голову нет возможности.

— Пойдите же в коморю,— продолжал Кондрат сердечным тоном,— умойтесь да чинарку новую наденьте, да и сапоги вымазать дегтем не мешает.

— Эге, старенький, пойди причипурись. А то как же можно, чтобы на ярмарок да этак ехать,— зашамкала баба.

Очевидно, она уже постигла коварный замысел Кондрата и готова была всячески помогать ему. Передеря отправился в комору и самым добросовестным образом принялся за свой туалет.

— Федько! Принеси батьку в коморю воды, пусть умоется,— крикнул Кондрат работнику.

Федько отнес сначала воды ведро, а потом самого чистого дегтю мазницу.

Между тем Кондрат, как только батько скрылся в коморе, задергал вожжами и тихонько начал понукать кобылу. Из трехзубого рта бабы тоже послышались звуки понукающего свойства. Кобыла дернула и вывезла воз за двор. Тут Кондрат начал погонять ее смелее. Привязанная сзади телушка заупрямилась было, но Кондрат отдал бабе вожжи и начал подгонять телушку кнутом сзади.

А Передеря, совершив свой туалет, вышел из коморы и глянул на то место, где стоял воз. Потом он быстро ос-

мотрелся кругом, забежал под поветку и снова пристально посмотрел на то место, где стоял воз.

— Федько? Где ж они? — крикнул он.

Но Федько как только увидел обращенную к нему вопросительную физиономию хозяина, бросился к разгребавшим навозную кучу курам, страшно замахал руками и закричал:

— А киш-киш-киш-ки-и-ш!

Передеря выбежал за ворота, взглянул на дорогу — и все понял.

— Анахтемы!— воскликнул он, скрестивши руки на груди, и бросился догонять уже выехавший за хутор воз. Кондрат и баба тотчас заметили погоню и еще быстрее стали уходить. Баба гнала кобылу, а Кондрат бежал сзади и стегал кнутом телушку. Но и Передеря гнался, далеко оставляя за собой свои шестьдесят лет. Так он бегал, может быть, только когда был парубком. Высоко поднявшееся летнее солнце сильно припекло его, и скоро ему стало невыносимо жарко. Однако он и не думал уступать и, еле переводя дух, твердил: «Хоть до ярмарки буду гнаться, а не отстану». Но вот в его голове блеснула мысль, за которую он долго потом благодарил судьбу. Осененный этой мыслью, он быстро сбросил с себя чинарку, стянул только что вымазанные дегтем сапоги и, освободившись таким образом от пудовой тяжести, пустился бежать еще быстрее. Так он бегал, разве только когда мальчиком был. Между тем судьба явно взялась помогать ему и с другой стороны: телушка решительно запротестовала против дальнейшего бегства и тянулась на налыгаче, несмотря на самые энергичные понукания Кондрата. Благодаря всему этому Передеря через минуту уже сидел на возу, сбив с бабы очипок, и отпечатлел на ее щеке свою вымазанную дегтем пятерню. Подоспевший Кондрат предупредил дальнейшее рукоприкладство. Тогда Передеря бросился на него, стараясь во что бы то ни стало добраться до его физиономии. Но Кондрат взял его за руки выше локтей и посадил на дорогу, как сажают в кресло самого дорогого гостя. Потом он вынул из кармана двугривенный и подал батьку. Но тот выбил его из рук, и двугривенный полетел на дорогу. Вся эта сцена происходила в совершенном молчании, так как Передеря не мог вымолвить слова от чрезмерного волнения, а Кондрат и баба, вероятно, находили всякие объяснения излишними. Наконец Кондрат заговорил:

— Тату! На ярмарок вы все равно не поедете. Возьмите же лучше двадцать копеек да идите себе домой.

— А вже посмотрим, кто поедет на ярмарок,— выговорил наконец Передеря.

— Тут и смотреть нечего,— продолжал Кондрат.—Или берите деньги да идите домой, а мы на ярмарок поедем, или все вернемся домой, и на ярмарок никто не поедет. Будет с вас того, что на Малычевской ярмарке двух овец продали да домой через три дня пятак принесли.

Передеря увидел, что Кондрат исполнит свое обещание и тогда пропадет и ярмарка и двугривенный, а потому решил вступить в переговоры.

— Дешево очень хочешь батька купить,— произнес он.

— Ну на тебе, старенький, еще пятачок да иди себе похмелись на здоровье,— прошамкала баба.

— О проклятущая баба! Подавилась бы ты своим пятачком анахтемским!— бросился к ней Передеря.— Давай гривенник!

Баба торопливо вынула два пятака и отдала их деду.

— Ну, езжайте, кат с вами,— махнул на них дед Передеря рукою. Потом поднял с земли двугривенный и, получивши таким образом контрибуцию сполна, отправился домой. По дороге он подобрал чинарку и чоботы и направился прямо под красное знамя. Тут, к великому утешению его, оказалось, что хорошие люди далеко не все уехали на ярмарку. Благодаря этому обстоятельству Передеря через полчаса подходил к каждому и голосом, расслабленным от наплыва альтруистических чувств, произносил: «Я ж тебя люблю, моя Машечка!» А вслед за этим раздавалось его строжайшее: «Смирно!» и экстренное приказание подобрать губу ввиду приближения губернатора.

<1898>

ВОР

(Этюд)



ьюга еще перед вечером загудела над хутором, и маленькие хуторские избушки, в беспорядке разбросанные по склонам и на дне степной балки, выглядывали теперь из-под сугробов только своими крышами.

В полночь Тарас Гальмак, разбуженный перекликаньем петухов, одел излатанный полушубок и вышел во двор подбросить корма своей единственной лошади и двум овцам.

Он пошел к защищенной от ветра скирде соломы и полез рукой за ключкой, чтобы надергать корма.

Вдруг он наткнулся на что-то твердое. Он торопливо развернул солому, нащупал обутые в сапоги человеческие ноги.

— Господи Исусе!— прошептал он, в испуге отскакивая прочь.

Набравшись смелости, он снова дотронулся руками до найденных ног. Ноги зашевелились и полезли внутрь скирды.

— Кто тут?! Озывайся! — закричал Гальмак.

Ответа не последовало.

— Гвалт, рятуйте!— закричал он что было силы.— Воряка!

Найденные ноги не шевелились, а Гальмак все кричал:

— Рятуйте!

Страшно было и дальше раскрывать находку, не хотелось и упустить вора. И Гальмак, стоя возле скирды, неистово кричал:

— Рятуйте, кто в бога верует, злодиака залез!.. Параска-а!

На крик из хаты выбежали раздетые жена и подросток-сын.

— Мерщий, по сусидах бежи!— скомандовал Гальмак мальчику.— Воряка в ожереде лежит.

— Ой лишенько, пропали ж теперь кобылочка и овечата!— заголосила Параска.

— Караул, воряка!— кричал Гальмак. Тощий тенор

его, пересекаемый визгливым дискантом Параски, врезывался в завывание вьюги и быстро таял.

Сбежались разбуженные мальчиком соседи. Все были вооружены: кто вилами, кто топором, бабы с кочергами и рогачами. А Трохим Стовба, при своей впечатлительности, притащил зачем-то горшок.

— Вылазь, злодиака!— кричали хуторяне.— Вылазь, бо все равно вытащим!

«Злодиака» не шевелился. Его схватили за ноги и вытащили из соломы. Вор спешно поднялся на ноги и стал протирать глаза. Маленький, тщедушный, в латаном полушубке, в низенькой шапчонке из облезлых смушек, с завязанными ситцевым платком ушами, он бросил косой пугливый взгляд на окружившую его грозную толпу и заговорил беспечным тоном:

— Здравствуйте, господа-братцы! Как, приблизительно, здоровьячко?

Он протянул было руку ближайшему мужику. Тот отбил ее вилами. Вор не заметил этого, но руки уже не протягивал.

— А я, приблизительно, сплю вот тут здесь,— продолжал он тем же беспечным тоном,— аж слышу это во сне крики, приблизительно, и тревогу. Слышу это, господа-братцы, а проснуться, приблизительно, никаким манером не могу. Да уж спасибо, кто-то за ноги меня разбудил, приблизительно...

— Чего ж тебя чертяка занесла сюда в солому?! — спросил толстый Скиба.

— Под коней соколик подкрадался,— заметил Василь Заяц.— Ждал, пока позаснули!

— Эх ты ж каторжная худоба!— завыли бабы.

— Нет, господа-братцы,— отвечал вор,— это вы даже напрасно! Я даже не имел этого дела, приблизительно, в планировке. А действительно, как маршировал я, приблизительно, по завирюхе и сбился, понимаете, с маршуту, так что еще с вечера и приткнулся к вашему поселению, к этой вот штаб-кватере, и так что сделал, приблизительно, в соломе привал...

— Да ты нам, бисов пройдисвет, не замазывай тут рот своими благородными словами! Ежели ты добрый человек и без худого намерения, так почему ты в хату не попросился, а в солому залез?

— Это, приблизительно, вы верно говорите: осечка, значит, у меня в мыслях вышла...

— Вишь ты, ученый! Погоди, мы тебя обучим до света!

— Совершенно даже напрасно...— начал было вор.

Скиба размахнулся и влепил ему затрещину. Вор полетел на землю, поднялся и, не обращая внимания ни на удар Скибы, ни на полученные пинки сапогами в бока, продолжал:

— Совершенно даже напрасно, потому что я с маршуту сбился, приблизительно...

— В хату его потащим, в хату,— закричали кругом.

— Позвольте ж, господа-братцы,— заявил он. — В соломе там мой, приблизительно, ранец, торбиночка, понимаете, полотняная, чтобы, дескать, не затерялась, приблизительно.

Порылись в соломе и нашли маленькую полотняную сумку. Вора и его сумку потащили в хату. Зажгли огонь. Мужики расположились на лавках, бабы у печки, детишки, завидевши вора, в испуге попрятались на печке. Вор остановился среди хаты.

— Здравствуйте вам, хозяин, хозяюшка, малы детушки, в вашей хате, приблизительно!— проговорил он, держа руки по швам.

С него сбили шапку. Фигура вора предстала в еще более жалком виде: коротко остриженная продолговатая голова с узким затылком и маленьким сморщенным лбом над бесцветными, испуганно остановившимися глазами, бритый подбородок, редкие рыжеватые усы, вокруг которых происходили жалкие потуги на улыбку...

— Паныч!— презрительно усмехнулся Скиба, посмотревши на эту остриженную голову.

— А ужасно, приблизительно, сильные завирюхи стоят!— продолжал вор.— И так что ежели на градуснике, приблизительно, применить, то на много градусов холоду наберется! Вот, господа-братцы, когда я служил, приблизительно, на Капказе...

Молодой парень, стоявший подле него, размахнулся во всю руку и ударил его в ухо. Вор полетел к противоположной стенке и встретил кулак парня, стоявшего с другой стороны.

— Признавайся!— закричали в хате.— Признавайся, а то все равно убьем!

Вор молчал и всхлипывал.

— Говори, кто ты! Ну!.. В торбе у него нужно посмотреть! Там они, братчики, разные воровские причандалы носят.

— Нет! Спервоначалу нужно раздеть его да посмотреть, нет ли в кармане под одежей примусий. Раздевайся!

Вор снял полушубок и очутился в какой-то куцей ватной поддевке без фалд. Тщедушная фигура его представляла теперь что-то общипанное, еще более жалкое.

— Какой же он поганенький!.. Обсмыканный!..— послышались жалостливые восклицания баб.

Полушубок осмотрели — ничего не нашли, приказали снимать куцую поддевку. В кармане нашли старенький дешевый портмоне. Там оказались истертая рублевая кредитка и несколько медных монет. Развязали сумку и стали вытаскивать оттуда вещи. Вытащили пару белья, лоскут старого ситца с иглой, ломоть хлеба, кусочек мыла, маленькое зеркальце.

— Такой пакостный да еще и в зеркало смотрится! Тьфу!— возмутился женский персонал.

— Это, понимаете, когда, приблизительно, побросешься али так вообще,— заговорил пришедший в себя вор.

Вслед за зеркальцем из сумки извлекли две маленькие книжки.

— Вот это, понимаете, сонник,— стал он объяснять.— И вот эта картинка на палитурке изображает, как молодая девица, приблизительно, спит в сновидении, и снятся ей всякие благородные видения: приятные кавалеры и также кушанья...

— Вишь, чертов брехун, как зубы заговаривает!— возмутился Скиба.— Смотрите, что там еще есть в торбе.

На дне торбы оказалось два гвоздика и заржавленная гайка.

— Воровская примусия!

— Эту штучку, приблизительно, я на железной дороге нашел, когда маршировал там. Я ее вам подарю, в хозяйстве пригодится.

— И вор-то хоть бы путний, с припасами, а то так, кат знает что!— возмутился Стовба.

— Ну, а теперь мы тебя своим судом судить будем. Ты знаешь, как конокрадов своим судом судят? Перво-наперво признавайся: ты в прошлом году у меня и Зайца коней покрал? Признавайся, меньше муки будет. Ну, говори: сам крал или с компанией? Говори! Всех выдавай — тебе легче будет.

— Еже-ей, господа-братцы, клянусь честью, приблизительно, что ни на чью шкапу-лошадь я не имел прицелу.

А как сбился я, приблизительно с маршруту и в соломе, понимаете, привал сделал...

Скиба развел кулак и дал им вору в зубы. Вор полетел навзничь, под ноги Стовбе. Тот ударил его носком сапога в лицо. Из ссадины по щеке потекла кровь. Вора подняли и поставили на ноги.

— Водички мне...— проговорил он, выплевывая кровь изо рта. Жена Гальмака поднесла ему воды.

— Бедный, бедный ворик,— соболезновали бабы.

— Так признаешься или нет? Признавайся! Вас одна шайка!

Вор молчал.

— Признаешься?— переспросил Заяц и дал ему новую затрещину. Кулак с противоположной стороны поддержал вора на ногах. Вор сел на лавку.

— Покурить, господа-братцы...

— Куда ты?! Садиться!— крикнул Скиба, стягивая его с лавки.— Вишь ты, пан какой!

— Бедный, бедный ворик!— причитывали бабы.— Шалапутный он какой-то!

— Придурковатый он, пустить бы его целого.

— Точно, господа-братцы,— заговорил вор,— что я мыслями не особенно. Через это, приблизительно, я и в военной службе при кухне... Отпустите меня, приблизительно... Побили немножко и довольно бы. Я вам за это, понимаете, водочки поставлю.

— Греха с ним не оберетесь, как замучите,— убеждали женщины.

— А ты признайся! Тогда, может, и не замучим.

— Ну, еже-ей, клянусь честью, что я не шпион и не лазутчик. А как сбился с маршуту и к этой, понимаете, штаб-кватере пристал, а чтобы на какие-нибудь вылазки или мародерства я никогда...

— Так чего ж ты в хату не попросился, когда ты добрый человек?

— Говорю ж, осечка в мыслях вышла. Ну, а только я бы, приблизительно, водочки купил и книжечки подарил бы и гайку... Платочек этот тоже...

Мужики, видимо, начали колебаться. Бабы настаивали на том, чтобы не мучить.

— Оно, положим, верить вашему брату-пройдисвету нельзя,— заметил Скиба.— Ну, а только ежели могарич будет...

У вора взяли деньги и послали за водкой.

Через несколько минут вся компания сидела за столом и пила водку. Вору тоже изредка подносили. Он рассказывал о военной службе и соннике.

Когда деньги вора пропили, принес Гальмак водки за свои: за спасение кобылы.

Компания уже подгуляла, шум наполнял хату.

Не сам иду,
Коня веду
До дивчи-ины в гости!..

— Господа-братцы, давайте, приблизительно, военную споем:

Гром гремит, земля трясется,
Гуркин на коне несется! —

затянул вор фальцетом.

Заяц подкрался к нему сзади, ударил его в ухо и снова сел за стол с самым невинным видом.

— Да не бейте, Василь Иванович, будет уже,— заметили бабы.

— Нельзя ж: вор!— убедительно заметил Василь Иванович.

— А вот, понимаете, книжечка о Жар-птице, чрезвычайно интересные похождения о том, как Иван-Царевич...

— Слушай, голубчик,— заговорил Стовба, положивши голову на стол и любовно заглядывая вору в глаза,— душа любезная! Ну отчего ты не признаешься?.. Вот сукин сын!..— закончил он, качая головою и обращаясь к компании за сочувствием.

— Ну, пей!— подносил он вору через несколько минут.

— За ваше, приблизительно, здоровьячко!

— А руки-ноги мы тебе, должно-таки, повыворачиваем: нельзя ж, нужно!

— Нет, господа-братцы, это совершенно лишнее дело,— беспечно ответил вор.— Я ж, понимаете, не шпион и не лазутчик и не мародер, приблизительно.

— Хоть ты и дурной, а ученый,— заключил Стовба,— жаль, что нашего солдата Левки дома нету: тот мог бы с тобою говорить по-ученому. О, тот мо-ожет!

Заяц подкрался, ударил вора, снова спрятался.

На рассвете вора решили отпустить на свободу.

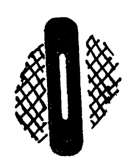
Вьюга все бушевала, дороги занесены были снегом, хаты, сарай скрывались в снежной мгле.

Получивши свободу, человек вышел из хутора и также скрылся в этой грозной мгле.

<1902>

ТРАВОСЕЯНИЕ

(Рассказ чиновника)



но, конечно, как, может, и вам известно, разные убеждения бывают. Это правильно. Тоже вот и насчет природы. Есть которые и из наших чиновников очень неравнодушные к природе в рассуждении хозяйства и разного там травосеяния. Ну, только я так себе убежден, что вся природа больше от начальства зависит. И ежели нашему брату, чиновнику, завести у себя на дворе присутствия эту самую природу, то может выйти один только вред для души.

Да не далеко ходить, я вам расскажу случай, какой с нашим Вертушкиным вышел. Случилось это вскоре после назначения нам в начальники Семена Семеновича.

Ну, начальник, понятное дело, из новых. Порядки тоже новые. Ни взяток этих, ни проволочек не терпит. Моментально же по вступлении в должность собрал нас и сказал краткую речь:

— У меня,— говорит,— чтобы одно слово! Понимаете? — говорит.

— Понимаем, мол, Семен Семенович.

— Что же вы,— говорит,— господа, понимаете?

А мы, признаться, и не знаем, что такое понимаем. Только отвечаем, что, дескать, рады стараться, Семен Семенович.

— То должны вы понимать,— говорит,— чтобы у меня это в канцелярии насчет денежных приношений и духу не было. Потому,— говорит,— как сам я рук не мараю о чужую копейку, так и подчиненные должны то же самое.

По случаю такого объявления от Семена Семеновича стали мы рассуждать о подношении натурой.

Тем более что объявление сделано было двадцатого марта, а двадцать седьмого Семен Семенович именинник.

Собрались мы по окончании занятий в одну комнату и стали совещаться, какой бы презент сделать начальнику.

Первый подал голос Дудочкин, с четвертого стола:

— По моему,— говорит,— мнению, самый подходящий подарок — это общими средствами хорошую собаку поднести. Ежели,— говорит,— обложить примерно надворных по рублю, титулярных по полтиннику, а губернских хоть по четвертаку, то великолепная собачка может выйти. И не накладно, и подарочек приличный.

Но тут Пичужкин стал возражать:

— На это,— говорит,— я никак не согласен.

— Почему не согласны?— Дудочкин это спрашивает.

— Потому,— Пичужкин отвечает,— что сюжет неподходящий. Никак того невозможно, чтобы нового начальника собакой дарить, да еще в день ангела. Может в обидную сторону принять. Ибо собака есть животное лающее и в некотором смысле ругательное.

— Ну, уж это извините, — обиделся Дудочкин. — Прежде всего скажу вам, что собака собаке рознь.

— Всем им собачья честь,— Пичужкин отвечает.

— А я вам скажу,— говорит Дудочкин,— бывают собаки, что какой угодно начальник пальчики оближет. Уж это я прекрасно знаю.

А Дудочкину, действительно, как и не знать было! Уж по собачьей части кому хочешь нос утрет! Бывало, пробежит собака мимо присутствия по улице — нам, чиновникам, хоть бы что. Посмотрим только, пока за угол завернет, тем дело и кончится. Разве лишь летним делом кто тюкнет ей в открытое окно или чернил на хвост плеснет. Дудочкин же совсем другое дело: сейчас же разберет, какой породы собака, и кто у нее родители были, и как и по какому случаю,— все досконально опишет. Глубокий знаток был природы собачьей!

Только Пичужкин тоже был чиновник с характером и стоит на своем, что всем собакам одна цена.

Вскипел тут Дудочкин и прямо ему отрубил:

— Вы,— говорит,— господин Пичужкин, напрасно только беретесь рассуждать о том, чего не понимаете.

Ну, только Пичужкин тоже человек был образованный. Больше насчет Большой Медведицы и созвездия Ориона. Бывало, явится в канцелярию, подаст кому один палец, кому два (известно — наука!) и начнет такие чудеса про небесные светила рассказывать, что хоть три дня слушай, так и то ничего не поймешь.

Вот по случаю такой образованности он и отрезал Дудочкину:

— Оно, конечно,— говорит,— я не так насобачен, как

вы, и потому от участия в собаке категорически отказываюсь. Не желаете ли,— говорит,—господа, лошадь поднести? — и сейчас же давай подписной лист разносить.

Дудочкин не будь плох и тоже свой подписной лист предлагает.

— Господа,— кричит нам Пичужкин,— кто под лошадью подпишется?

— Господа,— кричит тоже Дудочкин,— кто под собакой может подписаться?

Тут между нами раскол вышел: кто под лошадь, а кто под собаку. А единодушия нет.

— Ну,— Пичужкин говорит,— ежели такое дело, никого не желаю! Сам своими собственными силами лошадь поднесу!

— Я тоже никого не желаю!— кричит Дудочкин.— Тоже сам собаку подношу от своего собственного усердия!

С тем мы и разошлись. Ну и действительно, большой конфуз на именинах вышел: Пичужкин и Дудочкин ко дню рождения Семена Семеновича явились с соответствующими приношениями. А мы, прочие, с пустыми руками. Дудочкин поздравил уважаемого именинника такою собакою, что дай бог всякому! Одни уши такой ширины, что на каждом по два отношения написать можно, да хвост одной рукой не согнешь. Приамом звать (после Дудочкин разъяснил нам, кто такой Приам: муж той самой Прекрасной Елены, что в загородных садах показывают). Как увидел Семен Семенович Приама этого самого, прослезился даже.

— Благодарю,— говорит,— давно,— говорит,— мечтал я о дорогой собаке, благодарю,— и трижды облобызал Дудочкина.

Некоторые из наших позавидовали даже Дудочкину, что, дескать, такое расположение начальства; ну, только я так полагаю, что всяк своего счастья кузнец,— радоваться нужно, что всякое познание на пользу службы человеческой.

А мы стоим в стороне — просто хоть сквозь землю провалиться. Конфузно очень! Потому, как я уже сказал, Семен Семенович ведь распорядился, чтобы никаких денежных подношений, а мы точно назло ничего натурой не представили, скандал ведь!

Да спасибо Вертушкин, столоначальник с третьего отделения, при своей находчивости всех выручил: высту-

пил это вперед, руку к сердцу и давай экспромтом речь рубить:

— Ежели,— говорит,— уважаемый Семен Семенович и дорогой наш именинник, вышел лестный для нас случай, что вам бог послал хозяйством обзавестись, то позвольте и нам в ознаменование сего высокоторжественного совпадения по мере душевных и телесных сил высовокупиться своим усердием, в умилении души и приблизительности чувствий из глубины сердца соорудить конюшню и сбрую для лошади, равно как и приличную конуру, соответственно собаке вашей.

Трогательно это у него вышло! И то сказать — красноречив-таки был, подлец,— легко ему сгадайся!

Семен Семенович принялись всем нам руки жать и к столу пригласили. Ну, наши попервоначалу, понятно, стеснялись и больше все стенки придерживались. Потому — сами посудите — выпивка, закуска, и рядом Семен Семенович, начальник! Трудно! Однако выпили за здоровье именинника по одной, потом по другой и так далее, строго соблюдая порядок чисел, и мало-помалу приспособились. Начались разговоры: кто в политику ударился, кто в критику, а которые чувствующие, те в меланхолию устремились и насчет поэзии рассуждение иметь начали. Девушкин же Макар Иванович плакать даже начал.

— Не плачьте, Макар Иванович, воздержитесь,— утешаем.

— Никак не могу воздержаться,— отвечает.

— Почему так, что никак не можете?

— Потому,— разъясняет,— что люблю природу: зеленую травку и чтобы птичка.

— Да,— Семен Семенович на это говорит,— это действительно, что травка — довольно даже прекрасное для души отдохновение. На лоне, говорят, природы всегда свое удовольствие утешить можно.— Как сказали это Семен Семенович, Вертушкин слова-то эти и запомни себе.

Через три дня Семену Семеновичу требовалось на месяц в уезд отлучиться, и так что двадцать седьмого это справлены были именины, а на девять мучеников Семен Семенович уже и уехали.

Вертушкин и ничего себе. Занимается.

Только, смотрим, стали приходить на его имя каталоги семян, и что ни день, то новый каталог. И из Харькова каталоги шлют, и из Москвы шлют, и из Воронежа то же самое. А Вертушкин все читает их и какие-то выписки де-

лает, канцелярские дела оставил и все с каталогами практикуется.

Что, думаем, за оказия такая! Пробовали спрашивать — отмалчивается. Только знаем, что Вертушкин человек серьезный и даром пустяками не станет заниматься. Наконец как-то утром (уж не помню, которого числа) он таки раскрыл карты.

Приходим это на службу, а во дворе присутствия плуг пашет, уже половина двора вспахана, и лемех в плуге о дерево сломан.

— Что такое? — спрашиваем Вертушкина. — По какому случаю пахота, например?

— Погодите, — Вертушкин усмехается, — не то еще увидите: сию минуту посев начну.

И действительно, починивши плуг и допахав двор, привез два мешка какого-то зерна и начал сеять. Двор, правда, был всего тридцать аршин в длину и двадцать в ширину. Но Вертушкин тоже был чиновник настойчивого характера и до тех пор сеял, пока оба мешка не высеял.

Кончил посев, стали мы допрашивать, что такое, — ничего не объясняет.

— Через недельку, — говорит, — сами увидите.

Действительно: через неделю весь двор, как щетка, покрылся травою. Тут уж Вертушкин сам все нам разъяснил.

— Трава, — говорит, — это для Семена Семеновича и для лошадки для ихней.

— Как, мол, так?

— А так, — отвечает, — сначала она будет расти, и Семен Семенович, глядя на нее, будет утешать свое удовольствие душевное. А потом я ее скошу, и будет для лошади ихней сено на всю зиму.

— А почему, мол, такая разноцветная трава пошла?

— Потому, — отвечает, — что тут все сорта вместе смешаны: и эспарцет, и клевер, и вика, и люцерна, и канареечное семя. Собственно, для удовольствия глаза больше.

Тут стали мы поздравлять Вертушкина с большим благоволением начальства, и Вертушкин принимал поздравления и благодарил за товарищеское сочувствие.

— Я, — говорит, — братцы, хоть как ни шагну теперь вперед по службе, а вас не забуду и буду обращаться как с товарищами.

Только, смотрим, Дудочкин и Пичужкин не принимают участия в торжестве и все в стороне держатся.

А потом вышли мы в присутствие. Пичужкин ни с сего ни с того давай басню про лисицу рассказывать. Рассказывает и все в сторону Вертушкина посматривает. А Дудочкин смеется и тоже на Вертушкина посматривает.

Сразу видно, что люди завидуют чужому успеху.

Однако Вертушкин на это никакого внимания и только с часу на час ждет приезда Семена Семеновича. Семен Семенович почему-то задержались в уезде, и трава, как назло, только что вылезла из земли и стала сохнуть. Что за оказия! Вертушкин, бедняга, сам не свой. Пробовал поливать, ничего не помогает. Агронома позвал. Тот говорит — невозможно: густо слишком посеяно.

— Как же так!— говорит Вертушкин.— Мне ведь это дело больше ста рублей стало! Я уже косилку подрядил и пять рублей задатку дал!

А Дудочкин с Пичужкиным смотрят на это дело и уже без церемоний насмехаются, смеются и прочие чиновники. Тут уже Вертушкин против всех вооружился:

— Не товарищи,— говорит,— вы, а завистники и лицемеры.

А сам, страдалец, на себя стал не похож, аппетиту нет, ночь не спит — все Семена Семеновича ждет и на вянущую травку поглядывает. Семена же Семеновича нет как нет!

Тут-таки еще и Макар Иванович много ему повредил: смотрел, смотрел на траву, умилился и давай по ней качаться. Он-то сделал это от чистого сердца, из любви к природе, а Вертушкин принял это за желание напакостить (известно, подозрительно настроен человек).

Бросился на Макара Ивановича с кулаками и давай тузить. Ужасно невежливо!

Наконец Семен Семенович приехали. Только травка-то совсем уже пожелтела, и сам Вертушкин тоже желтый. Спрашиваем его:

— Что ж, мол, будешь продолжать свое дело или уж оставишь без последствия?

— Ни за что,— говорит,— от своей идеи не отступлюсь. Сейчас иду приглашать Семена Семеновича на покос. Пожалуйте смотреть.

Высыпали все мы во двор, и Семен Семенович стоят на балконе.

— Что такое, Вертушкин, делать будешь?— спрашивает Семен Семенович.

— Покос для вашей лошади. Сам сеял.

Вертушкин сейчас же выехал с косилкой на середину двора (потому у него заранее все уже было готово) и давай косить. Только во дворе кругом деревья, и повернуться с машиной негде. Не успел Вертушкин начать покос, как зацепился за деревцо. Деревцо затрещало и упало, а Семен Семенович поморщился. Видим, дело плохо: Вертушкин совсем потерялся, засуетился и еще дерево сломал. Тут мы, которые сердобольней, стали помогать. Ну, только ничего не поделаешь: теснота! Работа идет, травы нету, а деревья трещат.

— Что за безобразие такое!— Семен Семенович говорят.

Вертушкин, как услыхал эти слова, совсем духом упал. Трясется весь, мечется из стороны в сторону. И мы тоже мечемся, а травы нету, только треск один... Народ сбегается и в калитку заглядывает, полиция тоже. Семен Семенович смотрели, смотрели на этот сенокос, да как затрясутся, как закричат на нас:

— Что вы делаете, подлецы! Пошли прочь в канцелярию, остолопы!

Тут уж мы с перепугу совсем спутались и машину сломали.

А Семен Семенович все кричат:

— Как смеете на казенном дворе безобразия устраивать! Я вас, мерзавцев, под суд отдам!

Ну, мы, понятное дело, видим, что конец,— скорей, как мыши, в присутствие попрятались.

А Семен Семенович:

— Это все Вертушкин, курицын сын, настроил! Подать сюда Вертушкина!

Вертушкин стоит среди двора, дрожит весь:

— Семен Семенович, ваше превосходительство, не погубите! Для вас хотел удовольствие сделать, ночей не спал... полтораста рублей...

Бегает по двору и одно кричит:

— Полтораста рублей, полтораста рублей!

Тут с ним горячка сделалась, и три месяца в больнице пролежал. Выздоровел потом, да только не было уж из него настоящего чиновника.

С виду будто и ничего себе, а станет писать деловую бумагу и вдруг ни с того ни с сего влепит: «канареечное семя»... «вика»... «полтораста рублей»...

А какой человек красноречивый был! Удивительное дело!

<1902>

ИЗ ПРИНЦИПА

На входной двери в парикмахерской Дыркина изображен процесс стрижки: парикмахер тащит клиента за волосы прочь со стула и замахнулся на него ножницами. Синее лицо клиента с красными пятнами на щеках, с лезущими на лоб глазами, искаженное выражением адских мук, производит потрясающее впечатление. Вся группа сильно напоминает сцену из практики святой инквизиции.

Но внизу под сценой успокаивающая надпись: «стрижка и бритье».

В окне цирюльни выставлено двое часов: одни идут и показывают иногда 6, а иногда 7 часов. Другие без внутренностей и из года в год показывают четверть одиннадцатого. Сверху над часами написано: «часовой мастер», а внизу: «пьявки».

Был канун пасхи, и Дыркин, единственный парикмахер в городе, без отдыха стриг и брил с утра до поздней ночи.

Правда, против его мастерской помещалась еще одна парикмахерская, но так как мастер ее накануне больших праздников бывал всегда пьян, то фактически на весь город оставался опять-таки один парикмахер.

Было уже около 11 часов ночи, через час должны были ударить к заутрене, а небритых и нестриженых посетителей было столько, что мастерская Дыркина оказывалась положительно тесной.

Старик Дыркин сосредоточенно переходил от ножниц к мылу, от мыла к бритве, сдергивал с «оконченного» посетителя покрывало и, таинственно произнеся следующему: «пожалуйте», принимался за то же самое.

Пот ручьями струился по глубоким морщинам его маленького, похожего на сжатый кулак лба и крупными каплями повисал на седой щетине подбородка. Но Дыркин не обращал на это внимания и священнодействовал.

Дверь с привешенным к ней через блок полупудовым камнем запела в четыре голоса и впустила нового посетителя, на коротеньких ножках, с черепаховым пенсне на пуговицеобразном носу.

— Постричься и побриться,— произнес он, поправляя белый галстучек.

Дыркин, не поднимая головы, промычал:

— Пожалуйте-с.

Новый посетитель уселся на стул и, постукивая палочкой, произнес:

— Газет не имеется почитать?

— Нет, не имеется,— произнес Дыркин,— крестный календарь Гатцука, может, пожелаете?

Молодой человек с презрением отвернулся и стал ждать очереди.

Его очередь наступила, когда ударили к заутрене и в парикмахерской нестриженых и небритых уже не было.

Дыркин благочестиво вздохнул, поправил лампадку и стал брить молодого человека.

Он сбрил пух с румяных щек посетителя и взялся было за ножницы, чтобы приступить к стрижке.

— И усы тоже,— произнес посетитель.

— Сбрить? — удивленно переспросил Дыркин.

— Сбрить.

Дыркин покрыл мылом чуть сереющую верхнюю губу и, взявши молодого человека двумя пальцами за кончик носа, стал действовать бритвой.

— Зачем это вы, извиняйте за беспокойство, усы сбриваете? — спросил он, когда бритье было окончено и окутанный белой простыней молодой человек стал похож на вылупливающегося из яйца цыпленка.

— Действительно что,— продолжал Дыркин, принимаясь за стрижку,— в относительности касательно деликатности, оно требуется, ну, а только со стороны...

— А что же со стороны?

— А, извиняйте, сходство неприличное выходит.

— Какое сходство?

— Ну, вроде как бы, извиняйте, с обезьяной. То есть это я не с умыслом каким говорю, а так вообще, не желая обидеть.

— Я нисколько не обижаюсь,— произнес молодой человек,— потому что каждый человек натурально имеет сходство с обезьяной.

— Именно что! Уж и морды попадаются...

— Потому человек похож на обезьяну, что сам он от обезьяны произошел. Ты знаешь? Ведь все люди от обезьяны произошли.

— Потеха!— усмехнулся Дыркин.

— Нет, я не шучу. Я совершенно серьезно: и ты и я — все от обезьяны.

— То есть как же это?

— Очень просто. Наука признает, что была сначала клеточка, а из клеточки маленькие животные, а из маленьких животных обезьяна, а из обезьяны человек.

— Нет, это вы шутейно или всурьез?

— Конечно, серьезно. И ты и я — все от обезьяны.

— Н-ну, не знаю! Может, вы и от обезьяны, а только у меня, слава тебе господи, родители были.

— Так и родители ж от обезьяны.

Дыркин перестал стричь и посмотрел на голову собеседника. Бока ее уже были выстрижены. На макушке же оставался невыстриженный клок бурых волос, производящий впечатление распластавшейся на голове дохлой крысы.

— Нет, вы, господин, покорно прошу, родителей моих не касайтесь,— проговорил Дыркин, снова принимаясь за ножницы,— потому — я за упоминание родителей моих могу...

— Ты как же можешь против науки идти, ежели Дарвин доказал?

— Ну хорошо. Вот вы носитесь с обезьяной. А как же вы, например, в рассуждении Адама и Евы?

— Никакого Адама и Евы не было.

— Не было?

— Не было.

— Значит, весь народ через обезьяну?

— Через обезьяну.

— И православные?

— И православные.

— То есть ежели бы завтра не такой день, я бы тебе, жулику, показал обезьяну!

— Что ж ты, невежа, ругаешься! С тобой образованный человек говорит, а ты споришь. Как ты смеешь!

Дыркин положил ножницы на стол. У крысы на голове молодого человека он успел обрезать только одну сторону.

— Уходи прочь! — произнес он, трясясь всем телом.

— Как это?!

— Уходи, говорят тебе, пока цел!

— Послушай, как же так это? Ты же не достриг меня!

— Не стану я поганить ножницы об такую голову! Уходи!

Молодой человек побагровел, крыса на его макушке ощетинилась.

— Ты должен меня достричь! — завизжал он, ерзая на стуле.

— Я, брат, знаю, что я должен с этакими махометами делать, которые обезьяну да разную там математику проповедуют! Денег я с тебя уж не возьму,— продолжал он, укладывая свои инструменты,— пущай мой труд пропадет.

Молодой человек вскочил на ноги.

— Я полицию позову! — закричал он, хватаясь за шляпу.

— Позови, позови! — ворчал Дыркин.— Я, брат, знаю, что полиция с такими мазуриками делает!

— То есть ты это все за то, что человек от обезьяны?

— А ты поговори у меня про обезьяну, поговори!

— И буду говорить, потому что наука доказывает, что человек от обезьяны, а ты, невежа, не поним...

Дыркин схватил его за шиворот, сделал движение коленкой, и не успел посетитель вскрикнуть, как дверь парикмахерской захлопнулась за ним.

— Чертов обезьянщик, прости господи! — проворчал Дыркин, запирая дверь изнутри на крючок.

Молодой человек поднялся на ноги, пощупал невыстриженное место на голове и стал стучаться в дверь.

— Можешь,— отвечал Дыркин, подметая комнату.

— Эй, послушай,— кричал молодой человек,— ведь это же черт знает что! Как же я теперь на праздниках буду?

— Для обезьянщиков светлого праздника не полагается,— отвечал Дыркин.

— Но ведь у меня визиты, неловко...

— Ловок будешь.

— Нет, ты скажи, ты серьезно не намерен достричь?.. Серьезно, да? Но, голубчик, я ведь пошутил,— взмолился он наконец,— человек из земли сотворен.

— Знаем мы вас,— отвечал ему Дыркин.

— Ну, ей-богу,— из земли!.. Я пошутил.

— Врешь, врешь...

— Да верно же, голубчик, достриги.

— А перекрестись, когда не врешь,— произнес Дыркин, подходя к двери.

Молодой человек принялся креститься.

— Нет, ты с поклонами, до земли и чтобы на церковь.

Молодой человек быстро осмотрелся по сторонам и начал бить поклоны.

Дыркин молча впустил его и молча достриг. Злополучный дарвинист расплатился и направился к выходу.

— Так знай же,— закричал он, останавливаясь на пороге,— знай, подлец, что человек от обезьяны произошел!

Дыркин побледнел и бросился за ним, но дарвинист был уже далеко. В темноте слышно было только частое шлепанье ног убегающего.

<1902>

СВАТАНЬЕ

(Набросок с натуры)

Прослужил Явтух Нечипоренко пять лет богу и государю в Колыванском полку и пришел в свой родной хутор Козинку. А Козинку так занесло снегом, что только и видно, как дым из труб идет, да слышно, как собаки лают.

Вошел Явтух в улицу — никого не видно. Прошел дальше. Вышло что-то из одного двора с ведрами на плечах да и ползет к колодцу, навстречу Явтуху. Смотрит на него Явтух и не может сказать, человек ли то ползет или баба: на ногах шаровары, а на голове платок. Подошел ближе, из-под платка борода видна: человек. Смотрит на него человек, а Явтух на человека смотрит.

Смотрел, смотрел, да как вскрикнет:

— Тю, брат ты мой! Да ведь это же дядько Буряк! А я, признаться, думал, что это так себе, тетка какая-нибудь!

Узнал и дядько Буряк Явтуха и тоже радостно вскрикнул:

— Тю! Да ведь это же Явтух и есть.

Поцеловались Буряк и Явтух и пошли к Буряку в хату. Тетка Бурячиха стала печь перепички да жарить сало, а дядько принес сороковку. Выпили все по чарке, только обнесли было трехлетнего Юхимка. Но Юхимок сейчас же затянул:

— И мени, мамо, водочки.

Поднесли и Юхимке, только не полную чарку.

Послал Явтух и от себя за сороковкой. Выпили и ту, а Юхимок — ну и забавное хлопья — добрался до чарки, из которой пили, и вылизал ее языком.

За перепичками да за сороковками рассказали Явтуху все хуторские новости. Ивана-вора уже нет: хуторяне покрутили ему руки и ноги, а он взял да на другой день и умер. Роман Зима стал Библию читать, но с ума покамест еще не сошел, так полагают, что через год, пожалуй, должен сойти.

Словом, было рассказано все, что произошло важного в хуторе за последние пять лет.

Захотел потом Явтух пойти посмотреть на свою родную хату, которую он покидал одинокою, когда шел на службу. Пошли с Буряком. Подошли к хате, хотели войти, а двери нет, под снегом. Только и не занесло снегом единственное окно на улицу, только оно одно и выглядывает из-под снега. Но за такую нескромность у него давно выбиты стекла. Посмотрел на свою хату Явтух, послушал, как поет ветер в ее разбитом окне, и не мог разобрать, что выражает эта песня: тоску ли одиночества или радость свиданья.

Не разобрал Явтух песни ветра и перетолковал ее по-своему. Перетолковал, будто ветер спрашивает его, где он будет зиму зимовать. А перетолковавши так песню, задумался Явтух и не знал, что ответить на нее. Подумал было ответить: «в своей хате» — так ветер, видно угадавши его мысли, сейчас же сердито запел, что не пустит его туда. А кроме хаты, что же еще есть у Явтуха? Казенная шинель? Но она так же греет, как и хата, потому что за долговременную службу награждена такими же отверстиями, как и разбитое окно хаты. Есть, правда, у него и деньги, да только половину их он уже истратил на распитую у Буряка сороковку.

Не справилась голова Явтуха с вопросом ветра. Спросил Явтух Буряка. И Буряк задумался. Стали думать в две головы. Думали, думали и надумали только одно: Буряк вспомнил, что Игнатенку работник нужен, а Явтух решил сейчас же сходить к Игнатенку и попроситься в работники.

Оказалось, действительно так. Работник точно нужен, да только чтобы не один, а с женой, с работницей. А где же Явтуху жену взять, когда он не женат! Пришел он к Буряку и стал говорить, что один он, действительно, может стараться, сколько требуется хозяину, а чтобы это, например, вдвоем, то он никак не может, потому что он один.

Опять стали думать. Подумавши, почесал Буряк за левым ухом да и говорит:

— Разве уж такую штуку устроить: жениться тебе, чтобы было вас двое!

Явтух обрадовался находчивости дядька Буряка, и стали теперь думать, как бы это умудриться, чтобы жениться по этому случаю.

Конечно, для такого дела, как сватанье, нужно и человека в старосты найти подходящего, такого, чтобы

умел слово сказать. Нужно попросить старостою Ивана Котенка. Оно, положим, и дядько Буряк тоже может слово сказать, только далеко ему до Котенка! Тот, например, когда приедет на мельницу и станет рассказывать мужикам, где находится конец света и что обозначает собою слово «кругообзор», то так расскажет, что ему за это без очереди всю муку смелют и еще мешки на воз навалят.

Котенко даже говорить может разными французскими словами, как паны. Например, когда он не согласен с тем, что вы ему говорите, то не скажет вам, что это не так, а посмотрит вниз, поднимет большой палец вверх и скажет:

— Вот ты мне задал политику, а я теперь тебе критику.

И потом уже начинает говорить. Образованный человек! Порядок у него в доме тоже такой, какого нет ни у кого в хуторе. Когда вы, например, обедаете у него и, поевши борщ, сидите в ожидании каши, то уж кладите ложку вверх дном, как полагается по приличию, а не вниз. Иначе он так пристыдит вас за ваше невежество, что вы покраснеете, как перевернутая вами ложка. Жену свою он никогда не называет по-мужицки: Гапка. А всегда: жена моя Агафия. Чтобы уж точно было.

А если вам желательно, чтобы по вашей спине походила его вербовая палочка, которую он один месяц выбирал в роще, а другой вырезывал да украшал резьбой, если вам желательно откушать этой палочки, то встретьте его, когда он идет куда-нибудь по важному делу, и, вместо того чтобы, согласно его правилам, сказать: «где идете?», спросите: «куда идете, дядько?»

За это «кудыканье» он не пощадит ни вашей честности, ни образованности.

Одел Явтух новый кожух дядька Буряка, и пошли они к Котенку. Тот поздоровался с Явтухом и начал расспрашивать у него про военную службу: как и что. Высказал при этом и свои соображения касательно того, почему теперь всех служить заставляют: англичанка супротив нашей земли подымается и подбивает на это еще французского, американского и разных прочих королей. Буряк поопасался было по этому случаю, что, дескать, как бы в самом деле не напакостила чего каторжная баба, эта англичанка. Но Котенко успокоил его, объяснивши,

что за нас теперь уже держат руку Китай и Померанская империя.

Поговоривши насчет политики, Буряк начал разъяснять, зачем они пришли. Так и так, мол, идем свататься, так нужно переднего человека, потому что, как гуси без гусачка впереди или, к примеру, стадо без барана, так и сваты без хорошего свата. Потому что все дело тут в хороших словах и лестном рассуждении.

Котенко подумал, согласился и затем стал объяснять присутствующим, что такое брак:

— Брак есть великое дело. До такой степени великое, что всякий деликатный человек должен обязательно быть женатым. И который ежели человек не женат, такой человек не есть фундаментальный, а наоборот даже, как немец или идолопоклонник.

Объяснивши, что такое брак и почему, Котенко сказал:

— Ну а теперь можно идти свататься.

Вышли сваты и жених из хаты, остановились среди улицы, и Котенко произнес;

— Теперь, любезный мой сват, товарищ Грыцько Прохорович, и ты, молодой князь Явтух Микифорович, теперь мы, как, может, и вам известно, вышли из хаты. А по этому случаю я вам делаю запрос: куда будем идти, то есть в какую, например, хату, и также вообще, кого будет сватать, какую, приблизительно, девицу? Ответствуйте.

Буряк посмотрел на Явтуха, а Явтух на Буряка — не знают.

— Значит, не имеете на предмете? — сказал Котенко.— При таком поведении начнем мы с крайней хаты и таким примером будем идти по тем хатам, где состоит девка. В которой хате нашу хлеб-соль примут, там будет наша княгиня.

Одобрили Буряк и Явтух речь главного свата и пошли к первой хате.

Остановились перед дверью, и говорит Котенко:

— Теперь я буду стучаться и ответа дожидать.

— Значит, сигнал подавать,— говорит Явтух.

— По-военному это сигнал обозначается,— поправляет его Котенко,— а по-свадебному говорится: «предлог делать».

Постучался Котенко, а в хате спросили:

— Кто там?

Котенко поправил шапку, перевязал пояс и отвечал:

— Купцы из иностранной заграницы. Едем с знаменитым князем за дорогоценною покупкой. Проехали разные отечества и приехали в ваш город-палестину.

Впустили сватов в хату. Котенко начал объяснять, какая покупка требуется, и просил показать эту самую покупку.

— Какая ж это покупка? — спрашивают.

— А покупка эта есть ваша девица, которая прозывается Мария.

— А Марьи ж нашей нет,— отвечают,— в хате нет. На улице гуляет.

— Видишь,— сказал Котенко,— что дело это не подходит, потому что нам скоро требуется. Идемте, купцы, дальше.

Подошли сваты с князем к другой хате, где жила Хивря с дочкой, и опять дядько Котенко стал в дверь предлог делать. За дверью спросили:

— Кто там?

Котенко отвечал:

— Купцы из иностранной заграницы. Едем с знаменитым князем за дорогоценною покупкою, проехали разные отечества...

Впустили в хату знаменитых купцов из-за границы, и Котенко продолжал:

— Теперь мы вошли в вашу заграницу и, собственноручно обсмотревши ее, нашли то, что требуется для нашего знаменитого князя.

А Хивря посмотрела на Явтуха да и говорит:

— Это ж тот самый знаменитый князь, что все хуторскую череду пас?

Неловко стало Явтуху от таких слов Хиври. Но Котенко поднял палец кверху и отвечал:

— Это бывает, действительно, что князь и даже именитые короли для удовольствия одеваются в пастушескую одежду.

А Хивря опять посмотрела на Явтуха и опять говорит:

— Значит, ваш князь тоже для удовольствия чужой кожух надел? — Сказала и давай смеяться.

Дядько Котенко помолчал, пока она пересмеялась, и сказал:

— Значит, теперь мы видим, что на нашу политику в этой хате отвечают критикой, а потому обратно берем

свой хлеб назад и законным способом идем в другую хату. И с тем извиняйте — до свидания.

Сваты с князем пошли из хаты, а Хивря сказала им вслед:

— Не прогневайтесь, добрые люди, что в нашей хате ноги поморозили.

Пошли сваты к третьей хате, опять остановились у двери.

— Теперь мы будем делать третий предлог,— сказал Котенко и застучал в дверь. Опять пошел разговор о купцах и князе. Но тут уж, впустивши в хату сватов, не перебивали их, пока Котенко не довел речь до конца. Кончил он речь и говорит:

— Теперь мы вам будем вопрос задавать, а вы нам будете обратно ответ возвращать, будет ли согласие на то, чтобы девица ваша, именуемая по-уличному Горпина, а по святцам Агрипиния, стала именитой княгиней?

Тут отец с матерью на дочку сослались, а дочка стала у печки и стала ее пальцем колупать — согласна.

На другой день утром Явтух увидел, что у Горпины на левом глазу бельмо. Он почесал за ухом и спросил:

— А другим глазом видишь?

Горпина ответила:

— Вижу. Я и левым раньше видела.

— Живет,— сказал Явтух и пошел к Игнатенку наниматься вдвоем.

Через неделю дядько Котенко стоял на дворе у Игнатенка и говорил Явтуху:

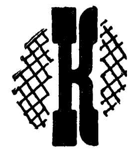
— Теперь ты, Явтух, как, может, и самому тебе известно, женат. Потому ты женат, что брак великое дело. И по такому случаю ты теперь уже деликатный человек своего отечества. Старайся.

Явтух снял шапку, низко поклонился и сказал:

— Спасибо же вам, дядюшка, что за ваши хорошие слова стало нас двое. Дай вам бог здоровьячка.

<1902>

НА ИЗВОЗЧИКЕ



уранты проиграли полночь. Уныло гудят фонари, обливая бледным светом электричества уснувшую улицу Петербургской стороны. Сонно сыплется снег на дремлющих у ворот дворников и на темные силуэты стоящих у тротуаров извозчиков. Тишина время от времени нарушается скрипом извозчичьих саней.

Важно шествует по тротуару одинокая фигура в николаевке, с седыми баками, с сердитым взглядом утонувших под седыми бровями глаз. Неизвестно, откуда появилась она на тротуаре. Вероятно, вынырнула из глубины николаевских времен.

Фигура останавливается подле дремлющего извозчика, некоторое время думает и наконец сердито ворчит:

— Извозчик!

— Куда прикажете? — спрашивает, клюя носом и дергая во сне вожжами, сидящий на козлах парень без бороды.

— Малая Итальянская! — еще суровее отвечает шинель.

— Полтора рублика,— отвечает парень, не думая.

— Дурак! — отвечает шинель, подумавши, и идет дальше.

Извозчик наконец просыпается, поднимает съехавшую на глаза громадную шапку и отчаянно кричит вслед удаляющейся шинели:

— За полтинничек извольте!.. Сколько пожалуете?

— Четвертак,— ворчит шинель.

— Пожалуйте, садись, ваше сиятельство!.. Ах ты, господи!..— кричит он суетливо, подъезжая к остановившейся шинели.— Пожалуйте!.. Ух, прокачу!.. Куда прикажете?

— Сказано — Малая Итальянская! Дурак!

— Понял. Сию минуту доставлю, ваше сиятельство! Эй, ты, животная! — кричит он, принимаясь стегать свою клячу. Кляча пускается вскачь. А удары все сыплются, пока кляча не начинает бить задними ногами. Парень бросает погонять.

— Видали? — обращается он к седоку.

— Что?

— А вот это самое, сколько я ей кнутов всыпал?.. А вот в энтом самом доме царь Петр жил,— вдруг переменяет он разговор, поравнявшись с домиком Петра Великого.— Домик хороший: можно разные вещи видать, молебен отслужить и все, что душе пожелается.

— Что ты, болван, учишь меня! — рычит шинель.— Я, может, каждый день столько забываю, сколько ты знаешь! Вот еще, право, дубина!

— Правильно! — одобрительно мотает извозчик головой.— А вот я больше на всякий случай, потому которые ежели приезжие, то понятия не имеют, разъяснять приходится что к чему, например... — Парень опять начинает хлестать лошадь и, оборачиваясь к седоку, спрашивает:

— Значит, видали, говорите?

— Да что, дурак, видали-то?

— А вот сколько я ей, животине, всыпал?

— Я те всыплю!

— Значит, видали. Ну так вот! А все почему? Потому больше, что никак с ней, ховрей, невозможно иначе: дохлая она, а я этого не люблю! Сколько разов говорил я хозяину: хозяин, говорю, выдайте мне такую лошадь, чтобы ежели, например, нажать ее, так, одно слово, куды сани, куды седок! И чтоб сам я тоже вверх тормашками!.. Ну, только нет к моим словам внимания, и через это самое выпивать я стал... А допрежь этого я в рот не брал. В праздник это в деревне ребята в кабак, а я с нею! Скажет: Хиноша, не ходи — сижу дома! Подле нее все! Она смеется, и я смеюсь. Она песню запоет, и я то же самое пою. Это вот, что у меня под шапкой рассечка, так это все она мне!

— Да что ты такое, скот, порешь? Выходит, по-твоему, что лошадь и смеется и разговаривает! Вот еще дурак-то! Право, дурак!

— Да я, ваше сиятельство, об ей больше, а не об лошади.

— Да о ком это, о ней? Толком ты должен объяснить.

— А об Дуняшке.

— Какая Дуняшка?

— А известно, Дуняшка... Ка-ак, она меня ножом по башке! А уж я, как упал, то на четвереньках из избы вылез... Пра-вва-а! Ты, черепаха горбатая, — кричит он обгонявшему извозчику,— хочешь наперегонки? Ку-уда

там тебе!— безнадежно машет он рукою на оставленного позади извозчика.— Не связывайся лучше уж!

— Дуняшка-то жена тебе, что ли? — ворчит шинель.

— Да как же не жена?! Как может быть не жена, ежели через год после венца!

— Так за что же она ножом тебя ударила?

— А вот за это самое... Пока я прошлой зимой в Питере жил, у них с Петрухой сходство вышло, а я ей опротивел... Ах, волк те заешь! — кричит он сквозь слезы на лошадь, принимаясь хлестать ее.— Истерзала ты меня, окаянная!.. Какая же это, ваше сиятельство, лошадь, ежели она ногами на манер свиньи действует: враздробь! Ах, сокрушила ты меня! Ирод собачий!

Парень усмехается и мечтательно добавляет:

— Она меня летом только и звала, что иродом собачьим, а больше никак. «Жри, говорит, ирод собачий!..» Ну и ничего... А уж после того, как поел я, со мною рвота: мышьяк там оказался. На спас преображение это дело вышло.

— Отравить она тебя хотела?

— Зачем отравить, ежели баба Иваниха молоком меня отпоила!

— Тьфу ты, дурак! — кипятился седок.— Вот и выходит, что покушалась она отравить тебя! В суд ты должен предъявить это дело! Понимаешь? Невежи вы деревенские!

— Одно слово, ваше сиятельство, свиньи необразованные,— дополняет извозчик.— Без всякого, надо говорить, понятия.

— Да что ты, черт тебя бери, философствуешь? Ты рассказывай все по порядку.

— Порядку, ваше сиятельство, никакого нетути. А почему? Через мысли! Задумался, и через это в хозяйстве беспорядок один! А уж на конец того я на неделю без вести пропал, скрылся, одно слово, а где — неизвестно! Удивительное дело!

— Да рассказывай сначала! Что ты по-воробьиному прыгаешь!

— А сначала ничего и не было... Не хотелось только, ваше сиятельство, в Питер мне уезжать. Собрал это все, как полагается, имущество, рубахи тоже. Ну только, как гляну, что она середь избы стоит и платок, что я купил, на плечах,— сейчас это туман в глаза и слеза по щекам... одно слово, нету моей возможности уйтить!.. Потеха!..

Ну, значит, я в Питер, а она с родителем с моим на деревне... Пожил это я в Питере зиму до лета, и по осени еще письмо мне она прислала, что родитель вроде как бы, одно слово, помер вообще... Темно в избе. Спичку зажег: спит Дуняха на земле.

— Где ж Дуняха, если ты в Питере был? Что ты, болван, путаешь?

— А уж о те поры весна была. По этому случаю я домой пришел. Зажег я спичку, а из-под шубы четыре ноги видать: две, выходит, в Петрухиных лаптях. По какому такому случаю, спрашиваю, например, лапти? Петрухины лапти под родителевой шубой!.. До Петровок после этого больной я лежал, потому — их двое, я один, и Дуняха ножом пырнула.

— Так что же ты, дубина, не судился? — кричит окончательно вышедший из себя седок.— Уголовное это дело — законному мужу в сообществе с любовником острым орудием удары наносить или не уголовное? Ну?

Извозчик виновато молчит и через минуту продолжает:

— Уж очень это желалось мне все глядеть на нее, когда я больной под навесом лежал. Ну, только не приходила... Ах ты ж, треклятая! — кричит он, принимаясь стегать клячу.— Уела ты меня, холера! А деньги я ей кажинный месяц посылаю, и гостинцы тоже — с земляками, случится, при письме.

— Так ты еще на неверную жену тратишься! Ах, дубина, дубина!

— Как есть! — соглашается извозчик.— Милая и любящая наша супруга (это я ей так пишу), во первых строках сего письма уведомляем вас о своем здоровье, чего и вам желаем, и посылаем вам пять рублей на видимые расходы. Остаюсь до приездного свидания любезный супруг ваш законный Хиноген Егоров Черячукин.

— Что же, она отвечает тебе?

— Не, она не пишет... Опять, дьявол, стала, волки тя заешь! Пропал я через тебя, дохлую, теперича! Слезно ведь просил хозяина: хозяин, говорю, дайте мне, как говорится, например, лошадь! Такую, чтобы дух захватывало. Потому на эту, прах ее побери, седок не идет! Ну, только нетути к моей слезной просьбе внимания, и через это пью. Вчера весь день в трактире просидел и никакой выручки, и в понедельник то же самое... А все через кого? Все через нее! Окончательно — через клячу!

— Эх, ваше сиятельство! Ежели бы такую лошадь, чтоб только ветер в голове шумел! Вдрызг чтобы разбиться! — крикнул он, опять принимаясь хлестать лошадь. Лошадь снова во весь дух помчалась по Литейному. Послышались тревожные свистки городовых, сонные дворники схватились на ноги.

— Засвистали, фараоны! — криво усмехается он, продолжая работать кнутом.— Сердце надрывается с такой убоиной, мысли в голову лезут.

Свистки продолжаются. На углу Литейного и Малой Итальянской два городовых и несколько дворников загораживают ему дорогу.

— Поймали и есть...— опускает он вожжи.— На такой лошади как не поймать! — безнадежно машет он рукой.

Городовые и дворники останавливают лошадь и с бранью окружают извозчика.

— В часть его, подлеца!! — грозно командует шинель, вылезая из саней.

— Обнаковенно в часть! — одобряет парень.— Прощения просим, ваше сиятельство! Садись уж, Фараон Иванович,— за компанию прокачу.

Городовой садится в его сани и едет в часть.

<1903>

ЧЕЛОВЕК



В маленьком городе статский советник Иван Петрович Промокатин был одним из самых больших чиновников. Понятно, что при таком положении человека было бы странно, если бы он ощущал недостаток в почете. При встрече с ним всякий обыватель почтительно кланялся и затем, смотря по положению, а также сообразно с собственной дерзновенностью, или вступал с Иваном Петровичем в приятный разговор, или молча шел дальше, сохраняя на лице бездну уважения и глубокомыслия.

К этому, безусловно, располагали и наружность, и поступки Ивана Петровича, и вообще обращение его с человеком. Уже при первом взгляде на Ивана Петровича вам прежде всего приходила мысль: вот человек, который не совершит поступка, не скажет слова, которое бы хоть на иоту, хоть на секунду понизило его достоинство. Если он, например, гневался, то, как бы сильно ни овладевало им это чувство, он не позволял себе не только неприличного жеста или слова, но даже слишком высокого тона. Он, как человек умный и тактичный, прекрасно понимал, что не криками и топаньем производится надлежащее впечатление, а именно олимпийским спокойствием при лаконичности выражений. То же и относительно веселого состояния духа: даже в минуты наивысшей аффектации Иван Петрович не забывал собственного достоинства, и если он веселился, то для всякого очевидно было, что это веселится именно статский советник. В женском обществе Иван Петрович держал себя так, что, несмотря на свои пять десятков лет, считался одним из самых интересных кавалеров и завидных женихов. Ежедневно, в восемь часов вечера, он отправлялся в местный клуб. Так как клуб этот был единственный в городе, то его посещало и все чиновничество и городское купечество. Впрочем, здесь каждый держался компании по себе, и пребывание в клубе не компрометировало высших, не стесняло низших. Во втором часу ночи Иван Петрович обыкновенно отходил ко сну, и если иногда, лежа в пос-

тели, он думал о собственной персоне и ее назначении в жизни, то думы эти были настолько приятного, убаюкивающего свойства, что Иван Петрович тотчас засыпал самым невинным, самым безмятежным сном.

Но, как известно, благополучие наше здесь, на земле, слишком непрочно и скоропреходяще. Давно уже лучшими умами подмечено, что никакие личные достоинства, никакие заслуги перед отечеством не страхуют нашего личного благополучия от различного рода случайностей и превратностей. Лучшим примером этого открытия великих умов может служить несчастье, настигшее Ивана Петровича, и настигшее именно с той стороны, откуда менее всего можно было ожидать его появления.

Началось это с совершеннейшего пустяка. Истинные трагедии в жизни обыкновенно так незаметно, с пустяков, и начинаются. Подойдет незаметно и коснется тебя своей злоносной рукой, так, чуть-чуть, еле ощутимо. Только досадливо мотнешь головой, словно бы тебе муха на нос села. Некоторый промежуток — и второе прикосновение, на этот раз более ощутимое. Опять досадливо мотнешь головой, но уже более сознательно. Новое прикосновение, уже более похожее на толчок. Ты с удивлением оглядываешься, а толчки начинают следовать один за другим, все учащаясь и усиливаясь. Удивление переходит в страдание, толчки — в удар, и страдания разрешаются воплями терзаемой души.

Так началась трагедия и Ивана Петровича. Первый зловещий толчок судьба поднесла ему в следующем виде. Возвращаясь в обычное время со службы, Иван Петрович встретил на улице клубного завсегдатая, вечно пьяного капитана Клюева. Уже издали Клюев улыбался Ивану Петровичу и всей своей развинченной фигурой выражал желание сообщить какую-то новость. Иван Петрович таки любил эти новости Клюева: немножко пикантные, немножко скандальные, они всегда приятно щекотали нервы.

— Ну, брат Промокатин, уж и история же вышла со мной вчера в клубе!— закричал Клюев, еще не дойдя на несколько шагов до Ивана Петровича. — Слышал? Не слышал! Лакею, брат, руку пожал и на винт пригласил! А главное-то, главное: об интимнейшем обстоятельстве у Натальи Павловны рассказал ему, идиоту!

— Да что ты! — захохотал Иван Петрович.

— А все через тебя, черт тебя подери!

— Я-то тут при чем? — удивился Иван Петрович.

— Представь себе, очень даже при чем! Видишь ли, в клуб-то я вчера попал после двенадцати, тебя уже не было. Ну, понимаешь ты, в картишки захотелось, просто в руках даже ревматический зуд. Партнеров, черт возьми! Полцарства за партнеров! Глядь — ты, моя радость, у двери стоишь сироткой этакой. Подбегаю: «Промокатин, друг верный, удалимся в зеленый луг». Обнял тебя, за стол тащу, сцену у Натальи Павловны рассказываю.

— Да ты что это, сон, что ли, рассказываешь? — перебил его Иван Петрович.

— Кой черт сон! Факт! Нет, ты слушай дальше! Интересное-то впереди... Только это смотрю, ты что-то ногами в притолоку упираешься и рыло в сторону. «Промокатин, говорю, что с тобой?» А ты: «Извините, ваше высокородие, я не господин Промокатин, я человек... Макар...» Ах, черт те подери!..

— Городишь ты что-то... — в недоумении проговорил Иван Петрович.

— Ничего не горожу, а оказывается, брат ты мой, я нового лакея, Макара-то этого самого, за тебя принял! Вот потеха-то!

— Пьян ты был слишком, — проговорил Иван Петрович, нахмурившись, — гостей с лакеями перепутал!..

— Кой черт пьян! У акцизного всего-навсего штуки по три пришлось, ну, в клубе раз-другой к буфету подошел: совершенно нормальное состояние!.. Да, кстати, инцидент у Натальи Павловны...

И Клюев стал сообщать какую-то пикантную новость относительно Натальи Павловны. В другое время Иван Петрович выслушал бы эту новость с большим интересом и хохотал бы над ней ровно столько, сколько прилично хохотать на улице статскому советнику. Но на этот раз он слушал Клюева невнимательно, а новость показалась ему совсем не забавной. Впрочем, придя домой и садясь за обед, он уже успел позабыть пьяный разговор Клюева и кушал в благодушном настроении. После обеда он взял номер «Московских ведомостей», выписываемых его канцелярией для чиновничества, лег на диван и, прочтя статью «Чудесное вразумение земского либерала», уснул тем мирным послеобеденным сном, которым может спать только человек, верой и правдой ежедневно отдающий пять часов на пользу отечества.

Вечером, в обычное время, он был уже в клубе. Первым, кого встретил здесь Иван Петрович, был капитан Клюев.

— Друг верный, — закричал он, шатающейся походкой направляясь к Ивану Петровичу, — а помнишь вчерашний-то случай со мной? Вот он, этот самый Макар! Хочешь взглянуть? Похож ведь, арестант. Это лакей-то и вдруг — на статского советника! Ну не морда ли!.. Нет, ты глянь!.. А хочешь, я эту морду разобью сейчас? Хочешь?

Иван Петрович резким движением отстранился от Клюева и отошел в сторону.

— Пьяная мельница! — проворчал он, весь побагровевши. — В лакее сходство с чиновником пятого класса нашел!.. Впрочем, что же можно спрашивать с грубого солдата? — постарался он успокоить себя.

Однако спокойствие не сразу пришло: брови долго еще хмурились, и долго не сходила багровая краска со щек. Только встретившись через полчаса с коллежским советником Благовидовым и разговорившись с ним относительно некоего секретного предписания, Иван Петрович забыл наконец неприятную встречу с Клюевым и пришел в хорошее расположение духа. Они сели за отдельный столик. Иван Петрович взял карточку кушаний, к ним подбежал лакей.

— Чего б это нам сегодня? — перевел Иван Петрович вопросительный взгляд с карточки на Благовидова.

Но тут он увидел на лице Благовидова какое-то странное выражение: брови удивленно поднялись, рот раскрылся, а глаза вопросительно перебегали с физиономии лакея на физиономию Ивана Петровича и обратно.

— Что это вы так... того?.. — спросил Иван Петрович, взглянувши в открытый рот Благовидова.

— Да так... как-то... этого... — смущенно пробормотал тот в объяснение своему открытому рту. — Лакей вот новый...

— А-а!..

Иван Петрович рассеянно взглянул на лакея. Точно: перед ними стоял новый лакей, но на физиономии у него Иван Петрович не прочел решительно никаких мотивов для того, чтобы так широко раскрывать рот.

— Как тебя звать? — спросил его Благовидов.

— Макаром, ваше высокородие!

Тут Иван Петрович опять вскинул глаза на лакея и

на этот раз чуть заметно отшатнулся назад. Карточка задрожала в его руках. Очевидно, в уме его произошли какие-то ассоциации. Иван Петрович покраснел и стал читать карточку вслух. Но глаза его как-то уж очень быстро бежали по карточке сверху вниз, губы успевали произносить только начальные буквы в названиях кушаний. Добежавши таким образом до самого низа карточки и прихвативши к кушаньям «типография» и «печатать дозволяется», Иван Петрович начал было таким же методом читать прейскурант еще снизу; но тут он опомнился, заказал себе первое попавшееся на глаза блюдо и передал карточку компаньону. Стали закусывать. Но беседа их, обыкновенно живая, на этот раз плохо клеилась. Иван Петрович украдкой взглядывал на лакея, а Благовидов тоже украдкой посматривал на обоих. Иван Петрович чувствовал себя прескверно. Пища с трудом разжевывалась и медленно шла в горло. Закусивши, он сел было за винт. А дурное расположение духа все не покидало его. Едва он успевал сосредоточиться на картах, как взгляд его падал на пробегающего мимо Макара, и он при трех тузах говорил «пас»...

Пробовал было Иван Петрович не поднимать глаз от карт. Но от этого выходило еще хуже: он чувствовал, как внутри его шептал чей-то дьявольский коварный голос: «Статский советник Промокатин, хочешь видеть похожего на себя лакея? Хочешь? Глянь вон туда, налево... глянь!..»

Иван Петрович напрягал все силы своей души, чтобы не послушаться этого голоса, и, имея на руках только пиковую тройку и четверку, говорил:

— Две пики!..

В конце концов он остался на большом шлеме без четырех и ушел из клуба раньше обыкновенного.

— Черт знает что такое! — ругался он, возвращаясь из клуба домой. — Какой-нибудь там лакей вдруг на тебя, на статского советника, похож. Безобразие!.. И главное — там, где ежедневно бывать приходится. Кажется, уже замечать даже начинают. Клюев этот... А Благовидов!.. Ведь это скандалом пахнет.. Но не может быть! Быть этого не может! «Человек» — и я! Что общего! Что, я вас спрашиваю, общего? — обратился Иван Петрович с вопросом к окружающей темноте.

Придя домой, он, кроме лампы, зажег две свечи перед зеркалом и долго рассматривал в зеркале собственную

физиономию. «Ничего человеческого, лакейского то есть!» Правда, некоторая неопределенность в чертах лица: слегка приплюснутый нос незаметно сливается со щеками; лоб, едва поднявшись над широкими бровями, робко съеживается в мелкие морщины и выгнутой линией быстро прячется в волоса. Но ведь, во-первых, Иван Петрович не министр, а во-вторых, если он — статский советник, то, значит, этот лоб вполне благоприобретен на пользу службы. Зато взгляд и общее выражение лица у Ивана Петровича вполне соответствуют его служебному положению. И Иван Петрович стал поочередно придавать своему лицу все те выражения, какие он обыкновенно придает ему на службе. При этом он внимательно следит за собою в зеркале. Вот он снимает пальто и бросает его на руку сторожа. Лицо у него в это время рассеянное, в глазах светится мысль о чем-то важном, далеком, и он не замечает ни сторожа, с молитвенным выражением на лице принимающего его пальто и калоши, ни юркого чиновника Двойкина, шмыгнувшего мимо него с низким поклоном и изобразившего своей съежившейся фигурой убегающую куропатку. Потом Иван Петрович взял перед зеркалом еще несколько употребительнейших выражений физиономии и тоже остался доволен. Особенно долго останавливался он на своей любимой позе — «в кабинете»: перед ним с бумагами в руках, с дрожью в поджилках — маленький чиновник, он что-то докладывает Ивану Петровичу. Но Иван Петрович с трудом замечает его: он весь ушел в бумаги... Но вот он быстро отвел свой взгляд от бумаг и вонзил его в чиновника, да так вонзил, что тот моментально начал и гореть и мерзнуть, точно его начали быстро перебрасывать из бани в пруд и обратно. Он силился что-то говорить, но слова его, едва вылетевши изо рта, умирают от ужаса, и редкое из них решается достигнуть начальнического уха.

— Что-с?.. — роняет Иван Петрович, впиваясь в бледное лицо чиновника.

Голос чиновника приобретает загробный тембр, а Иван Петрович уже опять весь ушел в бумаги и не подозревает о существовании на свете стоящего перед ним человека...

— Очень эффектно!

Правда, эти эффектные приемы были подражательны: Иван Петрович заимствовал их у столичного ревизора, заглянувшего к ним больше десятка лет тому назад.

Но, закрепленные десятилетней давностью, они приобрели теперь у Ивана Петровича в некотором роде наследственный характер.

Иван Петрович проделал перед зеркалом этот эффектный прием несколько раз.

— Хотел бы я видеть лакея, — сказал он наконец вслух, — у которого на лице можно было бы встретить хоть отдаленное подобие вот этому выражению!.. Хотел бы! — И он скептически рассмеялся. — Нет, батенька мой, шалишь! Тут, кроме происхождения и положения, требуется столько интеллигентности, столько самосознания, что... ого-го!

В конце концов Иван Петрович от души рассмеялся над тем, как это он мог придать значение пьяному бреду Клюева, да такое значение, что потом даже на лице Благовидова уловить какой-то намек и отравить себе вечер... Вот до чего может довести мнительность! Иван Петрович лег в постель и заснул обычным безмятежным сном. Весь следующий день на службе и дома он даже не вспомнил о вчерашнем инциденте и чувствовал себя прекрасно. В восемь часов он по обыкновению шел в клуб. На улицах стояла осенняя слякоть, редкие фонари бесследно тонули в туманной мгле. Иван Петрович шел медленно. Повернувши за угол, в улицу, которая вела к клубу, Иван Петрович увидел в нескольких шагах впереди себя три человеческих силуэта, о чем-то возбужденно разговаривающих. Иван Петрович узнал голоса своих подчиненных. Это были: Двойкин, тот самый Двойкин, который по утрам куропаткой пробегал мимо Ивана Петровича, Клоков, чиновник с тридцатилетней пряжкой в петлице, и робкий чиновник Куцов. Очевидно, они тоже шли в клуб. Больше всех волновался Двойкин; в голосе Клокова слышалась сдержанность и как будто даже тайная тревога. Куцов ограничивался только восклицаниями: не то он удивлялся, не то восторгался.

Сначала Иван Петрович не мог разобрать, о чем у них речь. Но вот его слуха коснулась собственная его фамилия; Иван Петрович инстинктивно ускорил шаги и пошел за своими чиновниками, соблюдая такую дистанцию, что разговор их слышен был от слова до слова.

— Понимаешь, Куцов, как две капли воды! — волновался Двойкин. — Одно слово, вылитый Промокатин!.. Цыкнешь: ну-ка, мол, Макар, бутылочку — закусочку там! И подбегает, понимаешь, сам Промокатин: «Слу-

шаю-с!» Прямо фокус! А главное — забавно: ты — нуль, будем говорить, а вдруг сел за стол, цыкнул — и сам Промокатин начинает тебе прислуживать!.. Любопытно, понимаешь.

— Ничего здесь любопытного,— наставительно перебил Двойкина Клоков, — потому действительно неловко, смущение чувствуешь... Меня без привычки весь вечер позывало на ноги вскочить и в струнку...

— Мнительность, — успокоил Двойкин. — А я так, понимаешь, вчера, как узнал это, что Промокатин уже ушел из клуба, сейчас же хватил для куражу и давай командовать: «Эй ты, промокашка этакая! Ну-ка, там... шевелись!..» И-и, старается. Потешно, понимаешь, выходит.

Иван Петрович почувствовал, как что-то тяжелое покатилось в нем от груди к ногам, и от этой тяжести ноги его потеряли способность двигаться. Он остановился.

— Что же это такое! — пробормотал он, ошеломленным взором провожая расплывающуюся в темноте группу своих подчиненных. Долго стоял он посреди улицы, не шевелясь. Наконец, придя в себя, повернул назад и медленно побрел домой. Дома он долго молча шагал по кабинету из угла в угол.

— Нет, это черт знает что такое! — выругался он наконец и сел было за бумаги.

Но дело не спорилось, в ушах все звенел только что подслушанный разговор. Иван Петрович бросил бумаги, зажег, как вчера, свечи перед зеркалом и долго рассматривал себя в различных позах и выражениях лица. На этот раз он не испытал вчерашнего удовольствия от самосозерцания и вообще ни к каким определенным выводам не пришел. «Надо будет завтра всмотреться хорошенько в этого Макара», — решил Иван Петрович и лег спать. Но спалось ему, против обыкновения, плохо. Всю ночь беспокойно переворачивался он с боку на бок и со следами бессонницы на лице объявился на другой день на службу. Сначала он почувствовал себя в присутствии чиновников до того неловко, что не мог поднять глаз. Но потом упрекнул себя в малодушии и взглянул: чиновники были олицетворенное уважение.

«У, канальи! — подумал Иван Петрович.— Почтительности-то сколько! А в душе-то, в душе? Хохочете, конечно, злорадствуете, мерзавцы! Погодите, я вам покажу, какой я такой для вас человек Макарка!»

Он не спеша прошел к себе и, предварительно поставивши перед собой Двойкина, принялся за дело. Никогда еще в жизни не приходилось Двойкину испытать таких бесчисленных, таких резких колебаний собственной температуры, как в этот день...

А Иван Петрович, вернувшись домой, почти не прикоснулся к обеду. Послеобеденный сон совсем не пришел к нему. До самого вечера Иван Петрович проходил из угла в угол. Когда в комнате смерклось, перед ним встал во всей своей щекотливости вопрос: идти в клуб или не идти? Пойти — значит стать мишенью насмешливых, злорадных взглядов, теперь, поди, уже весь город живет этой сплетней... Ведь для этих мерзавцев Двойкиных ничего нет святого — раззвонили уже... Места себе в клубе не найдешь. Хоть сквозь землю!.. Нет, ни за что! Но вслед за таким решением на Ивана Петровича находило раздумье: не пойти — значит прямо открыть карты, показать всем, что Иван Петрович сам признал это подлое сходство и теперь стыдится показаться рядом со своим двойником лакеем. Нет, долой малодушие! Иван Петрович решил идти и не подавать виду, а исподтишка, незаметным образом присмотреться к этому мерзавцу Макарке, сличить его с собой. Быть не может! И Иван Петрович пошел. Входя в клуб, он постарался принять самый беззаботный вид. Здороваясь со знакомыми, он до ушей улыбался, пробовал острить и хохотал так громко, как никогда. Только глаза что-то не смеялись, и он украдкой, подозрительно всматривался ими в окружающие лица. Но ничего особенного. Все знакомые и смотрят на него и говорят с ним, по-видимому, без всякой задней мысли. Иван Петрович мало-помалу успокоился и часам к десяти почувствовал в себе настолько храбрости, что решил наконец приступить к проверке основательности всех этих возмутительных толков. Он выбрал самый отдаленный столик под зеркалом и уселся за него так, чтобы ему в зеркале одновременно видно было и себя и подходящего лакея. Осмотревшись по сторонам, не следят ли, он дрожащим пальцем поманил к себе Макара. Тот подбежал и почтительно наклонился. Иван Петрович тревожным взглядом жадно впился в две отразившиеся в зеркале физиономии... и похолодел... Сходство было столь несомненно, что если бы у Ивана Петровича не было столько ужаса на лице, то он так и не отличил бы в зеркале собственной физиономии от Макаровой... Ког-

да он через минуту пришел в себя, то ему показалось, что весь клуб теперь смотрит на него и на Макара, смотрит и хохочет. И, не решаясь поднять глаза, Иван Петрович схватил трясущимися руками карточку и углубился в ее чтение. Но там он ничего не видел. Наконец он ткнул пальцем в «крем».

Макар удивленно нагнулся к карточке:

— Что-с?

— Крем!.. — трагическим голосом прочитал Иван Петрович.

— Больше ничего-с?

— Больше ничего... — ответил Иван Петрович и сам испугался своего замогильного голоса.

Удивленный Макар отправился за кремом. Но Иван Петрович успел прийти в себя раньше, чем тот возвратился. Он с трудом поднялся из-за стола, вышел из клуба и, шатаясь, побрел домой.

— Боже мой, что ж это такое?.. — шептал он дорогой. — Да как это так?.. Боже мой, за что же?..

Придя домой, он повалился на диван и до самого утра пролежал с открытыми глазами. Теперь лежал он, как пласт, не шевелясь и только тяжело вздыхая, точно всего его придавило что-то тяжелое, и он не пытался даже вырваться из-под этого гнета. Он все думал, думал... А поутру в его душе, истомленной тяжкой думой и бессонной ночью, стояло только смутное сознание, что на него, на Ивана Петровича Промокатина, налетело что-то до невероятия страшное, до невероятия неожиданное.

— Нет, не может этого быть! — твердил Иван Петрович весь следующий день.— Тут какое-то недоразумение.

И чувствовал он мучительное желание поскорее разрешить это недоразумение. Вечером он гораздо раньше обыкновенного сидел уже в клубе, в отдаленном углу, и, не отрывая от Макара горящего взгляда, изучал его во всех позах и выражениях лица. Придя домой, он под свежим впечатлением подошел к зеркалу и начал придавать своей физиономии все те выражения, которые так успокоили его перед этим же зеркалом три дня тому назад. Иван Петрович прежде всего сделал то мечтательное лицо, которое он делает, отдавая пальто сторожу. Сделал, глянул в зеркало и вздрогнул: такое же точно лицо бывает у Макара, когда тот в свободную минуту подпирает притолоку и рассеянно смотрит — вероятно, тоже мечтает...

Иван Петрович попробовал сделать серьезное лицо, которое бывает у него при погружении в самые ответственные занятия: рапорт, доклады... Глянул в зеркало...

— Ну, вот, вот! — вырвался у него отчаянный вопль. С такой точно миной он, мерзавец, подает на стол более привилегированным гостям...

Иван Петрович решил испить чашу до дна и стал любезно улыбаться в зеркало. Но этот последний опыт оказался еще горше прежних: сходство тут было до того поразительное, что сраженный им Иван Петрович опустился на первый попавшийся стул.

— Макарка, подлец! — простонал Иван Петрович, бледный, встал и, шатаясь, отошел от зеркала. Он, не раздеваясь, лег в постель и всю ночь простонал. А когда на рассвете заснул, то ему приснилось, будто Двойкин, Куцов и все чиновники сидят в клубе за столом, а он, Иван Петрович, стоит перед ними в качестве Макарки.

«Эй ты, промокашка, — кричит будто на него Двойкин. — Ну-ка, бегом, марш!» Все чиновники хохочут, Иван Петрович тоже почтительно улыбается. Только Клоков неодобрительно качает головой. А Двойкин все командует им, и Иван Петрович до того старается, что пот льет с него градом... Наконец он проснулся и увидел, что действительно весь в поту.

Теперь для Ивана Петровича настали дни, которые состарили его на несколько лет. По-видимому, никакой катастрофы не произошло. Правда, он перестал ходить в клуб, но во всем остальном жизнь его с внешней стороны текла по-прежнему, в те же часы уходил он на службу и в те же приходил домой. Но Иван Петрович чувствовал, что из-под ног его кем-то выбит базис и он, потерявши точку опоры, повергся в прах...

Так прошло около недели. Однажды, возвращаясь со службы, Иван Петрович увидел идущего навстречу Клюева. Как и в тот зловещий день, он уже издали жестикулировал руками и что-то говорил.

— Промокатин, друг нежный, ах, черт бы тебя!.. — кричал он, беря его под руку. — Ты что ж это нигде не показываешься? Из-за тебя Наталья Павловна вчера мне ультиматум поставила: или доставить тебя наконец, или самому забыть ее адрес. Нет, уж это — благодарю, не ожидал! Опять через тебя, черт те побери! «Я, говорит, соскучилась по нем».

На умирающую душу Ивана Петровича пахнуло чем-то теплым, оживляющим.

— Зачем это я понадобился Наталье Павловне? — спросил он недоверчиво.

Клюев посмотрел на него сбоку и ответил:

— Ну ты, брат, это брось, наивничанье, потому что, во-первых, я этого не люблю, а во-вторых, не из твоей рожи институты благородных девиц кроить. Тоже... гусь!

Само собою разумеется, что это отчитывание Клюева Иван Петрович принял за самый тонкий комплимент. Встреча с Клюевым имела на него положительно воскрешающее влияние: во-первых, для него до некоторой степени было сюрпризом сообщение об отношениях к нему Натальи Павловны; во-вторых, если говорит об этом Клюев — значит, говорит весь город,— лестно! А главное, главное-то в том, что Клюев, даже сам Клюев, — ни слова о постигшем Ивана Петровича несчастье, значит, в городе об этом ничего не знают, и все эти ужасы — плод перепуганного воображения самого же Ивана Петровича. Нет, так опускаться нельзя! Надо освежиться, сегодня же вечером навестить Наталью Павловну. Очевидно, дело с физиономией Ивана Петровича обстоит гораздо лучше, чем он вообразил, если даже такая тонкая женщина, как Наталья Павловна, не только ничего не заметила, но даже выделила его из целого города прочих поклонников. Через час он, блестящий, выбритый, надушенный, входил в гостиную Натальи Павловны. Уж как он входил, как подошел к ручке, какие чары женского кокетства пускала она в ход, слегка покачиваясь в качалке, и какие словесные пули отливал Иван Петрович, следя за нею своими плавающими в масле глазками, — всего этого нельзя изобразить словами. А музыкой можно.

— Да! — вспомнила вдруг Наталья Павловна, отнимая руку, протянутую было к губам Ивана Петровича. — Это что же за гарунальрашидство такое?

И Наталья Павловна неудержимо захохотала. Иван Петрович недоумевающе смотрел на нее.

— Послушайте, — заговорила она сквозь смех, — для чего же это вам понадобилось?

— То есть... что собственно?

— Да маскарад этот? Вот уж от вашей солидности никак не ожидала подобных эксцентричностей: маскарад среди бела дня на улице!

— Маскарад? — переспросил Иван Петрович. — Какой то есть маскарад?

— А сегодняшний, поутру... Скажите пожалуйста! Он удивленные глаза делает!

И Наталья Павловна опять разразилась неудержимым смехом.

— Все это, конечно, очень забавно,— продолжала она, — и, может быть, для служебных ваших целей так и нужно, но согласитесь, голубчик, слишком уж наивно! Ведь вас положительно все узнали!.. Надел человек какое-то выцветшее пальто с актерского плеча, лакейский красный галстук, жокейскую шапку и вообразил, что он замаскирован до неузнаваемости! Это среди бела дня-то... на улице!

Иван Петрович вытянул шею и смотрел на хохочущую Наталью Павловну такими точно глазами, какими маленькие дети смотрят на няню, рассказывающую ужасную сказку.

— Что-с? — прошептал он, чуть шевеля побледневшими губами.

— Ну, ну, пожалуйста, не стройте невинность! Ваше лицо слишком характерно для того, чтобы с ним разыгрывать Гарун-аль-Рашида среди бела дня!.. Ну-с, а потом — кто эта таинственная незнакомка в ситцевом платочке, с которой вы под ручку исчезли в воротах клуба?

— Что-с? — еще тише прошептал Иван Петрович с застывшим на лице выражением ужаса.

— Кто она такая? Что все это значит? — продолжала пытать Наталья Павловна.

Иван Петрович почувствовал, как у него в груди что-то повернулось, точно расплавилась какая-то пружина; расплавилась и одним своим концом прижала его ноги к полу, а другим — язык к гортани. Как ни допрашивала его Наталья Павловна, он уже ничего не говорил ей, только смотрел на нее широко открытыми глазами и отирал с лица холодный пот. Наконец он медленно поднялся со стула и, с усилием волоча ноги, направился в прихожую. На все удивленные возгласы Натальи Павловны он отвечал только коротким вопросом:

— Что-с?

Иван Петрович смутно помнит, как он вышел от Натальи Павловны и как дошел домой. А придя домой, он повалился на постель лицом к стене и лежал день, другой, без стона, без определенных мыслей и чувств. Он

чувствовал только, что то здание, которое построено было на его личности как краеугольном камне и которое он называл жизнью, — что это здание теперь рушится. Подошло что-то страшное, дунуло в этот камень, камень рассыпался, и все рухнуло в пропасть, откуда уже не подняться... На другой день Ивана Петровича посетил доктор. Он нашел нервное потрясение. Но от каких причин, этого не мог установить, так как на все его расспросы Иван Петрович не отвечал ни слова. Доктор ограничился только общим советом: не волноваться.

Вслед за доктором стали посещать больного и хорошие знакомые с расспросами и соболезнованиями. Но Иван Петрович лежал лицом к стене и молчал: он ждал теперь смерти и решил унести тайну с собою в могилу. Там, за гробом, все разрешится. Даже на расспросы своего ближайшего друга Благовидова он не отвечал ни слова. По счастью, Благовидов был не такой человек, чтобы отступиться при первой неудаче и оставить друга на погибель. В свое время он обучался в семинарии, и теперь, призвавши все ухищрения элоквенции, он начал:

— Должен ли я говорить вам, Иван Петрович, о том глубоком уважении, которым преисполнен я по отношению к вашим душевным качествам и общественным заслугам? Должен ли?

Иван Петрович ничего не отвечал, а друг продолжал:

— Нет, не должен, ибо мои теплые чувства к вам сами за себя говорят, и вы, дорогой Иван Петрович, прекрасно знаете их. Это дает мне право поговорить с вами по душе о некоторых странных и даже, по-видимому, обидных явлениях природы. Действительно, в природе вообще и в человеческой в частности бывают иногда удивительные совпадения и сходства. Игра природы подчас достигает, можно сказать, невыразимой виртуозности. Мы не говорим уже о земных подобиях. Но даже плывущие вдали и скоропреходящие облака сплошь и кряду принимают очертания земных существ, как-то: льва, кота, пса, орла, коровы, зайца и тому подобное. Что же удивительного, ежели два человека, хотя бы по уму и заслугам далекие один от другого, но происходящие от одного общего нашего родоначальника, одной религии и национальности, возымеют некоторое внешнее сходство? Удивительно ли это?

Иван Петрович молчал.

— Никак не удивительно, — продолжал Благовидов. — Почему так — это явствует из вышесказанного. Унизительно ли это? Тем более нет. Почему? Это увидим из нижеследующего. Перестает ли живое существо быть или по крайней мере называться таковым оттого лишь, что в некоторый момент скоропреходящее облако возымело очертание его фигуры? Нимало! Теряет ли оно от этого хоть на одну иоту в своем достоинстве? Теряет ли?

Иван Петрович все молчал.

— Нет, не теряет, — отвечал оратор. — Потому что, как бы ни велико было сходство, невозможно сказать: этот заяц походит на облако, но всегда наоборот — облако походит на зайца. Вот почему, если бы, допустим, человек, стоящий на высоких ступенях иерархической лестницы, увидел там, внизу, похожего на себя по очертаниям лица другого человека, — он нимало не должен огорчаться. Не высший похож на низшего, а наоборот: природа в низших своих произведениях старается подражать более совершенным образцам, и в этом залог всяческого прогресса.

Иван Петрович слушал, слушал и медленно повернулся лицом от стенки, хотя глаза продолжал держать закрытыми. А Благовидов продолжал:

— Теперь взять самую степень подобия. Как и вам, дорогой просвещенный Иван Петрович, известно, главное в человеке — душа, и два человека постольку подобны друг другу, поскольку души их сходятся. Но если между душами неизмерима разница, чему ясный свидетель иерархическая лестница, то может ли хоть что-либо обозначать собою подобие внешнее, телесное, грубое?! Такое подобие кажется подобием только на поверхностный взгляд или на взгляд невежественной толпы.

— А если даже при внимательном изучении... самого... заинтересованного лица?.. — простонал Иван Петрович.

— Нет, — спокойно ответил оратор, — заинтересованное лицо тут не компетентно, ибо оно не имело критерия и утеряло хладнокровие... Итак, если бы где-либо, например, произошла подобная невинная игра природы, то огорчаться здесь позволительно лишь по поводу недоразумений, возникающих от смешения невежественной толпой лица весьма значительного с лицом совершенно незначительным, но лишь подобным ему по внешним очертаниям. А этот источник огорчений легко устраним.

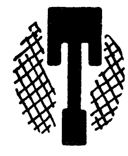
Иван Петрович чувствовал, как следом за речью друга от груди его отваливалась давившая его тяжесть и там становилось все легче, легче; чувствовал, как от слов Благовидова тает сковавшее его горе и теплыми слезами радости подступает к горлу... Он вскочил с постели, бросился на грудь своего друга-спасителя... и зарыдал.

— Будь ты похож на какого-нибудь там мелкого титуляришку, — говорил на другой день буфетчик клуба, выдавая расчет Макару, — я тебе слова не сказал бы. Ну а уж ежели ты рылом в самого статского вышел, уж это скандал и дело сурьезное. Опосля такого происшествия не пристало тебе в городе оставаться. Сам ты парень неглупый и можешь понимать...

<1903>

ЗАТЕРЯННАЯ КРИНИЦА

I

яжелое было время! Наш хутор уже пережил один голодный год, и надвигался другой, с таким же сухим, бесплодным летом, но с более страшной голодной зимой.

Была уже половина мая, а чахлые нивы и сожженная трава еще не видали над собой ни одной дождевой тучки.

Голодный скот тщетно бил копытами раскаленную землю; горячий ветер подхватывал поднятую коровами пыль и носил ее вслед за бегающим по толоке стадом.

Толока длинной полосой тянулась между панской пшеницей, и общественный пастух — Шлычкина жена Параска со своим сыном, подпаском, десятилетним Паньком — никак не в состоянии были усмотреть за тем, чтобы голодные коровы не забежали в пшеницу. С восхода и до захода солнца они бегали вдоль панской пшеницы — мать с одной стороны, Панько с другой. Панько бегал быстро. Но Параска волочила за собой больную ногу, обмотанную черными от пыли тряпками, и хоть почти без отдыха кричала сухим, давно охрипшим голосом, но коровам удавалось пробраться в пшеницу.

Как мрачный дух из преисподней, вылетал из ближайшего оврага объездчик-черкес и карьером угонял в имение захваченных в пшенице коров. А на скаку успевал потянуть Параску плетью с такой ловкостью, что рассекал на ней рубаху как раз вдоль сгорбленной спины. Захваченные коровы до вечера стояли на панском базу. А вечером Параска вместе с хозяйками коров шли на панский двор, падали в ноги управителю, плакали и просили прощения. Управитель в это время сыпал на их головы дождь самого отборного, самого оскорбительного сквернословия. А бабы все лежали на земле, и душа их была полна одним желанием — чтобы побольше было сквернословия: оно было в обратной пропорции с налагаемым на баб штрафом. Бывали такие случаи, что управитель, ни слова не говоря, назначал штраф по два рубля за штуку. Но когда управитель сквернословил

полчаса — час, то он отпускал корову за четвертак, а то и за гривенник.

Уж с половины зимы все крыши в хуторе были съедены, и оттого с горы, под которой раскинулся хутор, он был похож на огромную кучу обглоданных скелетов. А с весны пришел голод. Маленькие дети умирали, как мотыльки, и редкий день на кладбище не вырастала новая могилка. Недоимка по земельным платежам наросла за много лет, и главное — за арендуемый хутором клочок панской земли второй год не заплачено ни копейки. Дело давно уже решено было в суде. Теперь за долги и недоимки сносились в сарай при сельском правлении крестьянские подушки, горшки, кочерги, юбки. А по праздникам исполнительная власть — сотский Стецько — в сопровождении понятых заходил в очередной недоимочный двор, брал еле передвигающую ноги лошадь и вел ее туда же, в правление. Этот вывод представлял из себя очень торжественную процессию, на которой мы, хуторские ребята, непременно присутствовали в полном составе. В сущности, процессия очень похожа бывала на похороны, только место покойника занимала лошадь. Впереди процессии важно шел сам Стецько, босой, без шапки, с огромными латками на штанах, с огромной сияющей бляхой на груди. В одной руке он держал начальническую палку, другой тащил за повод лошадь. Кругом лошади шли понятые, и тут же, судорожно цепляясь за лошадь, точно за гроб с покойником, голосила хозяйка.

А понятой, рыжий Гараська, у которого лошадь уже давно отведена на двор правления, резонерствовал:

— Заместо того, чтобы хватать шкапу за хвост, лучше бы вносила гроши аккуратно! Вот и не ревела бы коровой... Эх, люди тоже прозываются!..

Приведя лошадь на двор правления, Стецько останавливался с ней среди двора, потом поправлял медаль на груди, откашливался и торжественно провозглашал:

— Господа, находящии крестьяне! Продается закциенно законная шкапа-лошадь за пять рублей, кто больше?

Больше никто не давал; воцарялось глубокое молчание. Старались не смотреть в сторону, где из-за ободранных крестьянских хат тянулись к небу окружающие барский сад гиганты-тополи.

Тогда приходил на помощь лавочник Скубец. Он набавлял четвертак и ставил одно только условие: чтобы лошадь была передана ему из полы в полу самим хозяином и от чистого сердца. А Стецько, окрыляемый успехом, отправлялся за лошадью в следующий двор. Потом Скубец угощал общество могарычом... До глубокой ночи над голодным хутором стояла пьяная песня.

II

Два раза ходили по полям с иконами и просили дождя. Первый раз ходили всем хутором, во второй — поднимали святость только девушки. А небо было все то же, безмятежно голубое, с неподвижно висящими в его синеве исполинскими белыми волокнами. Ночью где-то далеко на горизонте вспыхивали зарницы, дававшие иллюзию молнии и обещавшие засуху. Днем на улице царило унылое безлюдье. Только горячий ветер высоко подымал в вихре пыль и, кружа, гонял ее по улице, по огородам. Да Шлычка, пьющий на заработок пастушки-жены и сына, бродил по хутору и фальцетом пел:

Ах, боже, боже, что такое!
Лучше б я с маменькой жила,
Сухой бы булочкой питалась,
Холодну б воду я пила.

В прежние годы, когда в мае падали благодатные проливные дожди и на улице, как залог урожая, стояли огромные лужи, Шлычка всякий раз после дождя давал зрителям подержать свою рваную шапку, а сам, одетый по-праздничному, бросался в лужу и катался по ней, умиленно приговаривая:

— А-а, купайся, Шлычка, в господней благодати во веки веков...

Мокрый, испачканный, Шлычка был для хутора живым знамением того, что в полях благодать господня. Вокруг него собиралась веселая толпа, которая признательно собирала ему на косушку, — погреться после холодной ванны.

Теперь Шлычка бродил сухой, одинокий.

А по вечерам, когда всходила луна и ряды серебристых верб перед хатами бросали на улицу густую тень, дед Толстобреха собирал вокруг себя благочестивых слушательниц и вел популярные метеорологические беседы.

— Воззрите, жены и бабочки, на месяц, именуемый

в писании пророка Давида луною! Гляньте вы, сестра Одария, и вы, бабушка Мотря, и все вообще бабочки и старушечки воззрите: дождя не будет! Потому что месяц стоит набок спинкою и на зайца совсем не похож. О! Ежели же к урожаю, то месяц должен оборачиваться больше вниз спинкою и быть сходственным с зайцем. О! Почему и речется в писании, псалом сто третий: «Зайцем сотворил еси луну».

Кругом вздыхали и плакали, а Толстобреха, поднявши палец кверху, трагически заключал:

— «Трава на здех, яже прежде исторжения иссохше!..»

Толстобреха был деревенский портной, и прескверный. Изредка его приглашали на дом обшивать семью. Толстобреха являлся с ножницами и деревянным аршином, тянул эти работы по месяцам и нашивал таких костюмов, что в хате поднимался плач, а виновник события часто уходил битый за свое искусство.

Но душа Толстобрехи была не в портняжном искусстве. Его призвание было — чтение псалтири над покойниками. Как только на хуторе оказывался покойник, вся срочная работа откладывалась в сторону, а Толстобреха брал псалтирь под мышку. Вся мудрость его заключалась в псалтири; все миросозерцание его строилось на ней. Псалтирью он объяснял все настоящее; из нее же он выводил предсказания на будущее. Книги, написанные гражданской печатью, презирал.

Полвека Толстобреха был единственным грамотным человеком на хуторе. Может быть, оттого, что псалтирь была усвоена им перед лицом смерти, в атмосфере трупного запаха и человеческих рыданий, его миросозерцание было крайне мрачно. Во всем он видел только зло, предсказывал только несчастья. И ужасы его неотразимо тянули к себе завороженную горем женскую душу. Как только показывалась на улице его приземистая фигура с широкими бабьими бедрами, которыми он вертел при ходьбе, вокруг него сейчас же собирались жаждущие слушательницы. Толстобреха глубокомысленно наморщивал свой узкий клиновидный лоб, поднимал указательный палец вверх, и начиналась зловещая таинственная проповедь, подкрепляемая текстами, которые Толстобреха толковал крайне своеобразно.

Пришло время, и у Толстобрехи оказались опасные враги. Эти враги были мы, школяры. Толстобреха уга-

дывал роковое для себя значение недавно открытой школы и оттого не мог хладнокровно видеть нас.

— Толстобреха! — весело кричали мы ему, не чувствуя никакого благоговения пред его пророческим саном, но зато и не подозревая в себе смертельных врагов этого сана.

А он бросался на нас с поднятым аршином в руке. Мы с громким детским смехом рассыпались в стороны от него, как стая вешних лучей из-за серой тучи.

Проходя мимо нового здания школы, он останавливался, долго, молча, укоризненно кивал головой, потом, поднявши палец, грозно произносил:

— Дщи вавилоня окаянная! Блажен, иже имет младенцы твоя и разбиет о камень. О!

Это «о!» произносил он отрывисто, привскакивая.

Потом с ожесточением плевал и, многозначительно ворочая бедрами, шел далее.

А враг был уже близко: моя бабушка возлагала на мое хождение в школу большие надежды.

— Учись, моя дытыночка, — говорила она, — дужче учись. Может, за науку и тебе бог даст такой талан да разум, как деду Толстобрехе: как покойник, так у него шматок полотна и есть, да деньгами каждый раз гривенника, а то и семигривенника огребает... Завсегда на нем новенькие полотняные штанцы и сорочечка, да еще и лишнее продает! Будешь хорошо учиться — и тебя будут по покойникам звать, и будут у тебя штанцы новые... Не все ж одному Толстобрехе!

Две силы, одна другую исключающие, стояли друг против друга: еще не узнавшие своего непобедимого могущества школяры и почуявший свое бессилие Толстобреха. Генерального сражения еще не было, но отдельные вылазки случались.

Однажды бабушка, отправляясь посидеть ночью над покойником, взяла меня с собою. В переднем углу убогой хаты лежал покойник. У порога, сидя, дремали старухи. Ночь пугливо молчала перед лицом смерти. Только гудел глухой замогильный голос Толстобрехи. Вкус его ко всему пугающему выразился и тут: излюбленным псалмом у него был тот, в котором описывались казни египетские. Его он читал десятки раз подряд.

— Воскипе земля их жабами... и приидоша песии мухи! — тянул он дрожащим трагическим голосом.

Старухи в ужасе открывали сонные глаза, вздыхали

и били поклоны, а Толстобреха, упиваясь бабьим ужасом, все повторял и тянул на разные лады этот страшный стих:

— Жа-бы... песии мухи и скнипы-ы...

Бабушка моя тоже любила звуковую сторону церковного языка, но любила благозвучные, цветистые слова, вроде: «зело», «велелепие». Жабы же и мухи, да еще в таком поражающем количестве, смущали и давили ее душу. Она обратилась за помощью ко мне:

— Не вже ж то, моя дытыне, правда тому, чтоб в святом писании про такую погань столько говорилось? С самого ж вечера про жаб да про мух вычитывает!..

С беззаветностью юного искателя истины взялся я немедленно выяснить это недоразумение: подошел на цыпочках, стал за спиною Толстобрехи и уже хотел было из-под его руки своими глазами проверить писание. Но учуял ревнивый дух пророка, что опасный враг уже за спиной: пятерня его, тихо поднятая выше лба для крестного знамения, сделала неожиданно быстрое движение под мышку и впилась в мои вихры. Я зашипел, завертелся и, оставив пророку пучок выбеленных солнцем волос, отступил к порогу, а Толстобреха, даже не взглянувши в мою сторону, крестился и гудел:

— Воскипе земля жа-бами-и...

Однако я на другой же день отыскал это боевое место в псалтири, и сомнение бабушки разрешилось не в пользу Толстобрехи...

III

Сухой май был уже на исходе.

Но однажды, как раз на другой день после того, как по полям прошли девушки с иконами, на горизонте показалась синяя туча. Она быстро обволакивала небо, надвигаясь на хутор; из-под тучи вырвался свежий ветер мая и полетел по полю, весело будоража поникшую, полумертвую от зноя растительность. И навстречу ему зашептали встрепенувшиеся листья, повернулись озаренные радостью лица, поднялись для крестного знамения руки... Мертвая улица ожила. Веселый говор уже прерывался громыханием круживших над нивами туч. В хуторе упало несколько крупных капель. Шлычка бросился к речке, торопливо положил лишенный козырька картуз

на мостик и окунулся. И когда на улице увидали его мокрого, всех охватило чувство светлой радости: казалось, желанный дождь уже пролился, и Шлычка выкупался в свежей луже... И от мокрых лохмотьев его повеяло таким счастьем, что хотелось целовать эти лохмотья. И за этот призрак счастья в Шлычкин картуз полетели медяки.

А тем временем туча, уронивши над хутором только крупные капли, не прибив даже пыль, уже отодвинулась далеко в сторону, на чужие поля...

Очистившееся небо снова засинело в своей пустой безмятежности. Снова зловеще засияло солнце и жгучими лучами быстро высушило Шлычкины лохмотья и иссушило преждевременную радость. И только глухое громыхание в синеющей далеко на горизонте туче напоминало о промчавшемся призраке счастья. А Шлычка ходил по опустевшей улице сухой, противный...

А вечером Толстобреха, торжествуя, громил:

— Девок задрипанных до святости допустили, да еще и по полям пропустили! Девок!.. Оне ночью до света песни про любовь пели да с парубками ночевали, а утром теми же руками за святость взялись... Да ежли теперешнюю девку при ее скверне пустить по ниве, так и то, что выросло, засохнет! Именно, как рече царь и пророк Давид,— простираяй небо, яко кожу... Одно слово — шкуры! Урожаю не может быть. О!

Тянулись знойные дни с безмятежными голубыми небесами и жгучим ветром.

И сожгли траву полевую и душу мужицкую; люди ходили сонной походкой, смотрели на свет потухшим взглядом. Шли решающие дни: еще неделя без дождя, и поля кончены. А Толстобреха, от удовольствия, пуще прежнего вертел бедрами, и зловещая его проповедь, как воронье карканье, скрипела над замолчавшим хутором.

IV

Как-то вечером Гончариха, ослепшая девяностолетняя старуха, сказала бабам, собравшимся возле колодца против ее хаты:

— Когда я была еще дивчиной, тогда не было неурожаев. А была тогда на горе в Дубовой балке криница. И как, бывало, долго нету дождя, так уже старая барыня выйдет на крыльцо и кричит отаману Гаврилке:

— А пошли, Гаврилка, мужиков на гору в Дубовую балку, пущай криницу почистят.

Оттó Гаврилка и гонит мужиков: «Идите, такие-сякие! Криницу чистить!» (И лютый же был, царство небесное! Как собака. Сколько людей в клуне до смерти запорол!..) То человек двадцать и идут на гору с лопатами. На дворе, было, пекло стоит, а мужики идут на гору и свитки с собою берут. Бо как почистят криницу, так и домой не успеют добежать — такой дождь ударит, что вода по-ровному ревет. А криница-таки и не глубокая была. А вода в ней — пьешь и все хочется пить.

И задумалась старуха: встали далекие образы...

Гончарихино воспоминание скоро облетело и взволновало весь хутор. Мужики отнеслись к нему равнодушно, но на женщин оно произвело впечатление. Улица понемногу ожила: там и сям, у ворот, на огородах собирались кучки баб. Разговор был один: чудодейственная криница и возмущение маловерием мужиков, действительно не желающих бросать работу и идти с лопатами на гору.

Несколько дней по всем хатам шла борьба женской веры с неверием мужиков. Наконец обнаружились первые результаты борьбы: в воскресенье утром человек десять мужиков с лопатами в руках, сопровождаемые бабами, вышли за хутор и поднялись на гору. Это была первая партия полоненных женской верою. Следом бежала наша босая белоголовая армия, всей душой передавшаяся на сторону победительниц.

Пришли на гору, спустились в Дубовую балку, и перед копачами встал вопрос: где же криница? Дубовая балка представляла из себя неглубокий, но длинный, заросший кустарником овраг. Начинаясь обрывом на горе, она уходила в степь тремя разветвлениями. По воспоминаниям Гончарихи на дне одного из этих разветвлений, под самым большим ветвистым дубом, находилась заветная криница. Еще до объявления воли, вскоре после смерти старой барыни и Гаврилки, криница засорилась и исчезла. Старые дубы тоже давно вырублены, и овраг зарос молодыми. А на месте старых торчали гнилые пни. Где криница? Была под самым большим дубом: нужно искать ее подле самого большого пня.

Рассыпались по оврагу и нашли таких огромных пней десятки... Остановились на одном наиболее обещающем: совершенно гнилом. Помолились на солнце и стали копать ниже пня.

Однако через час дружной работы стало ясно, что криницы на этом месте не было: земля была твердая, переплетенная корнями от пня, никаких признаков влаги. Перешли к другому пню. Между тем из хутора подходили конвоируемые бабами новые пленники. Они брались за лопаты, сначала смущаясь собственным легковерием и скрывая смущение под шутками. Но быстро заражались настроением работающих. Скоро весь хутор был на горе. К полудню, когда у нескольких пней оказались вырытыми глубокие сухие ямы, стало ясно: полученных от Гончарихи данных слишком недостаточно.

— Надо Гончариху привезти сюда: тут на месте будет виднее.

— Так она ж слепая.

— Ничего, зато по приметам как-нибудь расскажет.

— Хоть и слепая, а все ж лучше нас знает: когда-то видала эту криницу.

Везли Гончариху на возу. А при самом выезде из хутора встретился Толстобреха с псалтирью под мышкой. Он остановился, покивал головой, потом наморщил лоб и, поднявши палец, сказал:

— Спи на колесницах... Но падет в яму, юже содела.

Но на него даже не обратили внимания. Эта грязная туча растаяла и потонула в лучах ликующего дня.

Гончариха смотрела потухшими глазами на пни и рисовала картину:

— Дивчатами, было, мы ходили сюда. И как, было, выйдешь по большой Ивановской дороге на гору, так сейчас же стежка — по-над самой кручей в балку, и тут в балке тоже стежечка, и шла эта стежечка по-меж дубами и сворачивала в правую руку в ярочек, и тут на косогоре стоял большой старый дуб, а под дубом и была криница.

— А в какой же, бабуся, ярочек сворачивала стежка? Тут их много.

Гончариха покачала головой.

— И-и, деточки, как бы ж это вчера дело было, так, может, я и памъятала б... Да как бы ж остались мне мои очи...

— Ну, может, бабуся, припомнишь, чи долго было идти по стежке, пока повернешь в правую руку?

— Ни, не дуже долго.

— С гоны[1] или меньше?

[1] Восемьдесят сажен. (*Примеч. авт.*).

— Эге, таки с гоны будет... А может, и меньше.

— Вспомни, бабуся, вспомни...

Сотни глаз, горя надеждой, впились в потухшие мертвые глаза старухи в трепетном ожидании, что там вдруг вспыхнет воспоминание и сотворит чудо: прольет с неба дождь на забытые богом нивы, накормит голодных, вырвет из когтей смерти этих высохших детей...

Под горою торчали ребра ободранного хутора, а от хутора до самого горизонта узкой полосой тянулось крестьянское поле; с обеих сторон сдавленное морем волнующихся панских нив, порезанное на сотни желто-бурых, зеленых четырехугольников — наделов,— поле казалось все в заплатах, как старая мужичья свитка, как то сказочное крестьянское горе. И теперь, собравшись на горé и отвернувшись от этого горя, все жадно смотрели в мутные глаза старухи, отыскивая там свое бесследно улетевшее счастье.

Гончариху взяли под руки и вели впереди от склона горы к тому месту, где должна быть криница: не вспомнит ли, пройдя его снова, как проходила семьдесят лет назад?

И подле первого же, наполовину сгнившего пня остановились и спросили:

— Не тут ли, бабуся?

— Бог его знает, может, и тут. Вы, деточки, копайте.

Стали копать. Мужчины рыли землю, а женщины горящим верою взглядом смотрели туда, где сожженная желтая земля граничит с голубым небом. О, если бы там показалась туча и заслонила бы эту дрожащую в раскаленном воздухе грань между небом и землей, заслонила бы страшную, бездонную в жестокости лазурь...

Вырывши яму в рост человека, увидели, что это не тот обетованный пень, взяли старуху под руки и повели к другому. Следов криницы не оказалось и здесь.

— Вспоминай, бабуся, вспоминай, бога ради...

— Может, хоть ради деточек наших, что попухли с голоду, господь тебя надоумит,— причитали бабы. И роняли слезы на сожженную траву. А трава приникла к земле и так, желтая, полумертвая, лежала, не шевелясь, должно быть, боялась, что солнце заметит в ней остатки жизни и сожжет ее до смерти...

А слепая до вечера водила толпу зрячих от одного гнилого пня к другому, ища под этими пнями давно засыпанную землею, заросшую высокой травою долю му-

жицкую. И с каждым новым пнем все ярче и ярче разгоралась вера.

Скрылось солнце за оврагом. Умирающая трава тихо вздохнула полевым ароматом... Хутор внизу быстро тонул в тени, хлынувшей от горы. Далекая степь уже таяла в знойных сумерках. Где-то заблестел огонь... Сходили с горы, окутанные темнотой. Но это были не те отдельные сомневающиеся кучки, что утром неохотно поднимались на гору. Это была одна большая душа, осиянная одной верой, объятая одним пламенным желанием отыскать чудодейственную криницу.

V

На другой день рано утром по хутору разнеслась радостная весть: баба Хвеська, каждое лето ходившая в Киев, Лубны и Почаев, видела во сне лубенского угодника Афанасия Сидящего, который сказал ей, что нужно поднять святость, отслужить в Дубовой балке молебен и искать криницу справа, в третьем разветвлении балки. Святость находилась в слободе за семь верст. За ней сейчас же пошла часть хутора. А остальные двинулись прямо в Дубовую балку.

Дорога в балку, прежде чем подняться на гору, шла через засеянный пшеницею панский клин. Когда толпа растянулась по дороге, несколько мальчишек отбились в сторону и бежали рядом по краю пшеницы. Черкес словно поджидал этого момента — вихрем вылетел из-за угла садовой огорожи. Просвистел его арапник, и когда хуторяне осмотрелись и увидели на спинах мальчишек кровь, выступившую из-под рассеченных рубашек, черкес далеко уже гарцевал на коне и грозился в нашу сторону арапником.

— Ах, и чертов же сын!— дивилась толпа, очарованная ловкостью черкеса,— птица — не человек!... Как ястреб!

— А вы не вылазьте, байстрята!— наставительно заметили отчаянно ревущим мальчишкам.— И шли бы себе там, где все идут, по дороге.

Взошли на гору, и встреча с черкесом была уже всеми забыта.

Когда солнце поднялось высоко над головою, прибыло из слободы духовенство со святостью, и стали служить молебен. Молились уже не о дожде, а о том, чтобы найти

криницу... Отслуживши молебен и окропив балку, приступили к поискам, избирая самые большие пни. И все с блестящими глазами, помолодевшими лицами работали до ночи. За день успели подкопать более половины больших пней: близко криница. Завтра, не далее, она будет найдена. Зашло солнце, пошабашили и возвращались в хутор в предвкушении завтрашнего счастливого дня.

Когда спустились с горы, то увидели в прозрачных сумерках над горою густое облако. Толпа ахнула и затрепетала от восторга.

Но, всмотревшись, увидели, что густое облако постепенно спускается по дороге вниз под гору. Вскоре в облаке вырисовался конь, запряженный в странную колесницу без колес, а рядом — пешеход. Вот фантастическое облако подплыло к толпе, окутало задние ряды ее, и те в пешеходе узнали Явтуха Шкоду, который сегодня повез в слободу духовенство. Явтух, конфузясь и ругаясь, рассказал, что, возвращаясь из слободы, он лег на воз и «задремал». А когда перед вечером проснулся, то увидел, что его лошадь свернула с дороги и стоит, уткнувшись мордой в панскую пшеницу, а два черкеса рубят кинжалами колеса у его воза. Явтух снял шапку, подождал, пока черкесы порубили на дрова все четыре колеса и, отстегав его арапником, ускакали в поле; потом, положив дрова на воз и поднимая тучи пыли, потащился домой.

Встал над лугом веселый смех. А так как Явтух пострадал хоть и по своей оплошности, но за общественным делом, решено было на общественный же счет справить ему колеса.

Давно уже спустилась душная ночь, белели хаты при месяце, и заливались соловьи в вишневых садах, а по улице там и сям, в тени верб гудел бодрый разговор о кринице...

А утром, когда еще не успели выйти на гору, хутор облетела новая весть, спутавшая вчерашние ясные планы.

VI

На самом краю хутора, где речка жмется к обрыву и тщательно прячется в камышах, среди пустого, заросшего бурьяном двора стояла, наклонившись над кручею, одинокая хворостяная хатка. В высоком бурьяне скрывалась тропинка, спускавшаяся к берегу, в камыши. Долго вы-

таптывалась эта тропинка; десятки ведер тайно проданной водки вынесены по ней из хаты, где поджидала желающих ласковая молодая вдова Дашка. И до рассвета звенел над кручей Дашкин смех, серебряный, как речка при месяце; и неслась по речке до самого хутора Дашкина разгульная знойная песня, заставляя стыдливо шептаться прибрежные камыши, огорчая благочестивые души и маня к себе грешные.

А речка под кручей все текла, быстрая, излучистая, и унесла Дашкины годы... Состарилась Дашка, и положило время на щеках ее глубокие кривые морщины. Стали белеть Дашкины косы, как камыш к осени. Дашка оделась в черное и хоть по-прежнему тайно торговала водкой, но уже не звенел над камышами ее соблазняющий голос. В праздник Дашку всегда можно было видеть по дороге в церковь. Скоро ее благочестие было отмечено чудесными знамениями. Однажды у Дашки под окном вырос стебель пшеницы с тремя колосьями. В другой раз, проснувшись ночью, увидела она, что лампада перед иконами затеплилась сама собой; и с той поры эта лампада никогда уже не потухала. И многие уверовали в Дашкину неугасимую лампаду.

В ночь перед открытием криницы Дашка — рассказывала она — долго стояла перед неугасимой лампадой и плакала и молилась, чтобы бог открыл криницу. Уже пропели третьи петухи, а Дашка все молилась... И вдруг видит: отворяется дверь, и входит старик — борода белая, длинная. Дашка, конечно, обомлела, а старик взял ее за руку и говорит:

«Не опасайся, раба Одария, но возрадуйся! Бо слезы твои об людях дошли до господа милосердного, и через тебя, как ты теперь женщина самая благочестивая и добродетельная, господь укажет криницу! Только скажи ты им, раба Одария, чтобы весь хутор шел сегодня в Дубовую балку, и нехай считают пни, начиная от горы, с правой руки и с левой. И как насчитают двенадцать больших пней с правой руки и семьдесять семь малых пней с левой руки, то тут им, отступивши назад три пня, под зеленым кущем будет криница. А сама ты оставайся в хате и молись, как и молилась».

Сказал это старец и пошел из хаты.

А в дверях обернулся и добавил:

«Смотри же, раба Одария, двенадцать больших и семьдесят семь малых, отступивши три назад... Не за-

будь же... Послушают тебя, найдут криницу, а не послушают — ни во веки веков, аминь...»

Первым удостоился узнать о благочестивом видении Шлычка. В эту ночь он от нытья под ложечкой проснулся еще раньше, чем Дашка сподобилась видения. Долго томился, мучимый похмельем, наконец стало невмоготу, и на рассвете Шлычка уже стучался к Дашке и жалобно-прежалобно просил: «Хоть душу в набор[1] промочить». Против обыкновения, Дашка сразу же впустила Шлычку, промочила ему душу, рассказала о видении и открыла ему такой кредит, что Шлычка как встрепанный побежал по хутору, махал шапкой, стучал в окна и кричал:

— Вставайте скорей, кто в бога верует! Дашке насчет криницы видение было!

Еще не взошло солнце, когда половина хутора была у порога Дашкиной хаты и с радостным умилением слушала ее рассказ о видении. А прочие не уверовали в Дашкино видение, и когда первые лучи солнца золотом рассыпались по кустарникам балки, то там уже было две партии. Одна спокойно копалась около очередного пня в третьем разветвлении. Другая растерянно металась между пнями, считая до двенадцати и семидесяти семи.

Оказалось, что Дашкино видение, при всей своей численной точности, допуская много итогов, являлось задачей неопределенной. А нахождение точки, в которой совпадали двенадцатый большой пень с семьдесят седьмым малым и притом под зеленым кустом — оказывалось чем-то вроде квадратуры круга... На это затруднение натолкнулись прежде всех школяры.

Но именно эта-то невыполнимость задачи сразу же сообщила ей таинственную силу непостижимости.

До ночи бились над отгадыванием Дашкиного видения, и из оврага неслись крики споривших.

Вскоре споры осложнились разногласием в самой Дашкиной партии. Вопрос о том, какие пни считались большими, какие малыми, что понимать под «зеленым кущем», быстро разбил Дашкино согласие на несколько толков.

Спорили о гнилых пнях, о добродетелях и пороках Дашки и Хвеськи. Работа почти остановилась. Забыли, зачем пришли на гору и зачем понадобилась криница. Словопрения переходили в брань. В двух местах подрались.

---

[1] В кредит. *(Примеч. авт.)*

VII

Перед вечером бабы, ожидавшие на улице возвращения с поля коров, встретили Толстобреху. В эти дни, когда вся жизнь хутора ушла в балку и героинями стали Хвеська и Дашка, Толстобреха оказался забытым.

Он остановился и с ядом в ласке спросил:

— Ну что, достохвальные жены караванские, нашли криницу?

И, насладившись скорбными воздыханиями баб, продолжал:

— Оно, знаете, жены, всегда так и бывает. Кто языком брешет вельми зело, того слушают. Именно, как глаголет писание: «всякую шаташася языцы и людие поучашася тщетным». Сии словеса обозначают два языка: Дашкин и Хвеськин. О!.. У блудницы Дашки и у старой печерицы Хвеськи зашаташася во рту языцы, как поганые, прости господи, хвосты по случаю мух, а вы, людие, и поучашася тщетным, и слухаете их!

— Кого же нам, дедусю, слухать?

Толстобреха повертел бедрами и загадочно молвил:

— Кажется, есть на хуторе и кое-кто поумнее и зело-очень праведней Дашки с Хвеськой... О!..

Намек, конечно, был чрезвычайно тонкий и отдаленный, но бабы узнали своего спасителя и стали умолять его показать криницу.

— Дело сие, конечно, хотя и мудрое, но довольно даже видимое! Можно бы даже сразу указать, под каким пнем. По писанию пророка Давида.

Слезы заблестели в женских глазах.

— Слава ж тебе, господи!..

— Голубчик сизый!.. Да спаси ж тебя бог, что сжалился над бесталанными!..

— Скорей же, дедусю, указывай криницу!

Но Толстобреха не торопился.

— Нет уж, зачем же! Пущай уж лучше Дашка с Хвеськой показывают вам.

— Да господь с тобой, дедусю! Невже ж тебе не жаль мира христианского?.. Невже ж над малыми детьми не смилуешься?..

— Нет уж, очень напрасно даже, можно сказать, слезу проливаете! Ибо писание глаголет: «питие мое с плачем растворях...»

Неумолимый пророк повернулся и важно двинулся прочь по улице. Но тут произошло нечто, пророком не предвиденное.

Ивга Ковалиха, высокая худая женщина с почерневшим от горя лицом и потрескавшимися губами, с ребенком на руках, забежала вперед и, впившись в него горящим взглядом, спросила:

— Не укажешь криницу?.. И через дытыну переступишь?..

Она бросила ребенка у ног Толстобрехи. Тот остановился и грозно окрикнул:

— Что ты, дура египетская, детишек разбрасываешь! Как говорится в писании: «мзда плода чревняго».

— А, проклятый дурисвет!..

Ивга размахнулась и ударила его в нос.

Толстобреха бросился к Ивге.

— Да я тебе, скнипа, морду набок своращу!

Ивга ударила еще раз.

Толстобреха остановился, растерянно оглянулся и увидел себя окруженным и прикованным к месту горящими взглядами... О, какие страшные взгляды! В них уже нет кроткой мольбы.

— Показывай криницу!..

Толстобреха стоял. Шапка сбита была набок, и это придало ему бравый, ухарский вид. А глаза испуганно бегали, нижняя челюсть тряслась вместе с бородою.

— Показывай, анахтемский дед!

— Нет уж, не стоит,— отвечал дед, кривя побелевшие губы в ироническую улыбку,— ежели разговор выводите почти до самой, можно сказать, драки... Ибо писание глаголет... впрочем, об таких дураках и писание не глаголет...

Он перешагнул через ребенка, чтобы уйти.

— Вот же тебе, ирод...

Шапка Толстобрехи полетела далеко вперед.

— Да бейте ж проклятого душегуба!

Чье-то коромысло протянулось по его спине. Он пошел быстрее. Другое коромысло ударило по затылку. Он бросился бежать. Бабы с воплем устремились вслед за ним и перерезали дорогу. Толстобреха очутился возле плетня. Две руки схватили его за бороду, он мгновенно помолодел: одним прыжком перелетел через плетень и пустился по огородам в камыши...

VIII

В четверг вышла на гору Дашка. Она была в курсе того, что делалось и говорилось в балке, и не вытерпела: пришла свести счеты с теми, кого в эти дни особенно интересовало ее прошлое. Таковой прежде всего оказалась тетка Зайчиха.

В то время, когда Дашку и тетку Зайчиху, охрипших, до крови исцарапанных, «распластанных» и с разорванными рубахами, растаскивали в разные стороны, в балку пришел с поля дед Илько. Он принес с собою с крестьянских нив несколько пучков пшеницы. Чахлые колоски на низеньких стеблях, почти совершенно лишенные зерна, закончили налив и уже дозревали. Колосья быстро прошли по рукам. От колосьев хуторяне подняли глаза на печально стелющиеся за хутором побуревшие поля. И всем ясно стало, что не нужны уже ни старые пни, ни чудодейственная криница, ни проливной дождь...

Сразу оборвалась и безвозвратно улетела обвеянная грезами жизнь на горе. А из-под горы, от съеденного хутора, от сожженных полей, властно звала настоящая жизнь с лицом голодной смерти... Положили лопаты на плечи и, постаревшие, тяжелой поступью двинулись вниз, в объятия голода.

Солнце лило море горячего света на ободранные хаты и ослепительно сверкавшие поля, а в мужичьей душе было темно и холодно, как в заброшенной среди осеннего ненастья лачуге... Мужики шли молча. Женщины рыдали над улетевшим счастьем, рыдали, что бесследно где-то затерялось на земле то место, за которое небо пощадило бы землю. Искали его и не нашли... И не переплыть и не перелететь теперь безбрежного мужичьего горя.

Горячий ветер подхватывал вопли, кружил их по полю, смешивая с пылью, поднимал их в пустую высь... А по нашим детским щекам текли слезы. Наше горе было теперь так же близко к горю взрослых, как в прошлое воскресенье радость взрослых была близка к детской радости...

Подходили к панской усадьбе, когда в поле показался черкес, гнавший захваченную на ниве крестьянскую корову.

В толпе пробежал ропот. Кто-то сообщил:

— Вчера мою корову все поле что есть мочи гнал плетью!

— Да не может быть!— ахнула толпа.

Посыпались новые сообщения:

— А вчера Серегу плетью потянул!

— А в понедельник хлопцам рубашки рассек...

— Во вторник Явтуху колеса порубили!

— Да как же это!.. Ах, проклятые головорезы...

Хуторяне ахали, пораженные сообщениями, как будто они были для всех невероятной неожиданностью.

Черкес приближался, а толпа все сильнее закипала, громче и громче гудела негодованием. Вот он подъехал уже близко... На груди патроны. Между ними треугольником краснеет бешмет.

— Держи его, чертова богомета!

— Забегай!..

Сверкая поднятыми лопатами, рассыпались по панской пшенице. Черкес насторожился. Цепь быстро развертывалась вокруг него и загибалась кольцом. Вдруг он пришпорил коня и с визгом, свистя нагайкой, полетел на цепь. Толпа с гиканьем ринулась к тому месту, куда устремился черкес. Но черкес прорвал цепь. Один мужик был смят лошадью, у другого потекла кровь по рассеченной плетью щеке. Взметнулись бешеные вопли.

— Кровь христианскую проливают!..

— Азияты!..

А черкес пролетел далеко вперед и, чувствуя себя победителем, остановился и выстрелил в воздух.

— Убивают!..

Толпа заревела и могучей, не знающей преград волной хлынула к воротам усадьбы.

За лопатами сверкнули на солнце косы и вилы... В задней части двора пламя уже лизало ометы и сараи.

И земля, не дождавшись от неба дождевых туч, подняла к нему горячие черные тучи, и заволокли они голубое небо и заслонили собою от кровожадного солнца хутор и мужицкие нивы.

Волчанск, 1909

НА ХУТОРЕ



ернувшись от заутрени, Марфа Сергеевна села у окна полюбоваться на алеющую над степью весеннюю зарю, но глаза незаметно смежились. А когда ее разбудил шепот и шарканье босых ног, солнце стояло уже высоко над затерянным в степи хутором.

В дверях тесной учительской комнатки толпились школяры, явившиеся христосоваться. Впереди всех стоял в красной сорочке, шмурыгая носом, вихрастый Панько.

Панько на уроках — до таинственности замкнутая в себе, молчаливая личность. Но зимой после уроков, когда старшие школяры, усадив Марфу Сергеевну в салазки, лихой тройкой вылетают из школьного двора и, нагнув головы, как настоящие скакуны, мчатся по улице, Панько в качестве вестового летит впереди и грозно кричит: «Бережись!» Сквозь снежную пыль собаки из дворов мчатся наперерез тройке.

Не успела Марфа Сергеевна принять поздравление от школяров, как в комнату вошел отец Фока. Он нахмурил маленький лоб с густыми, широкими бровями, толкнул локтем Панька и прошипел:

— Стань, глупак, к сторонке! Учат вас тут!

Бросил на школяров свирепый взгляд и, не глядя на Марфу Сергеевну, прошел к переднему углу.

— Христ-ос воскре-се из мертвы-ых,— запел он тем сдавленным резаным дискантом, каким иногда поют деревенские певчие, с детства и до старости состоящие в «дышкантах».

Кончив пение, отец Фока вытер губы платком, сохраняя свирепо-торжественное выражение лица, похристосовался с Марфой Сергеевной, вручил ей узелок с просфорой и яйцами и сел.

— Чего, глупаки, стоите, баньки вытаращивши! Место вам тут разве? Пошли вон!

Марфа Сергеевна заступилась:

— Не гоните, отец Фока. Они тоже гости.

— Хм! Гости! Таким гостям надо почаще, извиняйте за выражение, горячих за штаны всыпать... Вы думаете,

этим глупым мужицким народам можно образование и понятие дать? Невозможно! Да вот вам сегодня на заутрени пример. Стою я с проскурами в церкви, а против меня сбоку две бабы: одна Гапониха, другая Шевчиха. Смотрю это я на них и вижу — что бы вы себе, барышня, помыслили? Начинают, окаянные анахтемы, земные поклоны бухать!.. Ну не скушение?.. Я до их: «Чи вы ж не показились? Кто ж таки во святой и великий день пасхи земные поклоны кладет! Да через сие ж вы, пропащие души, уподобляетесь воинам, иже, стерегущие гроб господень, падоша ниц при воскресении его!» — «Мы,— говорят,— батюшка, сего дела не знали...» Ну, вы полюбуйтесь на этих бабских народов! Они не знали! Сами ж собственноличной головой в пекло лезут! Образовывай их!

Ушли школяры, а отец Фока стал жаловаться на свою судьбу: монастырского послушника в деревенскую просвирню преобразовали. А тут еще попадья подкапывается.

От жалоб и рассказов о настоятелях и попадьях стало скучно и тоскливо.

— Может быть, на воздух выйдем, отец Фока?

— В проходку? Это возможно.

Марфа Сергеевна накинула на голову белый шарф. Отец Фока посмотрел на оттененные белым фоном тонкие черные брови над большими глазами и вьющиеся пряди и внушительно произнес:

— Ну, вы теперь — чисто Мария Магдалина!..

— Это комплимент, отец Фока?

— Святые жены-мироносицы для комплиментов не употребляются!— строго заметил отец Фока.— Мария же Магдалина, окромя того, равноапостольная, хотя же прежде была блудница и имела в себе семь бесов.

Вышли из школы. Большая церковная площадь имела праздничный вид. У заново выбеленных хат по-праздничному сидели на земле бабы с малыми детьми и старики, а посреди площади на земле расположилась густая куча серьезных мужиков — шла игра в «сковородку». Возвышающиеся на выгоне качели уже облеплены нарядной толпой дивчат. С колокольни несется настоящий залихватский казачок.

— Что делает, подлец Серега!— укоризненно качает головой отец Фока.— Что только утворяет, богомет! Оставь, нечистая сила, оставь!— замахал широкими рукавами на колокольню.

Серега лихо закончил пьесу на маленьких колокольчиках, бросил веревки и подошел к перилам колокольни. Отец Фока закричал ему:

— Что ж ты, пропащая душа, на святых звонах бесовские танцы вызваниваешь! Тебе святая колокольня — гармошка или же балабайка?

Серега молча смотрел вниз. Его худое, с пробивающимися усами лицо выражало непобедимое равнодушие и лень. Позвал:

— Барышня, лезьте сюда!

— Полеземте, отец Фока!

— Собственно, не советую: женскому полу не полагается колокольню осквернять.. Ну да, положим, вы еще по своему состоянию не вполне женщина покамест: можно!

По дряхлым, скрипящим ступенькам Марфа Сергеевна в сопровождении отца Фоки поднялась на колокольню. Какой здесь особый, странный мир! Церковный купол, обыкновенно казавшийся взлетевшим в небо, теперь стоит — вот он, рядом,— между ней и солнцем, страшно громадный, и в его окно видна спускающаяся цепь с висящей на ней люстрой и громадные крылья сизого орла за спиной евангелиста Иоанна... Вверху под крышей воркуют голуби. На почерневших перекладинах висит до десяти колоколов. Тихой древностью веет от этого большого позеленевшего колокола с вылитыми вокруг святыми словами... Легкий весенний ветер, влетая в широкие окна-пролеты, слегка шевелит веревки и чуть слышно, задумчиво гудит-поет в старых колоколах, будит в них песни о чем-то далеком-далеком, как старая украинская дума. И навевает грезы ласковый ветер и сладкой щемящей грустью вливается в душу.

Марфа Сергеевна подошла к перилам: хутор с его игрушечными мазанками и людьми на площади утонул где-то там внизу, а вверху синеет небо с плывущим в нем маленьким прозрачным облачком; кажется — плывет в синеве не облачко, а колокольня: взлетает все выше, выше... И ширится в груди пьянящее желание лететь... За хутором, под крутым берегом, извилистой светло-зеленой лентой тянутся вдоль речки только что покрывшиеся листьями вербы. Кое-где ослепительно сверкнет сквозь них серебряный кусок плеса, по степи убегают вдаль проселочные дороги.

Запыхавшийся отец Фока, увидав в углу цветник

разукрашенных лентами и монистами зардевшихся дивчат, горестно руками всплеснул:

— Ну, не дьявольское скушение? И сюда, на господнюю высоту, сего сметья намело!.. Брысь, люциперово семя!

Дивчата стремительно бросились вниз, и на лестнице слышен был их смех и возня.

— А все этот котяга штуки строит! — отнесся отец Фока к Марфе Сергеевне, указывая на Серегу через плечо большим пальцем.— Гляньте на него, какой добродетель!

Серега стоял, облокотившись на перила, и рассеянно, безучастно смотрел на отца Фоку большими лучистыми глазами. Потом сказал:

— И сегодня чечиковская барыня в нашей церкви не была. Вы знаете, почему она не ездит? Отец Фока перепугал: вышел апостола читать, да как закричит не своим голосом, а она в обморок и упала.

— Глупый ты человек,— назидательно сказал отец Фока.— Мало тебя, глупого дурня, били!

— Ездил потом батюшка прощения просить, обещал не пускать больше отца Фоку на крилас, а барыня не согласилась: все равно, каже, он мне во сне увижается.

Отец Фока побагровел и стал быстро спускаться по лестнице. За перилами мелькнула и исчезла рыжая шляпа.

Внизу погрозил кулаком:

— Я тебе, подлец, покажу, как читает отец Фока!

— Эй, Хрыстя, Хрыстя! — закричал Серега проходившей по другой стороне площади дивчине.— Иди сюда!

— Зачем?

— Дело есть.

— Да ты обманюешь?

Христя перешла через площадь и подошла к ограде.

— Ну, вот я и пришла,— сказала она, поднимая голову вверх и заслоняясь от солнца вышитым рукавом сорочки.

— Пришла? — спросил Серега.— А я думал — приехала.

— Зачем кликал?

— А ни за чем.

— Так чего ж ты на весь хутор кричал?!

— А голос пробовал: чи не пропал.

— Нехай бы ты сам пропал! Не вязни!

— Фу, какая краля,— сонно ответил Серега, закладывая меж пальцев концы веревок.— Я ж думал — другую какую-нибудь Хрыстей зовут.

— Чтоб ты, дурисвет, ради праздника забыл, как тебя самого зовут! — ругается Христя, а в голосе — ласка и ожидание.

Но Серега уже все забыл и, склонив голову набок, весь ушел в подбор на чуть слышно отзывающихся колоколах новой мелодии. Вспорхнули вдруг легкие звуки маленьких колоколов и, перегоняя друг друга, понеслись в степь; тяжело поплыли звуки большого колокола, за ним вспорхнула новая стая подголосков, и полетели, как птенцы за матерью, радостно купаясь в чистом весеннем воздухе.

Марфа Сергеевна, прислонясь к стене колокольни, засмотрелась вдаль, на разостланный во все стороны от хутора зеленый степной ковер. Мягкий ветер чуть волновал свежие зеленя и из степного далека доносил сюда на колокольню запахи молодых трав.

Серега уже перестал звонить, и опять чуть слышно гудела медь, и, если вслушаться, пела в ней задумчивая грусть; а если всмотреться в бархатные волны степи, там тоже зыблется тихая грусть: чует молодая зелень, что робко ласкающий ее вешний ветер скоро дохнет на нее знойным дыханием и, сожженная им, она поблекнет и поникнет, а ветер будет трепать сухие стебли, и, обессилев без росы, под жгучим солнцем, упадет мертвая на землю, а осенний ветер запоет и заплачет над ней мутными ненужными слезами.

Марфа Сергеевна стала спускаться вниз по лестнице, и вдруг все задрожало, затанцевало — и какой-то хлам на полутемной площадке, и паутина по углам: колокола ударили первый плясовой аккорд и опять без удержу залились, завертелись в вихре. Отец Фока, багровый от ярости, задрав голову, прыгал у ограды и махал широкими рукавами, будто хотел взлететь на колокольню.

Марфа Сергеевна зашла было в церковный дом, но там было тихо: батюшка ушел с иконами по приходу, а старушка матушка, разговевшись, спать легла. А по коридорчику ходила наседка с цыплятами.

Марфа Сергеевна вернулась к себе и тоже легла спать. А когда проснулась, солнце уже уходило за балку и тень от колокольни, протянувшись через всю площадь

и переломившись у основания школы, падала на ее стену и крышу; чистый воздух был полон смеха, песен и праздничного говора.

Быстро спустились прозрачные весенние сумерки, затрещал сверчок в комнате. Три года уже в длинные одинокие вечера слушает его Марфа Сергеевна. Все ли это тот сверчок, который встретил ее в первый вечер по ее приезде, или за три года много их сменилось? Когда она впервые услышала сквозь вой вьюги за окном его робкую, прерывающуюся беседу, показалось невероятным, превышающим слабые силы, прожить здесь хоть одну неделю. А теперь уже невероятной, далекой кажется другая жизнь и другая доля...

Марфа Сергеевна села у открытого окна. Хутор уже затих, лишь издалека доносилась чья-то песня да по ту сторону пруда временами простучит опускающийся к плотине воз, простучит и вдруг смолкнет, въехав на мягкую плотину с уснувшими над ней старыми вербами. А потом опять застучит, уже совсем близко от школы, где накатанный проселок сливается с улицей.

> Очерет лугом иде,
> Сова ричкою бреде...—

запел Серега совсем близко за школой. Потом сразу оборвал песню, а из темноты донесся сдержанный разговор.

— Ты, что ли, Олена?

— А то ж разве другая тебя на улице ждать станет?

— Не станет, должно.

— Не станет? — недоверчиво переспросил молодой женский голос.— Куда?..

— А никуда.

— Брешешь, до Гальки!..

— Не угадала, бо я — до Мотри.

— Да нехай она сказится!

— Ну нехай. А вчера она тебе тем же кланялась.

— А не пришел... передать!

— Да чи я вам почтарь!

— Идем же до хаты.

— Да я ж и тут не смерз.

— О, Серега! вижу, куда зазираешь! На Явдохины ворота... Гляди, там тебе Антон посчитает ребра... Да и Василь за Гальку добирается до тебя!

— А тебе жаль будет?

— А ты думаешь, другая пожалеет!

Голоса стихли. Марфа Сергеевна хотела было засмеяться, да вдруг упала головой на подоконник и зарыдала, сама не зная, о чем.

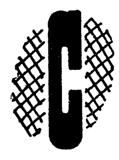
Очеретом качки гнала,
Спотыкнулась тай упала...—

звенел Серегин голос где-то за садами.

<1911>

ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ

I


емилетний Ивась пас телят на выгоне за хутором. Солнце уже опускалось, окруженное золотой пылью, за далекий степной горизонт, и Ивась уже намеревался гнать телят на хутор, когда увидел у крайней хаты машущую ему обеими руками тетку Наталку.

— Иди скорей к мамке! — закричала она, когда Ивась подошел ближе.

У Ивася неприятно сжалось сердце: сегодня утром он заигрался у пруда и узевал телят; двое или трое из них высосали коров. Была по этому случаю бабья суматоха и крик. Теперь Ивась решил, что настал вечерний час расплаты за утреннее развлечение: мать приготовила для него лозинку.

— Скорей иди к мамке.

— А на что я ей сдался?

— А на то, что она уже умирает... Глупак!

— Обманываете!

— Где уж там обманываю, когда уже не балакает.

Ивась удивился: только утром захворала и уже умирает. Вот бабка Гапониха две зимы умирала, насилу умерла...

Во дворе подле хаты толпился народ. У двери на разостланном рядне лежала мать. Глаза у нее были закрыты, открытая грудь высоко поднималась и хрипела. Двенадцатилетняя Оксана билась над нею в рыданиях, плакал рядом десятилетний Марко, тут же на земле сидела полуслепая бабушка, стонала и причитала, держа на коленях четырехлетнюю Галю. Причитали и галдели все бабы. Только отец стоял молча, растерянно. Ивась взглянул на него.

Отчего он так почернел?

Бабы суетились и растерянно кричали. Дело в том, что давно уже должна была приехать из слободы бабка, за которой еще в обед послали Хому, но до сих пор ее нет и по дороге не видать. Ну как, храни бог, не застал! Время теперь горячее — сколько народу хворает, а она, старушка, на весь мир хуторянский одна...

В ожидании бабки приняты свои меры: Наталкин Серега побежал домой за «Сном богородицы». Все на хуторе знают дивные целебные свойства этой книги, которую приезжие афонские монахи уступили Сереге за десять мер пшеницы.

Но тетка Наталка разъясняет ее действие применительно к настоящему случаю:

— Нужно читать «Сон богородицы» над умирающим до трех раз, и тогда выздоровеет. Разве уж умирущее да на умирущее пойдет, ну тогда уже человек должен умереть, и даже «Сон богородицы» тут не помогает...

Серега сел у изголовья, развернул обернутую в сахарную бумагу рукописную тетрадь и стал читать по складам:

— Спа-ла-пре-по-по-чи-вала...

Но Серегу перебили:

— Пусть Марко над своей мамкой сам читает. Родного дитяти голос до бога доходчив.

Марко, худенький, тихий, сел на место Сереги и при воцарившейся тишине начал:

— Спала-препочивала пресвятая дева Мария во святем граде Иерусалиме...

Всхлипывает, задыхаясь, мамкина грудь, дрожит и прерывается тихий голос Марко, а слезы часто-часто падают на «Сон богородицы».

— ...Во святем граде Иерусалиме, на высокой-превысокой горе Сионской. И видеся ей, пресвятой деве, сон...

Мамка вдруг подняла голову, широко открыла глаза и остановила испуганный взгляд на Оксане. Отец наклонился над ней:

— Ганна... Чего тебе, Ганна?

Ганна хотела поднять руку, да вдруг упала на подушку и стала хрипеть... Марко взглянул на нее, уронил «Сон богородицы» и закричал:

— Мамка, не умирайте!..

II

Лежит Ганна на столе, освещенная двумя трехкопеечными свечками и медленно движущимся из одного угла хаты в другой лучом месяца...

Всю ночь по очереди тужат над ней тетки. Тужат подолгу и протяжно, импровизируя, причитают. На соломе подле хаты уснули отец, Марко, Ивась и Галя. Ма-

ленький Василек спит, как всегда, в люльке. Оксана не спит. Молча просидела она всю ночь на маленькой скамеечке подле матери, не сводя с нее глаз. То поправит складку платья, то сгонит назойливую муху...

Уже разлился по хате серый дневной свет, и свечи у изголовья делались все тусклее и тусклее. Проснулись дремавшие у порога бабы. Со двора донеслись мужские голоса, заскрипели ворота, потом послышалось хрипенье пилы и стук топора. Оксана вдруг припала к ногам матери и, тихонько плача, точно жалуясь на интимную обиду, заговорила:

— Мамо, что же ты молчишь? Всю ночь, всю останнюю ноченьку я просидела с тобою, а ты ж ничего мне, бесталанной, не сказала... Скажи хоть словечко. Научи, как теперь без тебя мне на свете прожить!.. И откуда порады ждать?..

Взошло солнце, быстро разгорается знойный день. Бабуся стала будить детей и тоже начала причитать:

— Вставайте, деточки, вставайте, голубята, провожать свою голубоньку сизокрылую в далекую дороженьку, поливайте дороженьку дробными слезами, чтобы не пылилась...

Василек сам проснулся в люльке, и, когда бабушка взяла его на руки и поднесла к матери, он замычал, мотая головой, и замахал руками, требуя, чтобы его унесли из хаты.

Ивась вошел в хату и долго смотрел на пожелтевшее лицо матери, ни о чем не думая. Вспомнилось только, как прошлым летом вместе с Павлом ловил кузнечиков на лугу, где мать брала коноплю из воды. Ловили и впрягали в сделанные Павлом из травы дроги. Павло удивительно делает эти дроги. С колесами... Вдруг что-то подступило к горлу, сдавило его, и Ивась заревел, а слезы быстро потекли ему на рубашку и заслонили от него все...

Старухи молча смотрели на него и вздыхали... А Ивась плакал и чувствовал с каждой минутой, как свободно и сладко делается в груди. И когда перестал плакать, сделалось так легко, даже весело.

Похороны были на другой день. Хоронили, за дальностью расстояния от слободы, без попов. Потом были поминки: в хате и в сенях были разостланы по земле белые полотняные скатерти, которые выткала Ганна в длинные зимние вечера. Кругом, на земле же, в два

ряда сидели поминающие. Отец сосредоточенно наливал из большой бутылки рюмку за рюмкой и машинально, точно чужим голосом, время от времени произносил:

— Поминайте, люди добрые, пожалуйста, поминайте.

А поминающие ласковыми, умиленными голосами отвечали:

— Ну, нехай же со святыми почивает, да и нас дожидает...

III

Широко раскинулось сшитое из кусков разноцветное мужичье поле. Зелеными озерами волнуется только что выкинувшая колос пшеница; бегут, догоняя друг друга, серебряные волны налившейся ржи; по балкам между ними брошены красные отрезки гречихи, зеленые бархатные ковры проса. В стороне отец с Марком пашут лиловую толоку; чернеет свежая пашня. Толока длинной лентой тянется вдоль межи. На одном конце ее пасутся коровы, на другом, ближе к хутору, Ивась с Павлом пасут вместе телят и свиней. Павло старше Ивася на два года и уже все на свете знает и снисходительно сообщает Ивасю. Сегодня он описывает товарищу место, где кончается земля и начинается небесный свод. К огорчению Ивася оказывается, что до края земли нельзя дойти приблизительно на такое же расстояние, как вот от этих свиней до того проса: там непроходимое болото. Так земля болотом и кончается. Никто не мог руками небо потрогать.

— А как же, Павло, небо на болоте держится?

— Так небо же сверху бог поддерживает! Как же ты, дурной, этого не понимаешь!

— А оно, небо, твердое?

— Как каменюка! Не уколупнешь.

— А почему же знают, что небо твердое, коли его никто руками не трогал?

— Тю, дурной! А святые люди на что? А ангелы, а архангелы... А Николай-угодник... Ива-ась!..

Павло вдруг устремил полный ужаса взгляд на сумку Ивася, из которой торчал конец копеечной деревянной свирели.

— Твоей мамке и девяти дней еще нет, а ты в сопилку играешь!.. Душа по мытарствам ходит, а ты в сопилку?! А? Да ты знаешь, что до шести недель даже ртом свистеть нельзя, а не то что в сопилку. Когда моя бабуся

умерла, так я даже на свиней не свистел, чтобы душа не полохалась. А ты в сопилку! Да ты знаешь, что за это на том свете бывает? А?

Ивась молчал, пристыженный, перепуганный, с нависшими на длинные ресницы слезами.

— Дай сюда сопилку,— скомандовал Павло.— Сейчас же надо потрошить ее на мелкие кусочки, а кусочки в пшеницу забросить!

Маленький Савонарола положил свирель на дорогу и, страшно вытаращив глаза, уже поднял было над ней ногу, чтоб раздавить ее как змия-искусителя. Ивась вдруг зарыдал.

— Чего ты, дурной?!

— Эту со-пилку мне ма-мамка с ярмарки привезла... Теперь уже... никто мне не ку-упит...

Павло сурово смотрел на него.

— Ага! Так, значит, тебе сопилку жальней, чем мамкину душу? Жальней, да?

Ивась, не отвечая, рыдал.

— Ну, говори ж! Жальней? Да? Значит, пусть мамкина душа мучится? А? Ну хорошо! Пусть, пусть!

Павло, укоризненно кивая головой, отошел в сторону. Было ясно, что он умывает руки и за последствия не отвечает.

— Знаешь что, Павло? Давай сопилку закопаем в землю... Пусть лежит до шести недель... А когда выйдет шесть недель, откопаем.

— А, часом, ты не выкопаешь раньше?

— Нет.

— Побожись... Нет, ты не просто божись, а съешь грудку земли. Вот эту...

Павло поднес Ивасю комок земли, который тот, в знак страшной клятвы, с готовностью съел.

— Ну, теперь так.— Павло торжественно отнес свирель в траву и закопал ее. А Ивась для памяти вырыл на толоке два громадных будяка и посадил по сторонам свирели.

IV

В обед Ивась пригнал телят на водопой и забежал во двор. Там пусто и тихо. Только под навесом Галя возится с курицей, допрашивая ее:

— Ты все сидишь? Сидишь?

Курица в ответ квохчет.

— Ага! Значит, желаешь быть квочкой, а нестись не желаешь?.. Не желаешь?.. Так я ж тебя сейчас искупаю!

Галя хватает курицу в охапку и мчится с ней к пруду.

Ивась вошел в хату. А хате еще пустыннее и тише. Только мухи жужжат, да воет за углом хаты знойный летний ветер. Или это пчела гудит там за хатой? Ивась полез на полицу и отыскал высохший кусок коржа, оставшийся от поминок.

— Царство небесное.

Перекрестился и с аппетитом стал грызть окаменевший корж.

А ветер за хатой плачет так жалобно... Как жутко стало в хате! Но выйдя на огород, Ивась увидел, что то не ветер плачет, а Оксана тужит. Сидит под вербами, обхвативши колени руками, и, положив на них голову, смотрит перед собою большими глазами и тихо-тихо не то плачет, не то поет. Тянется монотонная жалующаяся мелодия, как тоненькая нитка от медленно развертывающегося где-то там, на дне души, клубка. А в широко открытые, с остывшим взглядом, карие глаза Оксаны видно, что нет конца это нитке, что не вмещает детская душа кем-то без жалости вложенного в нее этого огромного клубка горя...

Ивась прошел перед Оксаной к пруду, но она не заметила его.

Только бабуся, ощупью по-над плетнем пробирающаяся на огород, узнала его по шагам и окликнула.

Приехали поить лошадей и отец с Марком. У пруда им встретилась толпа баб и ребятишек, только что вытащивших из воды утопавшую Галю с крепко сжатой в руках мокрой курицей. А в огороде медленно бредет на крики полуслепая бабуся. А под вербами сидит Оксана, с трудом, как будто от тяжелого сна, поднявшая голову на оклики отца... Стоит он среди двора, растерянно озираясь кругом. Но надо ехать в поле: оно не ждет.

В поле хоть и нет людей, но все живет, все молодо и нет этой могильной жути, что поселилась там, в хате. Гудят пчелы над гречихой, кричит перепел в золотом жите, и заливается жаворонок в синеве неба. Проселком между хлебами кто-то едет, но не видно ни воза, ни лошади, только дуга движется поверх ржи. Коршун вылетел из овса и полетел к горизонту, где дрожит и колышется в знойном воздухе лиловый лес.

А вот и родная нива. Высокой волной ходит пожелтевшая рожь. После Ивана Купала можно уже и косить. А кто ж будет вязать ее в снопы?..

— Ах, Ганна, Ганна! Не захотела ты больше свою родную ниву убирать? Четырнадцать лет убирали, знали в ней каждую травку и каждую бороздку. Да на пятнадцатый ты притомилась... С кем же мне теперь убирать ее?..

Едет отец вдоль своей нивы, задумался, и впервые в жизни видит едущий рядом Марко, как из глубоко запавшего глаза выкатилась слеза и покатилась по сухой почерневшей щеке...

А колосья какие крупные! Золотые... Еще недавно они были зеленые; мать принесла пучок их с поля в хату и, радостно улыбаясь, ждала хорошего урожая. Если бы сейчас встала и увидела, засмеялась бы от счастья!

V

Догорает летний день. От вербы, под которой сидит Оксана, обнявши Галю, протянулась по земле длинная тень. Мимо проходит от левады, с выбеленным полотном на плече, тетка Наталка. Она остановилась над Оксаной.

— Будет уже тебе, моя дытына, будет убиваться. Этим уже не поднимешь, только себя высушишь. И так уж ты, как сухая былочка, от ветра валишься. А ты же в доме старшая! Нужно быть за хозяйку... Снится тебе мамка?

— Снится.

— Часто?

— Как сомкну глаза, так и снится... Ходит по хате, и говорит, и смеется со мной, а открою глаза — пусто...

— Вот то, должно, к хворобе!

Тетка сокрушительно качает головой и идет дальше. Солнце золотит крышу хаты последними лучами. Вот со двора донеслось причитание бабки. Оксана прислушалась и повела Галю во двор. Бабуся на том месте, где умирала мать, сидит, обхватив виски руками. В коленях у нее играет Василек. Оксана села с Галей подле бабуси и так сидит, не двигаясь, устремивши в пространство застывший взгляд, а бабуся обняла их обеими руками и продолжает причитать. Слова, хоть без размера, льются, как давно знакомая песня:

— Ой, куда ж ты улетела от нас, голубонька, и куда будем поклоны тебе посылать, и с какого далекого краю станем в гости тебя дожидать?.. Да придет же снова красное лето, и вишневые садочки зацветут, станет в них соловейко щебетать, станет в них зозуля куковать, и станут твои деточки тебя в гости ждать. Рано-рано встанут — до сход солнца, чтобы долю не проспать, умоются росою холодною, выйдут в поле, на дороженьку, станут смотреть в далекую сторонушку... Ой, высоко солнышко поднялось, слепит очи сиротские, сушит слезы горючие, треплет сухой ветер волосыньки белые, а матинки их все не видать. И станут спрашивать о тебе у добрых людей... Да никто же не видал и не помнит тебя. И вернутся в пустую хатыну. Не другой ли дорогой пошла? Ох, и нету тебя, и не будет... Кто ж твоих деток-куколяток приголубит? кто горючие слезы утрет? кто бесталанной твоей Оксане русу косу заплетет?.. Ой, доченька ж моя, лебидонька! Или мы тебя чем прогневили?.. или долю свою проспали? или в неделю до службы бесталанные свои головоньки мыли?.. или святую пятницу не соблюдали?..

— Будет уж, бабуся, убиваться,— обнимает ее Галя, стараясь подражать тетке Наталке.— Будет! Этим уже не подымешь, только себя высушишь...

И пока бабуся тужит, а маленькая Галя ее увещевает, забравшиеся в огород свиньи уничтожают наполовину огурцы, капусту и выкапывают целый угол картофеля. Только вернувшийся с поля отец выгоняет этих гостей из огорода. Затворивши за ними калитку, он долго-долго стоит неподвижно у плетня: высчитывает, давно ли умерла Ганна... Сколько дней прошло?.. Как недавно!.. Как далеко еще до шести недель, чтобы можно было жениться! А ведь кажется — уже давно-давно... Как медленно тянутся черные дни... И зачем это непременно нужно шесть недель ждать? Нива ведь не ждет! А от огорода через шесть недель только черная земля останется... А дети в пруде потонут...

Ночь тихо дышит на него запахом луга и огорода, окутывает его и превращает в неподвижный силуэт...

Уже забелели при месяце вербы и хаты. Семья ужинает в хате. Оксана качает в люльке Василька. Молча ужинают. Только Оксана без конца тянет колыбельную мелодию, тоже без слов — не то песня, не то плач:

— Лю-лю, лю-лю, лю...

Но не хочет сегодня спать Василек, плачет:
— Ма-ма...
— Да! Мама!—отвечает ему бабуся. —Вспомнил когда! Как же! Дозовешься... Народила вас мама, да с собой не забрала...
Отец бросает ложку на стол и быстро выходит из хаты.
— Лю-лю, лю-лю, лю...

VI

С полей уже свезли на гумна все частые копны. Только изредка по дороге к хутору проползет нагруженный снопами воз. Нива лежит теперь спокойная, гладкая, сверкая на августовском солнце золотой стерней. Куда ни глянь — до самого горизонта золотой простор. Так бы, кажется, лег на эту землю и катился бы вплоть до того места, где она сходится с небом... Телята свободно ходят по ней, Ивасю уже не нужно ежеминутно быть на страже, чтобы они не вскочили в шкоду. Теперь уж он может, забыв обо всем на свете, слушать рассказы Павло о том, как из монахов получаются мощи, как середь моря живут люди-писиголовцы, которые говорят совсем не по-нашему: корову лошадью называют, а лошадь — коровой, отца — матерью, а мать — отцом; как баба Хвеська, знаменитая на весь хутор ведьма (Павло сам видел у нее рябый хвост), подбежала однажды к Павлу, когда тот полдничал, «ковтнула» весь его полдник и исчезла...

Сегодня наконец исполнилось шесть недель. В эту ночь Ивасю очень плохо спалось: снились все несчастья с сопилкой. То будто едут по полю страшные разбойники вроде писиголовцев, с большими пушками, едут прямо к двум пожелтевшим будякам... Подъехали, выкопали сопилку и увезли с собой... Ивась с криком просыпался, а когда засыпал снова, возле будяков являлась ведьма Хвеська в образе свиньи и, выкопав сопилку, начинала грызть ее.

Но вот прошла кошмарная ночь. Ивась с зари еще в поле, у пожелтевших будяков, и с нетерпением ждет Павло. Приехал Павло, и сопилка торжественно вырыта.

— Ну, теперь грай, можно,— снисходительно разрешил Павло.

Ивась выбил из свирели землю и заиграл:

В кинци гребли
Шумлят вербы...

И с первых же звуков, печальных, чуть хриплых от слабости, перед Ивасем живо встала обстановка, в которой он научился этой песне. Перед троицей мать пропалывала огород, а Ивась был с телятами тут же, под вербами на леваде.

Мать пела свою любимую:

В кинци гребли
Шумлят вербы,
Що я насадила...

И Ивась тут же подобрал эту песню на сопилке.

На леваде зеленела тогда высокая трава, цвел пахучий чибрец и петров батиг. А теперь там трава уже пожелтела, и цветки давно засохли... Ивась вдруг бросил сопилку, упал лицом на жнивье и стал биться в рыданиях.

— Тю, дурной! Чего ты?— удивился Павло.— Вот же ж цела твоя сопилка. Ну?..

Но Ивась не слушал, сдавил побелевшую на солнце голову руками, кусал стерню и кричал, рыдая так громко и с таким отчаянием, с каким кричал первый раз в жизни.

VII

Когда вечером Ивась подогнал телят к хутору, у крайней хаты, как и в день смерти матери, показалась тетка Наталка и замахала ему обеими руками:

— Иди скорей домой!

— Зачем?

— Мамка зовет!

Ивась рванулся к тетке, но захватило дух, потемнело в глазах.

— Новая мамка!— объясняла тетка.— На оглядины приехала... Ты ж смотри, Ивась, слушай сюда: как войдешь в хату, так поклонись низенько и скажи: «Здравствуйте, мамка!» Потом подойди и ручку поцелуй. Идем же скорей...

В хате за столом сидело много знакомых и незнакомых людей. Перед столом стоял отец в новой чинарке, подпоясанный широким цветным поясом, с бутылкой в руке, и угощал гостей. Лица у всех веселы, раскраснелись,

все говорили громко, мало слушая и перебивая друг друга. На почетном месте сидела приземистая краснощекая баба в зеленом платке, с маленькими черными глазами; на одном колене у нее сидел Василек, на другом Галя... Марко сидел рядом. На Ивася сейчас же обратили внимание. Громче всех кричавший дед, по-солдатски стриженный, с красным носом, закричал Ивасю:

— А! Еще один некрут? Ну, это вот твоя мамаша, а я тебе буду дедушка! Говори: «Мое почтение, ненаглядная и многоуважаемая мамашенька Агафья Сидоровна! Позвольте ручку». Ну, говори: «Рад стараться!» Нестроевая рота!

Снова вихрем схватился общий разговор. Какая-то сваха куда-то полезла целоваться и обдала Ивася густым запахом водки.

— Я восемь лет служил богу-государю!— кричал стриженый дед.— Усе прахтики и рихметики произошел! А потому на три сажня скрозь землю усе могу видать — женишься на моей дочке, скажешь: мерси, папаша! Потому — пуля — не дочь! Сват Панкрат, да выкушайте ж!

Чоловика нема дома,
Теперь мени своя воля!
Прийди, прийди, мий хороший,
Скинь чоботы, прийди босый,—

запел визгливый женский голос.

— Позвольте, позвольте!— замахал кулаками стриженый дед.— Лучше военную!

Гром гремит, земля трясется,
Гуркин на коне нысется!

— Да вы, моя сестричка, не взирайте, что на пятеро детей идете, будете жить, как пани, в роскоши!

— Да наша ж Гапка чи до работы, чи до гульбы — первая!

— Свашенька моя единоутробная! Вы только представьте, сколько в моей голове ума помещается!— кричал дед.

Щоб пидкивки не бряжчалы,
Щоб собаки не гарчалы...

— Была Ганка, стала Гапка — очень сходственно!.. Чудесно!

Давно не виданный пир захватил Ивася, и самому ему сделалось так весело. Но случайно он встретил грустный,

покорный взгляд Марка, и стало вдруг до слез больно и стыдно. И никак не мог он понять, отчего это?..

— Сваточек, да где ж ваша старшая дочечка?

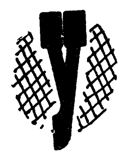
— Оксана, Оксана!.. Поищите ее, тетка Наталка.

Но как ни искала тетка, так до самого вечера не могла найти Оксану.

<1911>

ЛЮБОВЬ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА

I



Уголок Крыма, куда приехал отдохнуть Борис Николаевич Вязвитинов, представлял еще девственное дачное захолустье. Коричневая гора с обломками скал вверху, похожими на развалины какого-то кремля, опередив группу зеленых спутниц, ушла на сотню саженей в море, а сбоку у ее ног разостлалась маленькая вечно голубая бухта. А на отлогом ее берегу рассыпалось полсотни дач, из желтого и серого камня. Впереди у моря две-три белые, с вышками и парапетами, новые дачки еще не оперились зеленью, и все это — если с гор смотреть — будто стайка прикорнувших на берегу желтых гусят с гусынями.

Стоял май. Ласково обступившие бухту небольшие горы и раскинувшийся у их подножья кусок степи были заново окрашены яркой зеленью. И весь уголок, с новыми, кое-где недостроенными дачами, со стуком топоров, был невинно чистый, заново вымытый, как бывает весной в доме, когда раскрыты и празднично вымыты окна и двери... Борис Николаевич поселился на белой даче у моря, только окнами не на море — не раздражал бы прибой волн,— а на горы. Рядом на террасе были еще две комнаты: одна пустая, в другой жила дама с мальчиком лет семи. Звали ее Марья Сергеевна. По целым дням зажаривала она мальчика в песке на солнце, почернела и обожглась сама, а он оставался все такой же прозрачный и худенький. Нотариус, что занял с женой и тремя мальчиками комнату со стороны моря, иногда подходил к ним и, вздыхая, говорил:

— Да-а, барыня, мальчик-то ваш все неважно выглядит! Эх-хе-хе! Дай бог, конечно, чтобы я ошибался, но едва ли Крым ему поможет. Попомните мое слово!

Расчесывая тремя пальцами веерообразную с проседью бороду, он говорил ласково-грустным голосом, а в прищуренных мутно-голубых глазах струилось тихое довольство. Фамилия его была Белков. Если Борис Николаевич сидел у себя на веранде, то Белков, проходя мимо, говорил ему:

— Видом, милый человек, любуетесь? Что ж у вас без моря! Вот у нас — действительно видик! Вы же сколько за свою келийку платите?.. Хе-хе! Переплатили, родной мой! Мы за свою только пятью рублями больше платим, но какое же, помилуйте, сравнение!.. А в общем, я вам скажу, пошлость — эти крымские виды! Эта знойная, раскрашенная природа, как мещанка, кричит! Ну можно ли сравнить эти лысые горы с нашими грустными полями, задумчивыми лесами! Вы откуда изволили прибыть?

Борис Николаевич называет большой университетский город.

— А, город большой, но, сознайтесь, скверный! Пошлость! Во-первых, в санитарном отношении! А я из Ямска. Слыхали, конечно! Уездный городок, но чудный! Во-первых,— говорил он, загибая пальцы и причмокивая,— во-первых, по климату, здоровый степной климат... рядом сосновый бор; во-вторых, изволите ли видеть, почти на железной дороге; в-третьих, приходилось, конечно, читать,— большая торговля местными продуктами, как то: яблоками, кожами, медом, деревянными изделиями и прочее и прочее; в-четвертых, некоторые археологические достопримечательности: изволите ли видеть, в XIII веке через наш город лежал татарский тракт... Да-а! Замечательно!

Перечислив по пальцам преимущества своего города, Белков шел на берег, выворачивая ноги ступнями врозь и самодовольно ворочая бедрами.

Горничная Приська, только что приехавшая из-под Полтавы, в «мереженой» сорочке из домотканого полотна и разноцветной плахте, убирая комнаты, флегматически роняет вслед Белкову:

— Оттó, что пан бесперечь балакает, так барыня молчит.

II

Днями валялся Борис Николаевич на горячем песке у зеленых волн или поднимался в горы и бродил там, любуясь, как здесь вверху яйла уходит вдаль синими волнами, а внизу распахнулась перед ним без предела густо-голубая даль моря; где-то над горизонтом поднялась она к небу и слилась с ним в туманной мгле. Будто это на края земли и неба наброшен прозрачный, чуть колыхающийся газ. Тает и ширится душа, уносясь за этот полог,

и нет конца-края ей, трепетно растворившейся в этой огромной красоте...

И, бывает, за весь день ни разу не вспомнится пыльный, протухлый город, где камни и выпятившиеся острые углы жизни обнажили, сдавили личность, и болезненно слышишь ее, и слышишь, как она трется об эти углы, будто больная нога в тесном сапоге...

Борис Николаевич был старший врач в казенном учреждении, с большой частной практикой. Поглощенный интересным делом, десять лет не выезжал он из города и не заметил, как прошли эти годы. Но месяц тому назад на приеме у себя, выглянув в переполненную пациентами приемную, почувствовал такое гнетущее бессилие духа, что принять их всех показалось так же трудно, как если бы его заставили нести их на плечах. А за ними, в его больнице, длинный ряд кроватей...

И было такое чувство, что никуда не убежать ему от них; если же остаться здесь в городе и не бежать сегодня, сейчас, то можно задохнуться и умереть.

Борис Николаевич прошел к жене.

— Наташа, скажи там, что приема сейчас не будет,— сказал он с тоскою, опускаясь на стул.— Я не могу... Уеду из города.

Жена посмотрела на него большими умными глазами:

— Куда, Боря?

— Куда? Ну... в Крым.

Она подошла, отерла платком холодный пот у него на лбу.

— Устал? Когда хочешь ехать?

— Сегодня.

— И отлично. Вдвоем поедем или один?

Борис Николаевич помолчал.

— Поезжай один. В больнице Глухов тебя заменит. Ну, бог с тобой, мой дорогой.

Странное дело, как успокаивающе действует на него это ласкающее интеллигентностью и красотою контральто. Стало куда легче. Будто вместе с холодным потом стерла с головы эту налегшую тяжесть.

Хоть и решил Борис Николаевич немедля уехать, больных все же принял. В тот же вечер сидел у него за чаем помощник его, Семен Иванович Глухов. На просьбу заменить Бориса Николаевича на время отпуска он ерошил пальцами жесткую щетину головы и щетками нависшие брови и строго говорил:

— Я вас заменю, но я люблю называть вещи собственными именами и привык ставить вопросы на почву голых принципов. Извините за откровенность, но этих, так называемых товарищеских услуг я не признаю. Я смотрю на дело только с материальной стороны. Вы уезжаете на два месяца, и ваши обязанности полностью переходят ко мне. В таком случае голая логика гласит, чтобы полностью перешло ко мне и ваше жалованье за эти два месяца...

— Да, да,— поспешил Борис Николаевич,— это само собою разумеется.

— Прошу извинить за голую откровенность, но я хотел бы это документально оформить.

— Хорошо, я сейчас дам вам расписочку.

— Вот именно, пожалуйста, расписочку: деньги по первому требованию и вообще... вообще. Наталья Алексеевна, вы напрасно кусаете ваши нежные губки. Смешного, сударыня, здесь ничего нет! Человек имеет право на получение денег, которые...

— Семен Иванович, милый, да ведь не получите!

— То есть почему же, смею знать?

Волосатый нос его побагровел, глаза гневно засверкали. Борис Николаевич поспешил на помощь:

— Ну что ты, Наташа, конечно же, получит.

— Извините, сударыня,— махнул на нее рукой Глухов,— но это дает мне повод сказать голую и горькую истину о женском уме и... деликатности.

На другой день Наталья Алексеевна и Глухов провожали Бориса Николаевича на вокзал. Глухов крестил его, вытирая обтрепанным рукавом слезы, и, сердито хмурясь, просил помнить там, в Крыму, что здесь за него работает, «как сукин сын», человек, который тоже бы не прочь и в Крым, и на лоно природы, и «всякие фигли-мигли».

III

В июне погода как-то на целую неделю испортилась: с горных долин подули сильные неприятные ветры. Утро вставало ясное и тихое. Не колыхнется лист на дереве, море, спокойное, как река, отразив в голубом зеркале гигантскую черную скалу, чуть плещется о песчаный берег.

Но Приська, подметая террасу, уже заявляет:

— Оттó, что зранку тихо, так днем ветрюга будет.

И точно, в десять часов ветер с воем вырывался откуда-то из-за гор и все срывал, все уносил в море.

Застигнутые им молоденькие тополи трепыхались побелевшими от ужаса листьями, то припадали к земле, то рвались вперед, чтобы спастись бегством... Терраса Бориса Николаевича была с наветренной стороны: несло песок в чай, опрокидывало посуду.

Приходил Белков и, сострадательно причмокивая, говорил:

— Ай, бедные люди! Какое тут у вас безобразие! А у нас такая тишь да гладь да божья благодать! Да-а, не повезло вам! А вы пожалуйте к нам! Хоть чаю-то без песку напьетесь. Милости просим, сударыня! Доктор, пожалуйте!

Борис Николаевич отказывался, а Белков фамильярно брал его за локти и тащил к себе на террасу.

— Руку, сударыня!

Манерничая, подавал руку Марье Сергеевне.

— Погибающих привел! Отпаивай, Верунчик!.. Вера Степановна, супруга, знакомьтесь. А это мои красавцы, сыны — соколы.

За столом сидели три мальчика с серыми неприятными, как у отца, глазами и с такими же, как у него, раздутыми, будто рваными, ноздрями.

— Надо же, господа, посильными одолжениями облегчить жизнь обиженному,— говорил он, потирая руки от удовольствия, что перед ним люди, менее его счастливые.— Все мы можем очутиться в положении, когда нужна помощь соседа. Не правда ли, Верунчик?

Жена тихо отвечала:

— Да... правда.

Она была моложе его лет на пятнадцать. Неловкой, путающейся в юбках походкой ходила с террасы в комнату и обратно. Руки робко брали и ставили вещи и опускались беспомощно.

Молчаливо ухаживала она за гостями, и в ее молчании была искренняя ласка, достаточная для того, чтобы помириться с гостеприимством Белкова.

Она была некрасива. Черты загорелого лица были неправильны, расплывчаты; некрасивые бледные губы, а у краев их легли две старившие ее скорбные складки. Но красили лицо длинные ресницы и под ними карие хорошие глаза. Когда Вера Степановна обращала их к Марье

Сергеевне и ее больному мальчику, в них светилась большая любовь и грусть.

— Ну что, молодой человек?— хлопал мальчика по плечу Белков.— Плохо мы поправляемся! Эх-хе-хе! Вероятно, кто-нибудь из родителей не совсем здоров?

IV

Каждый день извозчики привозили из ближайшего города новых дачников; все они были на счету, и легко было узнать их по белому телу, когда, нагие, валялись у берега на горячем песке. И положительно сенсацию произвело, когда на соседней даче поселились художники — молодой мужчина и старуха. Мужчина был толст, одет в ярко-красную рубаху до пят, и щеки у него такие же, как рубаха, ярко-красные, а волосы по плечи. Старуха — коротко острижена, в белой поддевке и широких шароварах, запущенных в ботфорты. Прямо с дороги, оставив вещи в комнате, они пошли в горы, он — молиться солнцу, а она — делать гимнастику. А Приська уже стояла среди двора, засучив рукава, показывала на художников и докладывала:

— Отто, что спереду пошел, мужик, так то мать, а что сзаду идет, баба, так то сын.

— Какая пошлость!— возмущался Белков.

От него положительно не было спасения на даче, а когда Борис Николаевич выходил на берег, и там далеко разносился блеющий голос Белкова. Облюбовав какого-нибудь больного, Белков, сочувственно вздыхая и сладко причмокивая, говорил:

— Конечно, дай бог, чтобы я ошибался, но, по-моему, у вас, родной мой, рак!

Возвращаясь с гор на дачи, Борис Николаевич обыкновенно встречал на тропинке у подножья гор Веру Степановну с похожими на Белкова мальчиками. Они хватали его за ноги, щипали, обрывали часовую цепь или пуговицу, а Вера Степановна шла рядом, но слабо замечала это и слабо останавливала их. И непохоже было, что она мать, а не робкая бонна при них.

Свою неприязнь и раздражение переносил Борис Николаевич с ее мужа и детей на нее самое. Это портило отдых, и вместо того, чтоб пожить еще месяц, как он полагал раньше, решил уехать через неделю. Проехать вдоль Южного берега, где понравится — пожить, да и до-

мой: пора. Соскучился по жене, по работе и по городу; за полтора месяца нажил густой загар и свыше полпуда весу.

V

На склонах ближайшей горы виднелись развалины какого-то древнего храма, и вся эта гора, с молочно-серыми скалами, пронизанными золотым лучом и вознесенными к небу, как купола, была похожа на колоссальный храм, плывущий в голубом воздушном океане. Ближе к морю уходила к облакам другая гора, покрытая лесом, с чьей-то священной могилой на вершине.

Борис Николаевич отправился туда незадолго перед отъездом. Вышел с утра, но поднимался в горы, не торопясь, подолгу останавливался, оглядываясь и отдаваясь голубой волшебной панораме, с каждым шагом развертывающейся все шире. Недалеко от вершины его догнала экскурсия дачников во главе с Белковым. Борис Николаевич хотел было скрыться в кустарник, но опоздал — Белков уже был подле и блеял:

— Ага, доктор! Вот мы вас, изволите ли видеть, и догнали! Хе-хе-хе. А ведь вы часика на два раньше вышли... То-то, батенька! Ну, прошу, господа, не отставать.

Взял под руку молодую дачницу, гордо поднял веерообразную бороду и, ворочая бедрами и тонкими ногами — носки врозь, стал по крутой тропинке взбираться на гору.

— Гоп-гоп!— кричал он, останавливаясь на поворотах.

— Эх вы! Ходоки! «Учились бы, на старших глядя! Мы, например, или Максим Петрович, дядя!» Откуда это, господин студент? Э, что ж это вы так слабо! Я — «Горе от ума» напрокат... Ну, ну, Борис Николаевич, не отставать! А еще доктор! Не может состязаться!

Борис Николаевич ответил брезгливо:

— Я менее всего думал о том, чтобы состязаться с вами, господин Белков.

— Ну да уж ладно, ладно,— лукаво подмигнул дамам Белков,— на попятный! Хе-хе-хе.

Борис Николаевич посмотрел на него и почувствовал в руках сильный зуд — так охватило желание столкнуть его со скалы. Он отстал от экскурсии, и рядом с ним шла только Вера Степановна. Она сняла с головы красную

повязку, и богатые волосы, заложенные сзади в косы, выбились и закрыли уши. Шли несколько минут молча. Потом Вера Степановна тихо и серьезно сказала:

— Мой муж, кажется, вам очень надоел.

Борис Николаевич, не взглянув на нее, спросил:

— А вам?

Он сел под деревом и стал смотреть вниз на горные уступы. Вера Степановна села рядом.

— Гоп-гоп!— донеслось издалека.— Mesdames!

Борис Николаевич посмотрел сбоку на Веру Степановну. Серая юбка плотно охватывала ее ногу, открыв чулок. Под белой прозрачной кофточкой волновалась невысокая грудь. Он взял обе ее руки и посмотрел в побледневшее лицо. Она на миг подняла на него затуманенные глаза, закрыла их ресницами и улыбнулась жалкой, просительной улыбкой.

— Гоп-гоп! Доктор, не отставать!— докатилось сверху. Борис Николаевич опять почувствовал зуд в руках. Быстро обнял он ее, грубо взял за грудь и, отклонив назад, положил на траву. Вера Степановна не сопротивлялась. Через четверть часа они молча догнали экскурсию у самых развалин храма.

Дамы восторгались колыхающейся далью моря, а Белков торжественным жестом приглашал полюбоваться то со скалы, то с высоты развалин. Всякий раз, действительно, открывался новый вид. Дамы ахали, а Белков самодовольно ронял:

— Ну еще бы! Я уж знаю, что показать.

Выходило, будто он и есть автор этих картин.

Борис Николаевич удовлетворенно смотрел теперь на его выпяченную грудь и театральные жесты, слушал его козлиный голос. А когда тот обратился к Вере Степановне с каким-то вопросом и та тихо ответила: «Да... правда»,— Борис Николаевич интимно наклонился к Вере Степановне и сказал:

— Приходи ночью!

На обратном пути Борис Николаевич почти ни слова не сказал с Верой Степановной и только мельком встретил ее спрашивающий взгляд.

А ночью, когда на дачах еще не все заснули, он услышал на террасе тихие шаги, отворил дверь, увидел на закате месяца силуэт Веры Степановны и подумал: «Однако... не заставляет себя ждать...»

Ушла она от него так же молча, как и пришла. Видел

в окно, как, наклонив голову, робко прошла по аллее. Села на скамейку, беспомощно опустив одну руку, другою облокотившись о спинку скамьи и подложив ее под растрепавшиеся косы.

Громадной пирамидой вырисовывалась на лунном фоне ближайшая к даче голая гора, сквозь шум ветра слышны мерные раскаты прибоя. Стало неуютно и скучно. Будто в осеннюю распутицу по грязи идешь. Домой бы скорей.

VI

На другой день Борис Николаевич поднимался в горы, как всегда, один. Ветра не было, но по зеленому морю ходили белые гребни; валы, ударяясь о далекие скалы, окутывали их фиолетовой мглой. Ночью разразилась гроза у кавказских берегов, и теперь оттуда бежали, обгоняя друг друга, бледные тучи, будто разбитое войско в паническом ужасе с поля битвы. А внизу Борис Николаевич заметил сквозь деревья медленно поднимающуюся к нему от дач женскую фигуру в сером платье с красной повязкой на голове.

— Нет, это уж слишком,— подумал он, всмотревшись, скрылся за кустарниками и пошел дальше в горы.

Он вернулся на дачи с противоположной стороны. Проходя мимо одного из холмов, видел наверху, как художник в красной рубахе молился солнцу, подняв к нему волосатые руки, а мать, взявши руки на бедра, прыгала на одной ноге. Внизу, меж холмов белел, запутавшись в зеленом винограднике, маленький домик с круглыми окнами. Чей-то хрупкий женский голос пел в нем под аккомпанемент пианино. Мелодия стлалась над виноградником прозрачной, но неизбывной грустью, моментами радостно порываясь к солнцу, но быстро увядала и снова скорбно приникала к земле и смутно жаловалась ей на что-то...

Борис Николаевич вернулся на дачу к обеду и, разумеется, встретил у ворот Белкова. Уезжала Марья Сергеевна с мальчиком. В толстом бутузе, почерневшем на солнце, трудно было узнать того хилого, прозрачного мальчика, над которым грустил Белков.

— Что ж, слава богу,— нехотя говорил Белков, а лицо его вытянулось, сделалось скучным, глаза смотрели тускло.

Приська принесла обед из «образцовой» столовой и сказала:

— Отто, что в обед на второе баранину дают, так с вечера козла режут.

— Не может быть!— ужаснулся Белков.

— Чего ж не может быть, когда из Утуз козлов нагнали — девать некуда!

— Какая пошлость!

Борис Николаевич вспомнил, что приобрел больше полпуда весу, и сказал, смеясь:

— Спасибо и горам и козлам!

Он посмотрел на свободное место в экипаже и вдруг, неожиданно для себя, спросил Марью Сергеевну:

— Меня с собой возьмете?

Через пять минут его чемодан уже был увязан сзади экипажа.

— До свиданья, Вера Степановна!— крикнул он, увидев ее на террасе. Встав с экипажа, подошел к ней проститься и не узнал ее. Будто прошли для нее не сутки, а долгий период тяжкой болезни. Она стояла перед ним, как из гроба, бледная, с запекшимися губами, глаза ввалились, большие, пристальные, и глянуло из них столько невысказанного горя, что у Бориса Николаевича остановилось сердце и сам он остановился на полуслове.

— Уезжаю...

— Уезжаете... Совсем?

— Да... Очень жаль... может быть... когда-нибудь...

— Да?.. Правда...— тихо сказала она, крепко, чтоб не упасть, держась руками за перекинутую через плечо на грудь большую косу. А сил уже не было, и, путаясь в платье, отступала к стулу.

— Прощайте... простите,— сказал Борис Николаевич, целуя маленькую, как у девочки, руку.

Ехали на лошадях сначала меж горами, и казались они слинявшими, серыми, чем-то удрученными. Местами, расступаясь, открывали обиженно ворчавшее море...

Выехали потом в открытое поле, и здесь Борис Николаевич вздохнул свободнее.

Теперь он раздумал ехать по Южному берегу, а решил лучше побывать на Волге.

VII

Он приехал к себе в город в августе под вечер. На улицах легли тени от зданий, и задумчивая вечерняя прохлада была так приятна после крымского зноя. Городская жизнь, расстроенная за лето, уже заметно входила в колею, и это вносило порядок в душу. Хотелось самому работы, привычного распределения времени и комфорта.

Дома встретила его жена, большая, стройная и красивая. Она со звонким грудным смехом обвила его шею белыми руками, из-под тонких бровей, оттенявших красивый, как мраморный, лоб, весело взглянули на него темные глаза ее и засияли немного иронической лаской и проголодавшейся страстью. Стало уютно и весело. Был канун праздника, звонили в большие колокола. Вечером, когда пили чай, пришел Глухов. Борис Николаевич поцеловал его, а он, плохо побеждая радость, ворчал:

— Разжирели!.. А небось ни разу не вспомнили, каково здесь за вас... И деньгам не рад будешь!

Пахло от него ладаном.

— Со всенощной, Семен Иванович?

— Да. И все вот — до всенощной и после всенощной думаю об этом православии.

И Глухов начал резко рассуждать.

Отвыкнув, тяжело было смотреть на этого странного человека. Жил он где-то в сырой конуре и не каждый день обедал, так как последние гроши отдавал пациентам и уличным нищим. А в интимную минуту жаловался, что благотворительность противна его принципам и совесть его мучит, но не может он воздержаться от этой «пагубной привычки». И только, раздавая деньги, всякий раз требовал «расписочку», где проставлял проценты. Эти расписки он хранил в бумажнике, и, когда бумажник переполнялся, он уничтожал их все, и так опять до нового накопления. В публичных выступлениях он требовал заключения всех нищих в тюрьму и ссылки безнадежно больных на необитаемый остров.

Борис Николаевич представил себе свое общее с Глуховым дело и всю эту жизнь свою: показалась она склеенной, как душа Глухова, из каких-то исключающих друг друга частей. Сдавят они душу, познавшую, было, беспредельность, и, скрипя, будут тереть ее...

Стало сразу скучно и тоскливо. Жаль Глухова и еще чего-то, потерянного у моря.

И эта скука так и пошла за ним на работу, такая же тоскливо-серая, как наступившие осенние дни. И когда, прожив такой день, Борис Николаевич оглядывался на него, то день казался аляповато сшитым из пестрых полинялых и засаленных лоскутков, как кухаркино одеяло, и так же был не нужен для него, как это одеяло. Закончив прием, он рассматривал серебро, золото и бумажки, за которые продал свой день и свою жизнь... Еще недавно эти бумажки занимали, должно сознаться, большое место в его душе и засоряли ее. Лучшая половина жизни ушла на собирание их, и теперь это напоминало ему историю с гоголевским искателем клада, который под видом золота принес домой сор и грязь.

Он окунулся с головой в дело, а в душе где-то сбоку чуть слышно ныла маленькая ранка, ныла, отравляя привычное дело. Мимоходом Борис Николаевич пытался «выслушать» свою душу. Тогда ранка как будто переставала сочиться. А стоило вернуться к будням жизни, и опять это начиналось. И эта неуловимая боль разлагала жизнь на мертвые элементы, бессмысленные, ненужные в своей обособленности...

Он сидел за обедом и слушал, как жует жена, прислушивался к собственному жеванию, представлял его как врач. Ах, как это ненужно и некрасиво! И этот обед и два приставленные к нему жевательные аппарата!.. Вот дом себе нажил. Зачем?

Испортятся оба эти жевательные аппарата, вынесут их отсюда с предосторожностями, подальше от дома, и закопают поглубже в землю.

— Хороший у нас, Наташа, дом... стильный.

— Хороший.

— А хорошо бы, Наташа, бросить его...

Наталья Алексеевна посмотрела на него внимательным взглядом и поняла, о чем он говорит.

— Что ж, давай бросим,— сказала она.— Не мы для дома живем, а дом для нас строился.

— К сожалению, не совсем это так, и, во всяком случае, у нашего дома больше шансов на бессмертие, чем у нас с тобой.

Наталья Алексеевна перестала есть.

— Боря, ты скажи ясней... Я ведь давно вижу, что у тебя назрело что-то новое. А?

Борис Николаевич ничего не ответил, а Наталья Алексеевна стала говорить искренним, всегда проникавшим в душу голосом, что жизнь их, в сущности, и самой ей начинает казаться скучной и бесцельной.

— Может быть, оттого еще, что детей у нас нет. Если ты, Боря, нашел новую дорогу, так что же нам мешает пойти по ней!

— Никакой дороги я не нашел и не ищу.

Видел он, что теплые слова ее, оставаясь за порогом его души, не греют, не нужна ее любовь и дружба. И эта ненужность была для Бориса Николаевича едва ли не самой большой неожиданностью. Когда он и Наталья Алексеевна встретились в жизни и узнали друг друга, оба увидели, что созданы один для другого. Их любовь, страстная и глубокая, была всегда освещена полным взаимным пониманием, тожеством убеждений. Они всегда были чуткими друзьями. И то, что она была практичнее и энергичнее его, создавало покой и удобство в их жизни, делало ее законченной.

Были и невзгоды, тогда он находил в ней сильного товарища и горе переносилось легко, а будущее казалось таким ласковым, светлым, как смех Натальи Алексеевны. Но вошла жизнь в какую-то мертвую полосу и стала тлением, кто-то дохнул на нее — завяли и осыпались ее цветы. Несчастья не случилось. Но произошло что-то неизмеримо большее, чем пережитые доселе счастье и несчастье, и стало ясно, что дружба и любовь жены уже не помогут: бессильны и скучны они, как этот полный ими дом.

VIII

Поздно ночью возвращался Борис Николаевич от тяжко больного. Была уже зима, морозный ветер гнал по пустынной улице столбы сухого снега; извозчик попался плохой, белая от инея лошаденка бежала мелкой трусцой, запинаясь и дергая, когда полозья саней взвизгивали на обледеневших камнях мостовой. Сидел Борис Николаевич, закутавшись в шубу, в полудремоте, а где-то далеко-далеко запел женский голос. Откуда он сквозь визг полозьев и вой ветра донесся сюда? Может быть, через затененные стены одного из этих спящих домов? Борис Николаевич прислушался — так же скрипят полозья, гудит, мешаясь с вьюгой, электричество в теле-

графных проводах, а песни уже нет. Но сразу узнал и голос, и песню: засверкал ослепительный крымский день с зеленой далью, с золоченою горой-храмом, плывущей в лазурных струях, с белым домиком, утонувшем в винограднике... И вот уже Борис Николаевич на горе, усеянной красными маками, а снизу, от моря поднимается еще один маковый цветок, ближе, ближе — уже не цветок, а красная повязка на голове... Стало ясно, отчего где-то в душе ранка, что сочится смутной, но непреходящей жалостью.

С этой ночи Борис Николаевич замкнулся в себе, перестал бывать в клубе, в гостях. Любил возвращаться от больных домой поздно ночью, когда жена спит; до утра сидел тогда в кабинете у себя недвижно, закрыв глаза. И уходила прочь эта грубо сколоченная жизнь. Приходила жизнь другая, и поднимался он на гору. Чуть слышен в тишине глухой прибой, и стелется внизу голубой полог, без границ вдали, с белыми кружевами у берегов. И мелькает там на мутно-зеленых пригорках белая кофточка и ярко-красная повязка. То скроется в долине, то опять покажется на холме. Вот и скрылась в последний раз. Долго и напрасно ждет он, чтоб поднялась к нему,— нет. О, как здесь одиноко! Тогда сам он идет вниз, мимо белого домика, слышит: знойно звучит в нем тоскующая мелодия. И ясно теперь, о чем это она так жалобно рассказывает.

— Правда ли, Вера?— ждет он подтверждения тому, что слышит в мелодии. А тихий, тихий шепот:

— Да... правда.

А рассказывает мелодия, как в знойный, благовонный день молодость и красота с робкой лаской ждет, чтобы морем ли приплыло, из-за гор ли прилетело к ней золотое счастье. Пусть спешит, пока поют зеленые волны и смеется красное солнце. Однажды ведь приходит молодость, и однажды к ней счастье прилетает... Но ушло солнце за горы и послало холодную тень вместо счастья, унесло волной молодость, и тихо плачет кто-то в сумерках и жалуется, что молодость не встретилась со счастьем.

А ночь стоит душная, прозрачная. В окно видны цветы сирени и лилии на куртинах. Борис Николаевич ждет, замирая от счастья и страха: придет ли? Она пришла, и, упав на колени, целует он теперь маленькие руки и край платья, а в глазах ее ласка и скорбный вопрос:

— Да?.. Правда?..

Правда ли, что на эти глаза наступил он грязными ногами?..

Душат и рвутся рыдания.

А за дверью кабинета слышны тревожные шаги жены.

IX

На прием как-то пришла молодая девушка с большими голубыми глазами и слишком ярким румянцем на прозрачных щеках. Борис Николаевич дал ей совет немедленно ехать в Крым.

— Здесь у нас морозы трещат,— говорил он,— а там уже розы цветут и синеют горы. И вот вы, хорошая моя, тихонько поднимайтесь на эти горы. А на горах свежая травка... Развернется и засверкает перед вами море. А внизу дачки, а там зазеленеет скоро виноград, а потом по горам маки покраснеют, а там...

Волнуясь и торопясь, рисовал Борис Николаевич незнакомой барышне знакомые картины, и душа его, замирая, дышала этими картинами и надышаться не могла.

— Знаете что? Вы, собственно, когда хотите ехать? Хотите — сегодня? А? Я вас до Ялты довезу. А мне там... дальше немного. Хотите? Вы не бойтесь меня!

Вечером Борис Николаевич уехал в Крым. Устроив больную барышню в Ялте, он пароходом поехал на Феодосию.

Из-за коричневой горы медленно развернулись знакомые места с синими волнами гор на западе; самых дальних не разберешь — горы то или седые клочья туч на вершинах...

Вот и перламутровый залив с песчаным берегом и опустевшими, заколоченными дачами. Борис Николаевич почувствовал, что та, прежде созданная им жизнь теперь опустела и заколочена, как эти дачи. А с ним здесь большое, как море, счастье. Никогда и не подозревал он о возможности его на земле.

Вот впереди та самая дача, с деревцами, теперь обернутыми соломой... Как много невероятного в человеке! Полгода тому назад здесь он презрительно раздавил ногой что-то такое, что неведомо для него упало в его душу зерном новой жизни.

Ему за сорок лет; думал — отцвела душа, а она вдруг зазеленела небывалой красоты побегами, как зацветут по весне эти голые деревья.

В Феодосии Борис Николаевич сел в поезд и поехал в Ямск.

Он приехал на рассвете третьего дня. От вокзала до города пришлось ехать полем. Потом — кривые, занесенные снегом улицы с накренившимися заборами и подслеповатыми домиками. Потом выехал на громадную, как поле, площадь. Белыми привидениями носятся по ней столбы снега, где-то далеко мерцает фонарь. Покажется и снова скроется в сугробе. Извозчик в треухе обернулся и спросил:

— Вам же, барин, куда?

— Куда? А гостиница здесь есть?

— Есть. Постоялый называется.

— Туда и вези.

— Ну, вам куда больше желательно: к Пшеничному или к Савоське?

— А не знаю, право.

— Да вы благородный господин или так, за шкурами?

— За какими шкурами?

— Разве ж вам неизвестно? Сегодня ж среда — шкурный день называется. Базар же!

— Нет, мне это не нужно.

— Значит, к Пшеничному.

Долго стучались они в ворота, над которыми висел затрепанный ветром пук сена. Вышел старик с фонарем. Через двор, заставленный санями, он провел на кухню, а потом в номер — низенькую комнату с огромной деревянной кроватью и старинным диваном, у которого отвалилась одна ручка и половина спинки.

— Пачпорт пожалуйте,— сказал дед, получил паспорт и молча ушел.

Было пять часов. Борис Николаевич лег спать, но спал плохо. Утром разбудил его базарный гул за окном. Взглянув в окно, Борис Николаевич увидел, что громадная площадь теперь полна крестьянскими санями. А посредине площади торговые ряды с развешенными на шестах кожами и какими-то кипами. Тоже, вероятно, кожи.

Борис Николаевич вспомнил разговоры Белкова.

В крестьянских санях были видны деревенские про-

дукты. Шли мимо окон горожане и горожанки с пустыми корзинами и с провизией, и сыпался на них тихий ласковый снег. Долго смотрел на них Борис Николаевич.

Отставной полковник, сердито хмуря белые брови, выбирал в санях новый веник. Дама в капоре и шубке с кенгуровым серым воротником остановилась у саней с битой птицей и молча смотрела, как мужик, подняв из саней гуся, кричал и бил гуся и себя рукавицей.

Баба в зеленом платке тоже остановилась и все смотрела то на гуся, то на даму.

Борис Николаевич взглянул на даму и узнал в ней Веру Степановну. Загар у нее сошел, лицо было бледно, и мороз его не разрумянил.

Борис Николаевич засмеялся, вышел на площадь без шапки, подбежал к ней и за тихим радостным смехом ничего не мог сказать. Она взглянула на него, сразу узнала и не удивилась тому, как он попал сюда и почему стоит здесь зимой без шубы и шапки. А то, что прочел он на ее лице, был ужас и отвращение. Быстро пошла она прочь по сугробам, рядом с дощатым тротуаром, шуба путалась в снегу, и, обессилев, она остановилась.

Остановился и Борис Николаевич и стал говорить ей о своей чистой, большой любви и о том, что величайшее несчастье его жизни — это воспоминание об отношении к ней в Крыму и что, едучи сюда, он думал, как отдаст жизнь, чтобы загладить это зло.

Снег сделал его голову белой, и слезы текли по мягко вьющейся русой бороде.

Потом Борис Николаевич оделся и пошел к ней на дом. Белков был в конторе, и Вера Степановна говорила, тихо жалуясь, что никого до него не любила, а полюбив его с первого дня знакомства, потеряла волю и все слова; взял он всю ее душу гораздо раньше, чем взял тело, и если бы он приказал ей тогда броситься со скалы, она сделала бы это так же беспрекословно, как отдалась ему. И как это было бы хорошо! Умерла бы не поруганная.

— Умерла бы я счастливая и благодарная, — говорила она с мечтательной улыбкой.— Не знала бы обиды до могилы и не пришла бы, вместо любви, эта физическая брезгливость к вам. Я ведь и теперь думаю, что моя душа родилась только для вас, и когда я вас встретила, тотчас поняла, почему мне всегда так хотелось в Крым...

А вам случилось плюнуть в мою душу... Ах, Борис Николаевич... Научите, как мне это забыть,— тихо сказала она, вся содрогаясь.— Сижу вот и чувствую на себе вашу грязь, от которой не отмыться... Господи, какая гадость... Как мне жить? Как жить?..

Борис Николаевич молча вышел и потом долго ходил по базару, останавливаясь иногда; и думал, сквозь крики баб и мужиков, о том, что и его душа, очевидно, родилась для Веры Степановны и любовью к ней чиста теперь, как была чиста только в детстве. И вся новая жизнь его теперь здесь, подле нее.

— Как странна и загадочна жизнь,— думал он, кружась между саней.— Мимолетное животное обладание неизвестной женщиной осквернило ее душу и отняло у нее святыню любви, как будто для того, чтобы передать ее мне и к новой жизни меня возродить.

Деревенская баба с сукнами дергала его за рукав и кричала:

— Говорю, вертайся! Дешевле, хоть увесь базар обойди, не найдешь! Чудачок барин!

Борис Николаевич остался жить на постоялом дворе, в том же номере. Вечерами он слушал, как воет метель за окном, и дробно стучат вьюшки в печке, и за стенкой старик читает по складам поучение Родиона Путятина. А утром ждал, когда выйдет Вера Степановна с корзиной. Иногда только смотрел на нее в окно, чаще ходил рядом с ней и слушал, как она говорит с торговцами все тем же ровным, обессиленным грустью тоном, каким говорила и с ним, и с мужем.

И так это было просто и хорошо. Иногда она огорченно говорила:

— Боже, как дорого!

Тогда Борис Николаевич уговаривал торговцев уступить и был рад, если это удавалось. Но обыкновенно Вера Степановна, улыбнувшись, махала на него своими тонкими пальцами и расплачивалась. Это уж и вовсе радостно было.

А когда у Веры Степановны было какое-нибудь горе, Борис Николаевич уже чувствовал это, и не видя ее. Тогда он шел к ней домой.

Встречался он и с Белковым, который, причмокивая, рассказывал о чьем-нибудь несчастье и благодарил бога за то, что у него все так удачно. И в тоне его слов в этих случаях звучала искренняя религиозность.

К Борису Николаевичу он относился сначала вежливо. Но потом выпятил грудь и, ворочая бедрами, сказал:

— Милостивый государь! Прошу прекратить ваши пошлые и, смею уверить, тщетные преследования моей супруги!

После этого Борис Николаевич стал еще реже встречать Веру Степановну.

X

Однажды, в конце марта, Борис Николаевич возвращался с Верой Степановной с базара. Шла дружная весенняя росталь, на немощеной базарной площади и на улицах стояла невылазная грязь, перемешанная с навозом. Кругом все разбухло от сырости, забрызгано было грязью. В канавах вдоль тротуаров дружно бежала вода. Чернели, дымясь, поля на горе, и только по ложбинам серели грязные клоки снега. Вера Степановна была в последних месяцах беременности, и Борис Николаевич бережно поддерживал ее рукой, неся в другой руке корзину с провизией. Рассказывал ей о своем раннем детстве, когда в такие же вот весенние дни бродил он по ручьям и так же сквозь согретый воздух весенний трепет далеких потемневших лесов отдавался радостным трепетом в душе.

И так же, как сейчас, казалось тогда, что мир только что сотворен и трепещет от первой радости бытия, и нет меры этой радости, и нельзя поверить, чтобы когда-нибудь наступил ей конец.

Когда подходили к дому Белкова, их обогнала извозчичья пролетка. Дама и мужчина, сидевшие в ней, всмотревшись в Бориса Николаевича, остановили пролетку.

Всмотрелся и Борис Николаевич и с трудом, лишь после того, как его окликнули, узнал под забрызганным грязью платком жену, а с ней рядом Глухова. Бросился к ней с корзиной в руке.

— Наташа... Ты? Голубка!.. Семен Иванович! Приехали!.. Как хорошо!

Вера Степановна, не останавливаясь, прошла в калитку своего двора.

— Но как же ты похудела!— вздохнул Борис Николаевич.

Наталья Алексеевна молча пристальным взглядом провожала Веру Степановну.

— Но что же мы, господа, здесь стоим! Идемте ко мне! Тут два шага, на базаре... Великолепно!

— Виноват,— угрюмо перебил Глухов,— вы что же это, на базаре провизией в разнос торгуете?

Борис Николаевич посмотрел на корзину, засмеялся.

— Это Веры Степановны.

— Ах в кухонных мужиках! Место ничего себе.

Борис Николаевич отнес корзину на кухню.

Пришли в номер.

Борис Николаевич весело помог жене раздеться, взглянул и руки опустил:

— Худенькая ты какая!

— Я уже это слышала.

— Больна была?.. Сейчас здорова ли?.. Выслушать надо.

Он сел рядом, гладил ее руку и щеку.

Глухов крякнул, взъерошил пальцами свои огромные брови и вытер ими слезы на глазах.

— Вот что, господин Вязвитинов: насколько я могу понимать смысл настоящего момента в его голом виде, ваша супруга предпочла бы, чтобы вы касались ее рук, щек и там прочее не как врач, а как муж.

— Семен Иванович!— сказала Наталья Алексеевна, встав с поломанного дивана; стала ходить по комнате.

— Я люблю, сударыня, называть вещи собственными именами! Кстати, доктор, это с базара шла ваша любовница или кухарка?

— Это Вера Степановна.

— А я было думал, просто Степанида какая-нибудь.

— Но здесь она мне не любовница. Вижу ее только на улице иногда.

— Да не может быть,— засмеялся Глухов.— Значит, рыцарь Тогенбург:

И душе его унылой
Счастье там одно —
Дожидаться, чтоб у милой
Стукнуло окно!

Ах, черт! И во что вам сия баллада обходится?.. Ах, оставьте, сударыня! Мы здесь не дети. Все стремимся попасть в горизонтальное положение. Но разве не видите, что эта уездная Клеопатра дразнит его! Сладостраст-

но дразнит! А он нюни распустил! Вместо того, чтобы под ножку раз, два и — мое почтение!

Борис Николаевич взял Глухова за рукав вытертого пальто:

— Семен Иванович, зачем это со мной? Ведь я вас знаю.

— То есть?..

— Я знаю, что вы любите, может быть, лучше и чище моего.

— М-много вы знаете!

— Знаю, что всю жизнь любите проститутку, с которой вы только однажды студентом встретились.

— Позвольте!— побагровел Глухов.— На каком основании!

— И это была у вас единственная встреча с женщиной.

— Это гнусная сплетня!— вскочил Глухов.

— А на груди у вас ее карточка в кудряшках. Это и есть святыня всей жизни. Родной мой...

— Ложь! — хрипло кричал Глухов сквозь слезы и весь дрожал от негодования.— Вообще я не понимаю, сударыня, при чем я здесь? Зачем вы меня сюда привезли?..

— Но ведь это же вы...

— Можете!— хлопнул он дверью.

Они остались вдвоем, стали плакать.

— Боря, едем домой. Нездоров ты, нехорошо тебе здесь.

— Что ты, Наташа! Никогда еще не было так хорошо! Только когда созерцаешь счастье, нет ему меры и конца. Цветок все лето цвел бы на полной божьей воле, а человек, грубо сорвав его, прикалывает к груди, и — завтра нет цветка. Вот так и наше с тобой счастье, Наташа: захватали мы его руками, оно и завяло. Надо бояться полного счастья!

И Борис Николаевич стал, радостно смеясь, сквозь слезы, говорить о своем новом счастье, таком светлом, какое может только в сказке представиться или во сне присниться. Без него, как без солнца на небе, дня теперь не прожил бы.

Ах, как было бы хорошо, если бы и Наталья Алексеевна осталась здесь!

— Втроем бы всюду ходили! Ах, Наташа! Ты такая чуткая! И ты увидала бы, какая это святая красота!

— Я и так тебе верю,— глухо ответила Наталья Алексеевна, поднимаясь.— Я всегда тебе верила... Только, ради бога, не провожай меня.

Она вышла на шоссе по направлению к вокзалу, а Глухов шел к ней через поле, злобно погружая ноги по колени в грязь.

— Это милое partie de plaisir[1] мне, считая оба конца, в тридцать два рубля сорок копеечек влетело!— кричал он, нещадно растирая по лицу грязь и слезы.— Просил бы весьма не забыть этой цифры!..

XI

Вера Степановна умерла в мае на третий день после родов, рано утром. А накануне вечером Борис Николаевич виделся с ней в последний раз. В спальню к ней вошел через гостиную. Проходя в гостиной мимо стола, зацепил ногой скатерть, наполовину упавшую со стола на пол. Скатерть он не поправил, но Белков, сидевший перед обнаженным столом, не обиделся, не закричал о пошлых ухажывателях. Молча поднял на Бориса Николаевича покрасневшие глаза в черных кругах. Все гладил ладонями небритые щеки, будто хотел разгладить за день покрывшие лицо желтые морщины.

Вера Степановна лежала головой к раскрытому окну. За окном стояла и смотрела в спальню белая, вся в цвету, яблоня, и лицо у Веры Степановны было такое же белое, как цветы, и смотрела она из-под компресса на лбу, как всегда, к чему-то прислушиваясь или о чем-то спрашивая. И стал Борис Николаевич тоже прислушиваться: где-то за городом пели солдаты, в водоеме среди двора полоскались и крякали утки, ворковали голуби на соломенной крыше, позолоченной вечерними лучами. Пучок лучей, пробравшись сквозь яблоню в окно, рассыпался в графине с водой. Борис Николаевич взял графин и налил воды в стакан. Поднес его Вере Степановне, но она сделала отрицательный жест рукой. Он наклонился к ней, и Вера Степановна с усилием подняла руки — хотела повязать ему галстук, но не могла, и в глазах встала предсмертная тоска.

— Господи...

— Это ничего, ничего,— успокаивал Борис Николаевич,— я сам могу... могу...

[1] Увеселительная прогулка *(франц.)*.

Завязывая галстук, стал искать зеркало и никак не мог найти. В поисках вышел в какую-то другую комнату, потом на крылечко, на улицу. Улицей в поле вышел и забыл, что искал.

Чуть зыбились при солнечном закате темно-зеленые нивы. Белое облако, мирное, рыхлое, недвижно стало в синеве над вспоенными полями, родное им... Где-то давно, давно видел он это и все забыл. Возвращалась с сенокоса партия девушек с травою за плечами, далеко слышны в вечернем воздухе их молодые голоса. В стороне лежит среди трав и цветов кем-то брошенное зеркало. Обступила его группа деревьев, а две плакучие ивы, обнявшись, грустно смотрятся в зеркало, слушают тихий шепот утешения.

. . . .

Вставало ясное, благовонное утро, и молодое солнце целовало сквозь молочно-голубой туман теплую речку, еще не проснувшуюся в зеленых росистых берегах.

Вставало солнце над городом, зажгло кресты на белоснежных главах и, горя вечной радостью, заглянуло в гостиную и стало горячо целовать Веру Степановну в гробу, зажгло парчу у ног и золоченый венчик на лбу. Стало бескровное лицо ее маленькое, как у девочки, а ресницы еще длиннее, и горькие складки у запекшихся, брезгливо сжатых губ еще резче, будто плакать собралась; и робко лежали маленькие руки на груди. Все ворковали голуби под окном, а дети в доме еще спали. Только плакал новорожденный за стеной. Молодая монашенка, высокая и стройная, как кипарис в Крыму, недвижно стоя у аналоя, читала псалтырь.

Смотрел Борис Николаевич в гроб и мало узнавал ее теперь, с закрытыми глазами.

— Да возрадуется душа моя о господе. Облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одеяй мя. Дние мои, яко сень, уклонишася, и аз, яко сено, иссохох.

И, разглаживая складки парчи у ее ног, неслышным шепотом передавал он эти слова Вере Степановне:

— Иссохли дни печали твоей, чтобы радость твоя стала вечностью.

— Аще возьму криле мои рано и вселюся в последняя моря,— звенел на одной ноте упругий матовый голос.

— Рано-рано взяла ты крылья свои,— передавал он Вере Степановне,— как это хорошо! Белой птицей ты в край моря улетела... Полетит по тебе душа моя. Высоко на горах станет ждать тебя, и взлетишь ты, очертив лазурь серебром крыла...

XII

Звенели, улыбаясь, майские дни, колосилась рожь на горе вокруг кладбища, обсаженного молодыми елями; белый город лепился внизу по реке, а за ним без краю стлались поемные луга и белели сквозь легкую дымку церкви далеких поселков, струились перелески и снова луга. Все сине и прозрачно, будто соткано только из воздуха, и оттого насквозь видно, как всюду реет душа Веры Степановны.

Только лица ее никак не мог уловить Борис Николаевич. Вот-вот, казалось, из-за колосьев глянут на него робко спрашивающие глаза, но мгновение — и ничего нет. И так это грустно было. И грустно реяла вокруг душа ее...

Остались фотографии, но они только грубо заслоняли робкий ее образ.

Однажды он перелистывал какой-то старый иллюстрированный журнал, и задумчиво глянула оттуда чья-то женская головка.

Борис Николаевич зарыдал и засмеялся от радости: так поразительно, до иллюзии, похоже на Веру Степановну.

Он прикрепил эту иллюстрацию к памятнику, который Белков поставил над могилой, и смотрел на нее рано, до восхода солнца, и тихими вечерами. А закрыв глаза, видел, как идет и уходит она: далекими тропами, зелеными холмами, идет путающейся в сером платье походкой, живая и близкая, подбирая рукой непослушные пряди волос. А на пути ее ревет, мутится в пропасти грязный поток; беломраморный мостик дрожит и шатается, готовый рухнуть, и, когда робко взошла на него, и зашатался он, отделившись от земли, Борис Николаевич в ужасе закрыл лицо руками.

Но, отняв руки, видел ее уже на высотах по ту сторону потока, а хрупкий мостик остался далеко внизу. Без конца стелются впереди ее туманно-синие холмы. И дни цветут и отцветают на далеком ее пути, и вырас-

тут годы и годы, ставши в века бесконечными рядами. Расскажет им про печаль свою.

Пришел Белков с траурным крепом на рукаве и принес много цветов на могилу.

— Это что еще за пошлость!— кричал он, срывая с памятника иллюстрацию.

Теплый закат горел над лесом, пронизав золотыми иглами и разорвав сиреневый занавес, и золотил на памятнике надпись:

«Здесь погребен прах любимой супруги нотариуса N-го окружного суда и кавалера Василия Прокофьевича Белкова Веры Степановны.

Покойся, любящая и верная супруга, до радостной встречи!»

1913

ДВА МИЛЛИОНА

Вагон — старый, коротенький, с двухместными скамейками, без полок вверху — весь трясся и стучал,— вот-вот рассыплется, особенно когда поезд идет под уклон; тогда два мерцающие над входными дверями огарка начинали метаться в агонии — то вспыхнут желтым огнем, то совсем потухнут. И судорожно метались по вагону трепетные тени, то сливаясь во мраке, то освещая разбросанные сонные и полусонные фигуры. На полу — храп, на скамейках вялый полусонный разговор. В углу плакал ребенок. Ближе к двери странник в подряснике спал, заняв всю скамью и подогнув коротенькие ноги в портянках. Напротив парень в тужурке, при цепочке и в жокейской шапке, все играл на гармонии «Сама садик я садила». Играл без перерыва час, другой...

— Хоть бы она тебе, прости господи, по швам разорвалась!— застонал странник, подняв голову от скамейки и уставившись в гармошку злыми глазами.— Не надоело?

— А иначе что ж делать, ежели спать нельзя!

— Так другим бы дал заснуть, окаянная душа!

— А все равно никто не спит, потому что это не спальный вагон. Ежели спальный вагон, то там, это верно, для каждого пассажира полагается вся скамья или, в крайности, полочка наверху, и выдается плацкарт называется. А здесь этого не полагается, потому что это вагоны местного сообщения пишется.

Странник лег и отвернулся лицом к перегородке. Гармонист опять заиграл «Садик», потом остановился и продолжал объяснение:

— В правилах игра не запрещается. В карты — нельзя, а в гермонию дозволено.

Потухли один за другим оба огарка, и в вагоне стало темно; только видно, как за темными, слегка затуманенными полями светлеет горизонт на востоке.

Длинный парень, дремавший рядом с гармонистом, хлебнул воздуху и весело заметил:

— Кондуктор свечками на турецкий табачишко зарабатывает.

— В такой темноте, ежели промеж нас охотник попадется, может и себе по карманам на уздечку заработать,— заметил гармонист.

Длинный спросил:

— А ты сам, бывает, не из охотников?

В темноте весело засмеялись, а гармонист ответил:

— Нет, это, может, ты фалетор, так начинай с гривы. Тем более что, может, вы, бывает, чаплиевские? То там такой народ, что как приедешь с лошадём на ярмарку, так только за карман держись.

— Держись, держись, только за свой! Чужого не хапни!— неудержимо захохотал парень.

Гармонист серьезно сказал:

— Нет, мужичок! Нам чужие карманы даже без надобности! Потому что у нас своего упольне достаточно.

— А вы, бувает, не из цыган будете?

— Почему ж это ты располагаешь, что мы с цыган?

— Ну да разговор ваш дозволяет: конский.

— Вот сразу и видать дурака!

— Да ну?

— Не нукай, подпруга лопнет. Про господина Калмыкова слыхал?

— Ну слыхал.

— То-то. Если слыхал, так я, брат, при калмыковских лошадях седьмой год служу. И сейчас еду командировкой в имение из города — четырех лошадёв обратно в город на скачки вести.

— Ишь ты! А по-моему — либо цыган, либо так жулик.

— Нет, брат, ошибка твоя.

Побелел горизонт, выступили из предрассветной мглы усеянные копнами поля. Взошло солнце, посеребрило мокрую от росы степь и провело золотом по сжатым нивам, в окно пропитанного аммиаком и махоркой вагона протянуло золотой столб пыли, заблестело на жестяном чайнике и осветило в углу старчески сморщенное лицо больного ребенка, уснувшего наконец на руках у кривой матери. На маленькой станции бесконечная стоянка.

Странник принес кипятку, заварил чай и, налив в кружку, долго крестил ее, громко читая молитву.

Опять затрясся вагон, потянулись глухие поля с редкими хуторами где-нибудь вдали, в степной балке.

Солнце накалило крышу вагона. Стало душно.

Засуетился калмыковский конюх:

— На следующей станции папашка должон выйтить! В семи верстах на аренде живут! Письмо я ему из города на той неделе бросил — дескать, в среду буду ехать, встречай, папашок! Второй год не видались!..

Поезд подходил к платформе, а конюх, высунувшись в окно, кричал и махал картузом и гармонией босому, сожженному солнцем старику в полотняных портках. Через минуту он, сияющий, играя цепью и отставив ногу в лакированном сапоге, торопливо рассказывал:

— Служба, папаша, легкая, хотя же и большого ума требует. Позавчера в цирке были. Ну, это что-нибудь замечательное! Двенадцать, папаша, дрессированных лошадёв, семь собак и отчасти крысы... Особенно же замечательные три акробатических клоуна! Все три между собою родные, папаша, братья. Это работают так на всю Россию выдающе!.. Понимаете, папаша, такой номер: называется гала. Один брат становится, скажем, здесь, другой от него, как до отхожих, а третий — как до паровоза. И вот первый брат становится, папаша, на бальер, кричит: «але-гоп!» (по-французскому значит «держись!») и колесом по воздуху летит второму брату на голову, и тогда, понимаете, папаша, третий брат — то же самое: «але-гоп!» — и летит уже на голову первому, и после этого они уже втроих...

Но бьет третий звонок...

— Эх, малая остановка!— огорчен конюх.— Ну, до свидания, папаша! Кланяйтесь мамаше и сестрице! Пущай приезжают. Я вам все это письменно напишу,— кричит он на ходу с площадки.

— Наговорились, как воды напились?— встречает его странник.

— Ну, где ж там! И одного номера не успел рассказать.

— Говорится, семь лет не видались, а поговорить не об чем.

— Нет, как же! Лестно!

— Чем про скверность рассказывать, лучше бы об жизни поговорил да порасспросил старого человека.

— Что ж там расспрашивать! Жизнь мужицкую мы и так знаем: говорить много — слушать нечего. Копается мужик в земле на манер слепого крота, больше ничего. А тут человек через голову двадцать один аршин летит.

— То-то что летит! А куда прилетит — дозвольте ответить? А? Ну-ка?

— На землю, конечно.

— Ага! на землю?

— Не в облака ж!

— То-то и есть, что за облака им желательно! — взвизгнул странник. Сверкнули злобой черные глаза из-под серых бровей. — Для того ж иеропланы придумали! А с каким это намерением?

— Ну, желательно все ж таки по воздуху.

— По воздуху? — злобно привскочил странник, круглый, налившийся кровью. — В голове у их воздух, вот что! Воздух пределен птице небесной, а вода рыбе, а человеку земля! И всякое создание должно иметь оборот жизни, где ему богом означено!

— Ну как же! Птица хотя и по воздуху летает, а яйца, главным манером, на земле кладет. И также отчасти корм.

— Позвольте! — плавным жестом обеих рук остановил странник конюха. — Не об том суть речи! Всякому дыханию дадено господом в препорцию. Птице дается по воздуху летать, человеку же — только чтобы дыхать. А ему, видите, желательно наоборот: самому превыше птицы летать! А ежели в писании прямо сказано: земля еси, в землю отыдеши. Значит, против бога идет и возносится, подобно сатане, иже восхоте вознестись в гордыне своей! А что вышло? Слыхал, что в писании сказано?

— Собственно, так, чтобы достоверно, — нет, не случалось.

— А бысть свержен с высоты небесной и паде стремглав, так же вот, как наши иеропланщики! Ни один своей смертью не помер! Все с высоты господом низвержены и приняли позорную кончину без покаяния!.. Значит, не преувеличивай себя! Не возносись от земли!

Черный запыленный мужик со свиткой через плечо, севший на предыдущей станции, кашлянул в руку:

— Тоже и на земле теперь — така теснота...

Сказал робко и, видя, что сердитый странник не перебивает, продолжал смелее:

— Хоть на небо лети... Сказать теперь, и у нас на Гнилой: восемьдесят дворов нас, и все у Байбуга с копы живем.

Конюх живо спросил:

— Это который Байбуг Федор Федорович, сто виноходцев имеет? Так! Это ж мому хозяину Ивану Матвеичу Калмыкову сосед! Раньше компанию водили. Это — как убилей случается или день ангела — обе фамилии было съезжаются! Ну, теперь разошлись.

Запыленный мужик, переждавши, сказал:

— Ну, в прежние года хоть и скрутно было, да земли хватало, а теперь, как сели с того боку керсонские немцы с сеялками да с букерями, расхватали на шматки! Або вешаться, або на небо до бога летить. Может, таки оглянется милосердный.

— Значит, мертвая петля называется! — засмеялся калмыковский конюх.

Захохотал, хлебая воздух, и парень рядом, что в темноте принял его за жулика. Лицо у него добродушное, белобрысое, а верхняя губа рассечена.

— Прямо петля. Уже ж такая теснота... Кабы ж керсонцы с того боку не сели... Ну прямо ж...

Махнув рукою, замолк и стал глядеть в окно.

Конюх заиграл «Садик». Тягуче заплакал разбуженный гармонией больной ребенок.

А за окнами без конца стлались и скошенные, и еще зреющие нивы загоревшей здоровым смуглым румянцем пшеницы, побуревших ячменей, матовые полосы овсов и густо-зеленые ковры проса. И ни души кругом; будто все это само собою разостлалось на просторе, будто невидимая волшебная рука поставила эти густые ряды копен, без конца уходящие вдаль, через бугры и овраги, и весело, как на ярмарке, столпившиеся далеко на горизонте в прозрачно-голубой утренней дымке.

Белобрысый парень затянулся воздухом и сказал:

— А тоже и Байбуг с фальшивых бумажек великим человеком стал.

Конюх перестал играть и значительно спросил:

— Это каким же манером?

— Да очень просто: машинкою. Ну, долго про это не знали. А он возьми да и подай государю императору прошение: «Имею, дескать, такой капитал, что могу сотельными бумажками дорогу до Киева выстлать, а четвертными билетами — до Москвы. И прошу мне выдать за мои капиталы первеющую золотую медаль!» Там как прочитали, так все ахнули: откуда такая сумма́ может набраться? Проверить надо! Послали на проверку двенадцать сенато́ров. Те считали, считали: верно! Точка

в точку, бумажка в бумажку — сотельных до Киева, четвертных до Москвы. Приходится золотая медаль! А писаришка тамошний, собою махонький, ну,— всю эту делу в щелку видел — подходит и говорит: «Считали-то вы, господа сенато́ры, хорошо, а глядели плохо».— «Как так — плохо! Почему ты так надеешься?» — «А потому, говорит, я так надеюсь, что обязанно все енти бумажки на солнце поглядеть!» Как поглядели на солнце — все дочиста фальшивые... Ну, присудили капиталу не трогать, только Байбугу не золотую, а чугунную медаль на шею в два пуда тридцать фунтов. По праздникам у церкву надевать. А писарьку золотую медаль и первейшим сенато́ром!

— Та-ак,— произнес конюх, оставляя гармонию,— значит, господин Федор Федорович Байбугов фальшивыми бумажками работают?

— Ну да — фальшивыми.

— Хорошо-с! Господа пассажиры, будьте свидетелями...

— Что же, я на покосе от тутошних мужиков слыхал...

— Найдем и мужиков... Мы найде-ем!.. Господин кондуктор! Вот этого, трегубого, к жандарину отправьте! Говорит: господин Байбугов фальшивые бумажки делают... Капитал опорочивает!.. Как это — не ваше дело? Значит, у вас в поезде можно всякие слухи распространять! Ну нет, ошибка ваша! А ты, брат, забирай-ка сумку.

— Да чего ты ко мне пристал?

— А вот подъезжаем к станции — узнаешь... Байбугов — это, брат, тебе не мы с тобою, а два миллиона чистого капиталу! Значит, по-твоему, он весь фальшивый? Ну хорошо ж!..

— Может, и не весь.

— Ага! уже не весь. Ну нет... Не отыграешься! Это, брат, ты меня, я тебя — можем жуликами называть, ну не господина первой гильдии Байбугова!

Поезд долго прыгал на стрелках, потом, дергаясь, как в судорогах, остановился.

Конюх поднялся, поправил жокейскую шапку.

— Присмотри-ка, мужичок, за гермонией.

— Та нехай она тебе сказится!

— В таком разе вы, тетенька, на струмент поглядывайте.

Взял трегубого парня за рукав:

— А ну-ка, пожалуйте...

— Куда?

— Не знаешь куда? К жандарину...

Парень отмахнулся:

— Отстань... Чего тебе нужно?

— А я тебе говорю — иди, а то хуже будет!.. Иди...

Стал тащить к выходу, схвативши за грудь. В дверях, пыхтя, застряли. Рубахи затрещали.

— Не желаешь?.. Нет?..

— Отстань, сволочь...

Парень освободил правую руку и размахнулся... Полетела на платформу жокейская шапка. А вслед ей крик:

— Господин жандарин!.. Тут политика!

Жандарм свел обоих в станцию, и пока допрашивал, дергаясь, уходил поезд, а из окна вагона полетели на платформу сначала гармония, а за ней корзинка...

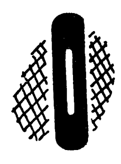
Жандарм записывал, а конюх стоял перед ним рядом с парнем и, растирая кровь по лицу, говорил значительно:

— Ничего! Это не суть! Пустяк внимания! Дракой, брат, этому делу не поможешь! Суть, брат, в словах. Весь вагон слыхал, как ты два миллиона фальшивыми назвал! Дайте, господин жандарин, телеграмму, чтоб допросили поезд.

А поезд пришел на следующую маленькую станцию и стоял там два часа. Накалился воздух в вагоне. Странник, весь мокрый, задыхающийся, допивал второй чайник. Метался и не переставая плакал больной ребенок на руках у кривой матери. И это был единственный живой голос на пустынной, измоpенной жарою станции.

1914

В РОДНОМ УГЛУ



т вокзала едем узенькими, кривыми улицами грязного торгового поселка. Мимо мелких лавчонок выезжаем на базарную площадь с громадными лужами, в которые смотрятся пятиглавая церковь и пятиэтажная немецкая мельница.

Куча грязных и шумных трактиров, клуб, «Модерн» с «Ключами счастья» и «Двадцатый Век» с «Сонькой — Золотой Ручкой» — как мало похожего на то, что осталось в воспоминаниях детства! Тогда вместо этого поселка стояла у станции одна только мелочная лавка да рядом с нею хлебный амбар с большими весами и кабак. И когда мы по праздникам привозили с хутора пшеницу, Конка, весь в орденах, босой, бежал следом через весь зеленый луг, занятый теперь торговым шумным поселком, и кричал:

— Показнили всех панов! Дайте арбуз и три копейки!

Бежал до самой речки, которую мы переезжали вброд, по камешкам. Теперь речки уже нет, хотя на месте брода выстроен большой деревянный мост. За речкой — разбросанный по косогору убогий хуторок. Тут все без перемен. Все тот же одичалый панский сад под горкой и выглядывающие из-за него ржавые крыши полуразрушенной усадьбы. А на пригорке разбросаны нищенские вороватые хаты. Бывало, из дворов, обнесенных булыжником, выбегают навстречу лошадям стаи озорных мальчишек и через весь хутор бегут рядом, слишком уж близко к мелкой поклаже... Кучер старается хлестнуть их кнутом, а бородач со злым лицом предостерегающе кричит ему от ворот:

— Я тебя, такой-сякой, постебаю каменюкою по голове!

За хутором часовня — хуторские мужики выстроили ее, чтоб не ездить в церковь, где слобожане ловили и били их за конокрадство. Под большие праздники и в пост батюшка приезжал из слободы и служил в часовне. Но однажды, пока он исповедовал, пару лошадей у него

украли. Батюшка, обидевшись, пешком ушел домой, а службы в часовне прекратились.

Теперь ржавая крыша на часовне провалилась, а стекла в окнах выбиты, и кажется, будто и часовню били каменюкою по голове.

За часовней зеленое море хлебов. Кое-где в балках, как островки, разбросаны мелкие степные хуторки в десяток хат и отдельные арендаторские дворы. Едем вдоль полотна. А миновав три белых будки, сворачиваем на слабо укатанный проселок. Вот и знакомая с детства межа, поросшая ковылем, узенькой светло-зеленою лентой протянувшаяся от железной дороги в балку, над которой желтеют подсолнухи и виден соломенный шалаш бахчевника. Ласковый майский ветер чуть поглаживает бархатную степную грудь. Кланяются высокие придорожные колосья.

Поднимаемся на пригорок: позади мреют в синеве вокзальные здания с красной водосборной башней, а впереди, в балке, показались знакомые с детства колокольня и широкий купол... А меж ними за четверть века выросла третья глава. Вот показались два ветряка: один подле церкви, другой по ту сторону балки. Уже видна вся церковь, и незнакомый третий купол ее разделился на два высоких тополя по обе стороны церкви. Открылся хутор, рассыпанный вдоль заросшего вербами оврага.

Прямо из пшеницы выезжаем мимо ветряка на зеленую церковную площадь. По краям ее, робко косясь на церковь, пятятся от нее к огородам подслеповатые, облупившиеся землянки. Подъезжаем к угловому домику, когда-то такому большому, что взобраться по вербе на его новенькую соломенную кровлю мог только погонич Тимоха. Теперь домик стал маленький, будто высох и в землю ушел. Скрипит под ногами крылечко с растерявшей столбики решеткой, повалился и затерялся в высоком бурьяне дощатый забор вокруг двора.

День рабочий — кто в степи сено убирает, кто в огороде копается. Но, видно, редкость тут заезжие: скоро окружает нас тесная кучка баб и старых мужиков, в некоторых из них с трудом узнаю знакомых в детстве молодых парней.

От вросшего в землю флигеля прошла к колодцу баба с ведрами. Вот поднимается от огорода высокий старик в смушковой шапке. Борода его бела, а могучий стан все не гнется. В воротах баба с ведрами что-то сказала

ему, указывая на нас руками. Он метнулся было к нам, но вдруг свернул в сторону и исчез за сараями.

Идем вдоль балки, заросшей буйной вербовой рощей. Припоминаю: здесь был большой пруд, в котором водилась рыба; и подле плотины лавочник Котенко поставил ситцевую разноцветную купальню. А Цезарь, матушкин лакей, ночью накануне Котенковых именин хотел сюрпризом укрепить на купальне два флага: один с продольными полосами в честь именинника, другой — с поперечными — в честь франко-русского союза. Но только что взобрался на верхнюю перекладину, как из-под вербы выплыл Гараська, вымазанный под черта в грязь. Цезарь с перепугу полетел вниз, оборвал разноцветные полотнища на купальне и, запутавшись, стал тонуть. Да Гараська вытащил. А прибежавший на крики Котенко, несмотря на франко-русский союз, сильно избил Цезаря за порчу купальни.

Теперь пруд спущен, и осталась от него только разрушенная, заросшая лозняком плотина с обнаженными корнями старых верб. Да на берегу густой бурьян обозначает когда-то спускавшуюся к плотине дорогу.

Хромая, подошел согнутый старик в рясе и старой поповской шляпе.

— А не пожертвуете, православные, на гору Афонскую, на вечное сродников поминовение?

Я всмотрелся и ответил:

— Пожертвуем, дед Гараська.

— Узнали! — радостно засмеялся дед Гараська, снимая рясу и выпрямляясь.

И кругом — старые и молодые — хохотали над очередной Гараськиной выдумкой.

— Это мне в пилиповку афонский монах наделил! Хомут взял, а рясу в залог оставил. Сказал — через неделю вернусь, да и доси нету!

Смотрю на могучую фигуру, в серые, искрящиеся юмором глаза под седыми нависшими бровями и не вижу в них следов того, что пережил Гараська и что кошмаром осталось в воспоминаниях моего раннего детства. Жил тогда Гараська на той стороне балки, у Красной кручи, в такой низенькой землянке, с окнами у самой земли, что мы не могли постигнуть, как может он, такой большой, войти туда. Была у Гараськи жена, красавица и хохотунья Полька, и трое детей; старший, Савоська, был наш сверстник.

Гараська потешал старых и малых прибаутками да затеями, а Полька все хохотала, да так громко, что жившая на этой стороне балки старая Кухта только качала головой и говорила:

— Ой, дохохочешься, скурвая дочка!..

Так оно и вышло! Однажды, когда Полька вместе с другими бабами мочила в копанке ниже плотины коноплю, какая-то серая птичка села ей на голову, пискнула и улетела. Бабы ахнули, а румяная Полька побледнела и заплакала: не к добру что-то!

С того дня на хуторе стали ждать Полькина несчастья.

Раз мужики, возившие на станцию хлеб, сообщили, что на Лонгвиновом переезде женщину машина зарезала, и бабы решили:

— Это Польку!

Но Полька в тот день не была на станции и осталась жива и здорова.

Полагали так, что осенью, когда хуторяне пойдут к Хустке на паровую машину, там обязательно изувечит Польку, как изувечило в прошлом году бабу Зайчиху, а в позапрошлом Прошкина хлопца. Но Полька и от паровой машины увернулась невредимой. И только уже зимой поутру, когда Гараська был на мельнице, а Полька, заперев землянку со спящими детьми, ушла к проруби мыть белье, несчастье наконец разразилось. В хате была солома для топки, и Савоська, проснувшись и разбудив брата с сестрой, набил соломой печку и затопил. Но труба была закрыта, и все трое задохнулись в дыму.

— Это за то господь вас покарал,— объяснял отец Матвей на похоронах,— что вы своего первенца зачали до брака, в беззаконии. И как сказано: «Злая искра поле спалит и сама исчезнет»,— так и вышло с незаконнорожденным вашим первенцем! Плачьте и молитесь не о чадах ваших, а о беззаконии своем!

Прошла зима, а весной, когда отшумела вода в пруде, и зазвенели на нем детские голоса, и по обоим берегам его закипела работа в огородах, а под Красной кручей зазеленели терн и ежевика, Полька бросилась с этой кручи вниз и убилась.

Отец Матвей не стал хоронить ее и сказал проповедь о том, сколь пагубно гневить бога и тешить дьявола смехом и веселием. Надлежит памятовать, что мы живем в юдоли скорби, и пребывать в слезах и воздыханиях. Ибо

сказано: «Горе вам, смеющиеся ныне, яко тамо восплачете».

Схоронили Польку за кладбищем у толоки, и первое время по вечерам коровы, возвращаясь с поля, подбегали к могиле и тревожно ревели, взрывая пыль копытами.

Жутко было хутору слушать этот торопливый рев, жутко смотреть на красную, будто запекшейся кровью покрытую, кручу напротив. А в сумерках темную землянку Гараськи, где так недавно любили мы играть, в ужасе далеко обходили даже взрослые. А Гараська один жил в землянке и по-прежнему потешал хутор затеями. Именно в это лето он, раздевшись донага и рыча и мяукая, гнал перед собой с ночного через все поле до самого хутора девять обезумевших от ужаса мужиков.

На следующее лето он женился на Марине, высокой чернобровой девушке из Крутого хутора. С ней он нажил пару волов и корову. Но подоспел падеж, и весь Гараськин скот подох. Марина все голосила и убивалась, как над покойниками, а Гараська, сдирая кожи, пел:

> На що волы та коровы,
> Колы в жинкы чорни бровы!

Часто приезжал заседатель, составлял протоколы и бил соцкого Родьку, зачем позволял с чумного скота кожи снимать.

А Гараська выпросил у батюшки колокольчик для потехи и вечерами вдруг начинал звонить, подражая заседательской тройке. Тогда соцкий Родька, цепляя на бегу медаль, стремглав бежал по улице навстречу мнимой тройке и в ужасе кричал:

— Запрещаю законом шкуры сдирать!

Потом у Гараськи сгорел хлеб на току, и он нанялся в работники к Котенке.

Миновав плотины и огороды, входим в просторный зажиточный двор Гараськи. В высохшей маленькой старухе, расположившейся в тени высокой хаты на траве с кучей внучат, уже не узнать румяную красавицу Марину. Не узнает и она, тупо глядя на меня поблекшими, полными слез глазами и подперев щеку высохшей рукой.

— С двома сынами орудовал,— говорит Гараська.— Да вот... Одного зимой убили, а от другого тоже... семь месяцев нету письма.

Марина стала причитать, как когда-то над волами, а Гараська объяснил:

— Оно, всех детей терять ей без привычки трудно... Я уже, как дошла черга до другого, до Василя, что было надумал: причепурюсь, усы, бороду долой, да заместо его в присутствие.

— А седая голова?

— Так на это я на станции у паликмахера мази б добыл! Стал было Василя уговаривать да приспивовать:

Ой, Василю, Василю, мое серденятко!
Не ходи ты у солдаты, нехай иде батько.

Моего ж, говорю, веку и так уже будет. Дома, может, скорей еще помру, чем то на войне... Не послухал! Да у меня ж малых детей нет, а у тебя полна хата! Вишь, рябоголовые!.. Думал было уже, чтоб не мешать в хате, в могилу убраться. А выходит — некогда. Чрез внуков придется еще годков на двадцать запрягтись!

Весь выгон за Гараськиным двором, где когда-то лепились дворы арендаторов, теперь пуст. На месте хат кучи камня да заросшие травой ямы.

— Вот тут Буряк жил, тут Стовба, а вон там — помните?— Решетняков ветряк стоял... Все Котенке пропили... Буряк на Семерик подался, Брынза так в шинку и помер, а Стовба где-то на чугунке в ремонте.

Возвращаемся на эту сторону балки мимо Красной кручи. Теперь она стала низенькой, обросла кустарником, и ничего уж нет в ней страшного. Вот разбросанное по холму кладбище. Как разрослось! Уже спустилось с холма, покрыло склоны оврага, перекинулось в поле и приняло к себе осененную двумя большими вербами Полькину могилу.

По кладбищу весело бродят овцы и телята.

— Вот тут Брынза лежит. А это ж Цезарь!

Матушка надпись сделала:

«Здесь лежит официант священника Женомироносицкой церкви о. Матфея Доброславского, с семейством, Евстигней Прокофьевич Чередниченко».

Это был ленивый толстый мужик со сладкой улыбкой на сдобном бритом лице, пристроившийся у матушки и у Котенко на кухнях и по праздникам носивший бумажный воротничок. Звали его коротко — Цезарь, по имени любимой собаки какого-то управляющего немца, умершего за много лет до появления на хуторе Чередниченки: будто бы в вилянье задом было большое сходство. Только когда Цезарь умер, объевшись поминального

меду, по матушкиной надписи узнали, какое у него длинное имя.

Опять мы на церковной площади. Идем вдоль знакомых с детства, старых, ободранных хат, за десятки лет обросших, вместо деревьев, застарелыми кустами полыни и чернобыльника. Припоминаются владельцы этих хат так живо, будто все было вчера...

— Никого теперь не осталось. Разлезлись кто куда... Бились-бились, земля не родит, а тут еще: або на скотину мор, або на людей.

Высыпавшая из дворов детвора, ласково облепив Гараську, просит:

— Деду, деду, защебечи, как соловейко!.. Ну хоть — как сорока!

Среди обширной ограды, заросшей высокой степной травой и одичавшими грушами, маленькая деревянная церковка. Неужели эта низенькая колоколенка — та самая, уносящая золотой крест под облака громада, которую мы считали самой высокой в свете!.. И колокольня, и вся церковь с покоробленной обшивкой будто сморщилась от старости и, как Марина, высохла от переполнившего ее горя людского.

За алтарем покрытая ржавчиной чугунная доска, в которую по ночам должен колотить сторож-звонарь.

А у самого алтаря, под грушей — могила отца Матвея с высеченным на плите текстом:

«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».

Рядом с отцом Матвеем — Котенко под мраморным аналоем.

— Судились до самой смерти, а померли — легли рядышком!

И здесь когда-то бушевали страсти и гремела война!

Котенко от усердия соорудил за здравие свое и супруги именной кивот с образом Козьмы и Акулины. А батюшка из уважения к лучшему прихожанину поставил кивот над клиросом. Но потом по лавке с матушкой недоразумение вышло, батюшка обиделся, велел снять кивот и снести на колокольню в чулан. Потому что Кузьма и Акулина — таких святых нету! Есть только Косма и Акилина. За это Котенко отнял у матушки подаренный было конопляник и стал обсчитывать на товаре. А батюшка и сватавшийся за его дочку семинарист стали читать в церкви вредные для Котенко проповеди: о народном пьянстве и ростовщичестве.

Было, и быльем поросло, и заросли могилы дикой травой... А пути бойцов скрестились:

— Котенко все на Афон отказал, а вдова-матушка на станции гостиницу с напитками выстроила.

Солнце не торопясь опускается к степи, а навстречу ему поднимается от полей богатая густо-синяя туча. Тени от куполов и тополей перекинулись через ограду на площадь.

Садимся в экипаж, а Гараська, провожая нас, смахивает ненужную слезу и, смеясь, спрашивает:

— А помните, как я пьяного рядчика Мелищева в клуне к стропилам привязал?

Возвращаемся на станцию, а туча быстро догоняет нас, радостно волнуется бархатная зелень пшеницы, и уже видно, как дождевая полоса спустилась за железной дорогой в балку.

1915

СВЯТКИ

I

В хате, у порога, стоял восьмилетний Онисько с охапкой сена, а бабка, маленькая да суетливая, учила его:

— Сидай, сидай на пороге да квохчи, чтоб цыплята водились!

Онисько поквохтал немного, потом отнес сено в передний угол, на лавку, а бабка поставила на него кутью и узвар.

— Сядь, Данилочку, подле теплой кутьи, подышь ею: здоровья бог прибавит!

Данило, высокий мужик, исхудавший так, что сквозь рубаху выступили лопатки, тяжело дыша, перешел от нар к столу.

Потухал за окном серый подмороженный день. Дед в кожухе и Христя в мужнином полушубке хлопотали во дворе подле скотины и птицы, и в хату доносился сильный грудной голос Христи:

— Олё, олё!

А свиньи, напуганные вчерашней историей с кабаном, которого дед на их глазах зарезал, неохотно шли на этот зов и только подозрительно хрюкали.

Дед вошел в хату и долго обивал у порога снег с замерзших сапог. Потом, раздевшись, полез на печку и стал говорить о том, что скотина плохо ест солому оттого, что ржавчина на ней: в снопах дождем была захвачена; что соседская телушка весь просяной оклунок обила — никакого сладу нет, и только ради святого вечера не хочется скандал поднимать...

А Данило слушал и не слушал... Все смотрел куда-то широко открытыми глазами. И не узнавал дед сына. До войны был такой жадный к своему добру да к мужицкой работе: трясется весь, чтобы не упустить да не проспать до рассвета в короткую петровскую ночь. А прощался с семьей да с буланым стригуном,— все наказывал, как хлеб убрать, как с зерном распорядиться, и сколько овец продать, и какой соломой клуню перекрыть. Через четыре месяца, раненный в грудь, вернулся из больницы и не

спросил, как с хлебом управились. А прошел по двору — не взглянул ни на стригуна, ни на клуню.

Длинны филипповские ночи, и задолго до рассвета зажигается в хате тусклая стенная лампочка.

Убрав скотину, старик возится с шилом над старой шлеей, Христя шьет, а бабка пряжу мотает. Дед толкует о том, что не надолго хватит пшеничной соломы: после праздников придется яшный оклунок начинать. Бабка, вздыхая, бранит кого-нибудь. А Данило тоже шилом ковыряет и, будто гость в чужой семье, все молчит и думает свое, никому не ведомое.

А спросит дед совета — он и не слышит.

Дед только крякнет недовольно: пропала у человека жадность к хозяйству. Вернется ли к лету?..

II

На горе, за слободой, потухла заря в пепельных тучках с золочеными краями. В хате перед темными образами горела лампадка, и в сумерках, в ожидании ужина, бабка учила на лежанке Ониська, как завтра христославить.

В полузамерзшее окно видна была на синем небе серебряно-голубая звезда, такая большая да лучистая, что сразу узнаешь в ней ту самую вифлеемскую звезду. И Онисько, повторяя за бабкой складные слова, думал: если взять из кошары черного с белой головой барашка и понести его по звезде, то нет сомнений, что дойдешь до яслей с сияющим младенцем... И странно, что в слободе полно людей и овец, а никто не идет за звездою. Разве самому пойти?..

Пришел на кутью двоюродный дядько Ярема, церковный сторож. Сидел на лавке, положив локти на колени, свесив голову с сивым чубом, и сообщал задумчивым полушепотом:

— Да-а... Приезжал вчера мужик с Заячьих хуторов младенца-хлопчишку крестить, так говорит прямо: «Невозможное дело! Зайчихин управляющий немцам передался: день в день на станцию телеграмму смалит».

— Кому же это он?..

— Немцам... Сингалы подает... А дьячок сегодня Шкврыю на крылосе бил: взялся часы читать, да что-сь не туда загнул.

Данило, ничего не евший за ужином, сказал:

— За Тарнополем как гнали мы австрияков, так сбил я одного штыком средь поля, а он, слухаю, припал до травы, богородицу читает...

— Цы-цы,— покачал головою Ярема.

А Данило, передохнув, продолжал:

— И рука вся в крови, а крестится по-нашему. «Чи ты,— говорю, — крещеный, чи что?» Говорит: «Крещеный, братику...» — «А ну, отченашу прочитай...»

— Прочитал?

— Прочитал,— сказал Данило, думая о чем-то своем.

Ушел Ярема часы бить. Христя убрала со стола, а бабка, взяв ложки, которыми ели кутью, положила их, в порядке старшинства членов семьи, на сено, под глиняную миску.

Потом опять, сидя на лежанке, учила Ониська христославить. В хате все уже спали, а бабка, вспомнив далекие годы, стала тихонько напевать колядовки и щедровки:

Ой сив Христос
Та вечеряты.
  Щедрый вечир!
Биля его
Та божая маты.
  Добрый вечир!

Потом и бабка заснула, и в хате стало тихо. Было слышно только частое, с хриплым клокотаньем дыхание Данилы. Стихло и на улице, где по свежим сугробам скользили редкие легкие тени от бредущих через месяц белых тучек. Уж к полуночи кто-то проехал мимо двора, а зарывшаяся в солому у порога собака стала лаять — не просто, а с тягучими подвываньями.

— На свою голову, брехуха! — гневно сказала ей бабка.

И, чтобы прекратить вой, нащупала на земле чей-то сапог и трижды его перевернула. Собака тотчас же замолчала. И опять все кругом стихло. Белые тучки сползли с неба, и месяц свободно сиял на одной половине двора, накрыв другую тенью от хаты и сарая.

— Ур-а! — захлебываясь, закричал Данило и заметался во сне.

Хата ответила ему сонным дыханием.

Было далеко еще до света, когда раздался звон к заутрени. Христя затопила печку, а старуха подняла миску над ночевавшими под ней ложками и, осветив их затеп-

ленной лампадкой, схватилась за голову и тихо заголосила:

— Ой, Данилочку ж, дытыночка моя горькая! Да пришла ж твоя годынонька смертная... Да на кого ж ты покидаешь нас, старых да малых?..

И все тотчас поняли роковое знамение: перевернулась за ночь Данилова ложка на сене.

Заголосила Христя подле печки, заплакали дети, Дед, подпоясывавший тулуп синим поясом, заморгал глазами, будто слепило их нестерпимо ярким светом или засыпало сухим снегом, и, надев обеими руками капелюх, вышел из хаты.

Данила лежал молча, широко раскрыв спрашивающие глаза, и тихо водил рукой по груди.

Чуть заметно стало синеть в окнах: рассвет близок.

Снаряжая Ониська христославить, бабка учила:

— Как скажешь, детка: «С праздником вас»,— так приговаривай: «Мой татко, на войне простреленный, умирает».

В первом же дворе Онисько встретил титаренка в новеньком полушубке и, продолжая вчерашний разговор, загадочно спросил:

— Значит, не приймаешь меня вместе христославить?

— Нет,— сказал басом титаренок,— моего батька, брат ты мой, вся слобода поважает!

— Ну и не нужно! Посмотрим теперь, кому больше дадут, если я скажу: «У меня раненый татко умирает!» Посмотрим!

Плотный скуластый титаренок недоверчиво спросил:

— Разве ж он умирает?

— Ну да, умирает! Ложка перевернулась.

Титаренок подумал и сказал:

— Ну давай христославить вместе.

И они вместе ходили из хаты в хату, сначала по низовой стороне реки, а когда совсем рассвело и встало морозное утро с легким туманом, перешли на ту сторону. Шли вдоль высокого берега, заваленного сугробами, а внизу, по накатанной дороге от моста к церкви, густо двигались мужицкие сани и пешеходы. Дымясь и звеня бубенцами, обгоняли их взмыленные пары и тройки в ковровых санях: ехали в церковь лавочники и ссыпщики со станции.

Зазвонили к обедне. Онисько остановился и, мечтательно глядя на тройки, на церковные кресты, сверкнув-

шие золотом сквозь праздничный дым из всех хат, сказал:

— Мой татко в царство небесное попадет.

Титаренок спросил:

— Почему?

— Потому что на войне убитый называется.

— Овва, какой ласый! Это если б его насмерть убили. А что дома умрет — не считается.

— Нет, считается!

— Нет, не считается. Мой батько, брат ты мой, титарь; вот сколько ни видно народу — всем по свечке даст, и каждый праздник до дому проскуру приносит. Это, брат ты мой, скорей засчитается!

Было до слез обидно, а возразить нечего. Онисько ударил титаренка палкою по шее и пошел христославить один.

III

На святках кое-кто из родичей заходил проведать Данилу, который с той ночи уже не вставал с постели; и бабка, тихо причитая, рассказывала, как снились всей семье вещие сны, как открыла она миску с опрокинутой ложкой.

Расходились родичи по домам; дети уходили с салазками на огород барахтаться в сугробах, наметенных вровень с клуней. А Христя долгими часами сидела молча у Даниловой постели и не знала, о чем говорить с мужем. За двенадцать лет привыкла только слушать его — так легко думалось его словами — и, не замечая того, считать его мысли своими.

А теперь он лежал молча, все смотрел куда-то чужим ей взглядом и думал, видно, чужое, неведомое ей. Тяжко смотреть в эти холодные глаза, на эти поседевшие, мертвыми вихрами отставшие от кожи волосы... А тут еще праздники. В будни все за работой бы немного забылась.

Алый закат отразился сквозь замерзшие окна на стене над постелью.

— Заря погорела,— сказала Христя.— Чи то на мороз, чи то на ветер...

— Так же вот...— сказал Данило, пережидая поднимающееся вслед за словами клокотанье в груди,— все небо полыхало... будто в печке. Роту к земле шрапнелью прибило, как траву градом... И всю с землей смешало...

Только я стою да кто-сь с другого краю... Дерево надо мною сбило... А оно все воет да на меня сыплет... А потом затихло... И небо потухло. А я стою.. Не одолело!..

Не знала Христя, к чему оно и что сказать на это.

А Данило опять молча думает большую думу и мучительно морщит прозрачную кожу на лбу.

Под крещенье бабка звала мороза вечерять. А задумчивый дядько Ярема за кутьей сообщил:

— На водосвятии дьячок с посмистерем со станции стражались. Посмистерь хотел какой-ся киевский глас на ноту вывести, а дьячок ноту вырвал. А посмистерь кричит: «Нога в вашем храме не будет! Лучше я на Маркову станцию поездом, потому что у меня голос соло называется и бесплатный билет».

А Данило всю ночь метался и кричал охрипшим, задушенным голосом:

— Ура! Туши, земляк, небо, а то человека спалит... Да выскакивай из ложки, а то перевернется!.. Мамо, воды!.. А читай, братику, отченашу!..

А к утру он умер.

И когда после похорон Ярема доел канун, то приставил ладонь ребром к углу рта и начал было шептать дьячку:

— Говорят, Матвей Хомич, на Волчьей Круче — чисто беда: кто-сь сингалы подает...

Но дьячок, мужчина с ощетинившимися усами и застывшей яростью в выпученных глазах, крикнул, замахнувшись требником:

— Да я тебя, мерзавец, изувечу с твоими сингалами!..

<1915>

ПИСЬМА

I

«Пущено письмо от любезного братца вашего рядового Юхима Хванасовича. Любезная сестра Настасья Хванасовна, посылаем вам нызькой поклон от белого лыця до сырой земли, и еще кланяемся дочке вашей Кулыне Мыкытишне, и еще кланяемся своему хрещеннику Охрему Мыкытовичу и с любовию нызькой поклон от белого лыця до сырой земли, и пропишить нам на счет его: чи они уже ходять, чи ще только лазять? И желаем вам всего хорошего в делах рук ваших навсегда. И посылку вашу, которую вы нам прислали, то мы сполна получили и благодарим вам за посылку премного раз, что вы меня не забули на чужий стороне».

Измятый, кое-где испачканный в грязи листок дрожит в белых пальцах Вали, и дрожит ее слабый печальный голос. Перед ней на стуле сидит, согнув спину, вытирая концом платка нос и вспухшие от слез глаза, Настасья «Хванасовна».

Лицо у нее наполовину спрятано под низко надвинутым на лоб платком, как у старухи, и только по мужу-дворнику, щеголю и хвастуну, можно догадаться, что она еще молода.

«И еще пропишить, какая у вас есть новость. У нас новостей никаких не слыхать. И какая у вас погода? У нас погода очень холодная, так что при шинели никогда не согреешься. Насчет харчей тоже бувает невыдержка, потому что мы як день, як ночь, бесперечь в огню и кровь льется. Ну, благодаря бога, что иноди картохи невыкопанные. И прошу вас пропишить вы мне про мою балалайку. Чи она целая или нет? И я сейчас нахожусь на астрицкой границе и извиняюсь, что плохо написано. Повсегда идет стражение, и некогда у гору глянуть. А тут пули зудят усе равно, как мухи над головою. А когда, бог даст, приеду, то привезу усем гостинца и своему хрещеннику хороший гостинец. Ну, прошу вас не журиться. И с тем досвидания. Рядовой ...ского полка, 9-й роты *Юхим Хванасович Закутний»*.

Настя слушает в суровом молчании, только иногда,

сдерживая всхлипыванья, потянет носом. Потом она уходит к себе в дворницкую. А Валя остается одна в комнате и снова много раз перечитывает кривые, грязные строки. Два-три раза в месяц получаются эти неуклюжие письма рядового, и пишет она для Насти лаконические ответы на них. И было поначалу странно и досадно читать эти письма: так они похожи одно на другое своей бедностью и несуразностью.

Рядом с печалью и тем, что рисовало воображение Вали, эти письма были так будничны жалки и неинтересны. Но с каждым письмом все глубже вникала она в эти неуклюжие строки и училась читать то большое, что они скрывали. И разгадала великую грусть и любовь, что невыраженная застыла в шаблоне солдатских поклонов и в безграмотных оборотах.

Вечером Валя сидит в дворницкой за столом, перед закопченной лампочкой и пишет письмо. На столе приготовленная ею посылка для солдата. Настя стоит перед столом хмурая, замкнутая в себе.

— Еще что написать?

А Настя не знает — что, и только вытирает слезы на щеках и вокруг рта.

Никита, на минуту забежавший в дворницкую, поправляет перед зеркалом гладкий пробор посредине головы и франтовские усы. В сторону жены роняет:

— Ну что ты, деревня, рюмы распустила! Ну к чему это! Без всякого понятия!

— Пропишите, что была на праздниках тетка Стеха...— угрюмо говорит Настя.— Всех овец распродала...

— Ну вот! — презрительно смеется Никита.— Ты еще об свиньях продиктуй! Русский солдат считается защитник всей России, так она ему про овец!

Слышен звонок у ворот, и Никита уходит.

— Еще что?

— Больше уже ничего,— всхлипывает Настя.

А впалая, не развившаяся еще грудь Вали волнуется острой скорбью.

Низко-низко наклонилась над письмом, касаясь его прядью каштановых волос, и стала писать без диктовки:

«Мой далекий, мой родной! День и ночь моя душа там с тобою, на страшных чужих полях, в холоде и голоде, перед лицом смерти. День и ночь я смотрю на тебя, как понес ты свою жизнь за других. А я, маленькая, больная, как все в доме уснут, на коленях стою. Все молюсь: пусть

не тронет тебя вражья пуля. Пусть ангел-хранитель защитит тебя белыми крыльями. Полетела бы сама к тебе, припала бы к негреющей шинели твоей. Встала бы между смертью и тобой!»

Пылают тонким румянцем прозрачные щеки Вали, слезы застилают глаза. А Настя следит, как темными шнурками ложатся на бумагу узенькие строчки.

II

Мелькают пестрые груднично-торжественные дни. А сквозь их пеструю сеть видит Валя, как на западе дни перепутались с ночами и время пылает одним багровым заревом, озаряя никогда не виданное дорогое лицо. Пытается Валя представить себе его черты и не может. Иногда зайдет в дворницкую. Хочется поговорить о нем с Настей, расспросить. А Настя ничего не умеет рассказать.

— Он... похож на тебя?

— Ни... я в покойного батька, а он — в покойную матерь.

На полу, пытаясь подняться на ноги, ползает тот крестник, о котором спрашивается в каждом письме с войны. Видно, там часто думают о нем... Валя взяла его на руки и стала ласкать. На стене висит балалайка, по которой он тоже скучает. Валя дотронулась пальцами до струн — прозвенели слабо, будто издалека долетели грустные, робко спрашивающие звуки.. Уходит Валя к себе и, унося с собой письма, снова перечитывает их.

«И еще уведомляю вас, не верьте, что я убитой, потому что я, слава богу, до которой минуты жив-здоров, чего и вам желаю от господа...»

«И еще уведомляем вас, что австрийцы народ голой и худой до того, что слеза берет... Хуже нас...»

«А в случае бог меня не вернет, то кожух и шапка пущай Охриму до выросту, а балалайку сватови Ехвану. А струны новые в ей в середке...»

«И еще когда читали мы последний лист от вас, то даже трохи не плакали, с товаришом, до чего все достоверно списано, неначе в книжке напечатано. Должно буть, составила вам какая-нибудь горячая душа и высокой науки».

«И покорнейше благодарим за их многоувеселительную ласку, перелетящая до нас, и за их гостинец. И если

б воны были мужеского пола, то были б моим родным отцем и братиком, а когда они женского рода, то пущай будут моими сестрой и мамой. И еще мы их благодаримо от своего лица и желаемо от бога хорошего благополучия и провести ваши дни в веселых лицах и с веселыми людьми».

— Буду, буду твоей сестрой! — обещала Валя, глотая слезы.

Стала писать ему каждый вечер. И стала ждать ответа.

А ответа не было. Шли дни, недели. Молчала Настя, и молчала Валя, и, не сознавая того, обе избегали встреч...

Однажды серым туманным утром, когда на мокрых ветвях повисли и не могли упасть холодные капли, принесла Настя письмо с заветной печатью и чужим почерком на конверте. Валя разорвала конверт и, закрыв глаза, стала опускаться мимо стула на пол. Настя посмотрела в ее восковое лицо и, поняв все, заголосила на весь двор.

Почерк письма был не такой, как у Юхима: мельче и кудрявей.

«Пишу вам неприятный привет. Вашему любезному брату царство небесное славному и храброму воину Юхвиму Закутному, павший в бою под... N 24 ноября. Попала пуля-злодейка, и похоронили под тополей возле экономии, и я поставил крест над им. Когда я ворочался в траншею по поручению харчей, то меня состревают солдаты и говорят, что твой товариш убитой. Я не верил. Когда прихожу, он лежит мертвой. И я горько заплакал над своим смирным товаришом! И похоронили, и был при том священник, и отпели вечную память. И еще я вам передаю по низкому поклону.

С тем прощевайте. *Трохим Кривородько.*

И еще прошу не сумуйте.

А молитесь богу. Така его смерть. Царство небесное братику Юхвиму Хванасовичу, потому что мы были повсегда вкупе, как близнята. А теперь его нету».

Вяло, нехотя реют и падают за окном хлопья осеннего снега, падают и тотчас умирают на грязной мостовой. И дни реют бледные, полинялые — не отличишь один от другого. Смешались в одну муть с бессонными ночами. И время, должно быть, остановилось и потухло, как потухли свет и радость в душе Вали.

Слышны мерные шаги за окном — проходят стройные серые ряды. Может быть, среди этих лиц есть и его неведомые черты. Но, прильнув к окну, искала и не находила их: неуловимо текут человеческие лица, как дождевые капли.

Но где-то сливаются капли в страшный поток, отражающий небо и обновляющий землю кровью...

Долгими часами стоит Валя у окна на улицу. Не смотреть бы только в противоположное окно дома, что выходит во двор, глаз на глаз с приплюснутым косым окном дворницкой! Тянет из того окна в это нестерпимым холодом могилы, стынет от него голова и грудь, тушит он ее сознание и сдувает ее, как желтый отмороженный лепесток.

III

Широко раскрытыми глазами смотрит Валя перед собой и сквозь знакомую с детства обстановку — стоит ли у окна, идет ли по улице — ясно видит одну новую картину: широкое поле с убегающей за пригорок буро-грязной дорогой, справа, до синего леса — рвы с валами желтой глины, а за ними обнаженный сад, и чей-то старый опустевший дом, и одинокий тополь в стороне; кружатся над ним галки; холмик чернеет у корня... По желанию Валя может удалять и приближать картину, может сделать поле без конца широким и может рассмотреть на нем каждый темный холмик до жутких подробностей...

Стали морозы, засвистела вьюга за окном. Коротая в кресле долгую зимнюю ночь, сдвигает и раздвигает Валя жуткую картину. И вдруг — раздвинулась она до края земли, тьмы народа покрыли ее, и все с ужасом и надеждой смотрят туда, где, касаясь неба, идет кто-то огромный, неся на согбенных плечах что-то светлое, как умершее Валино счастье. А под ним земля изрыгает огонь и смерть, и с треском рвется небо в клочки... сгибаясь, мечутся по небу синие и багровые полосы. Так именно представлялся Вале страшный суд.

— Донесет ли?..— спрашивает Валя, цепенея.

Но ближе, ближе он и все меньше. Уже различает она серую шинель и бескозырную фуражку с красным околышем. И сразу все стихло; небольшого роста, вошел в комнату, конфузливо обходя ковер, подошел к креслу;

просторная шинель плохо прилегает к щуплому телу — горбится сзади, воротник отстал.

И бескозырная фуражка — уже обагренный венок. Тонкая темно-красная струйка протянулась из-под него по смуглой щеке, оросила выбеленный солнцем и ветром пух ее и задержалась на шее смешанным с землею сгустком. Вот он поднял глаза, пристально посмотрел, стал оправдываться:

— Извините, что долго не писал... Так что некогда было в гору глянуть... Пули, как мухи, зудят...

Молча стоял, и когда Валя открыла глаза, не сразу поверила, что его нет уже здесь, рядом, между креслом и этажеркой.

Серело утро за окном, мерно и долго, как прибой реки, били мостовую солдатские шаги. Валя подошла к окну и сквозь замороженное стекло снова стала всматриваться в тусклый поток лиц. И вдруг ударили по глазам знакомые черты: и впалая смуглая щека, и шинель горбом... и глаза, сурово всматривающиеся вдаль... Протянув руки, закричала Валя:

— Жив!.. Тебя не тронет смерть!..

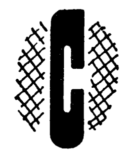
А за окном живой волной все бились о мерзлую мостовую мерные густые шаги. Высоко поднялся в морозном воздухе молодой тенор запевалы.

И день разгорался медленно да робко.

1915

БУДОЧНИЦА

I


варилась картошка, и ремонтные рабочие, завинтив рельсы и подбив песок под шпалы, сели обедать неподалеку от будки, в короткой жидкой тени от посадок. Будка стоит на высоком подъеме; в обе стороны, к станции и к разъезду № 47, сильный уклон. Видна она далеко в степи и кажется большим белым домом, а скудные, дрожащие в горячем воздухе стволы посадки вдоль пути — большим зеленым парком.

Кругом желтые скошенные поля да выгоревшие травы, а вдали на пригорке десяток махающих крыльями мельниц. Под пригорком мутно зеленеет слобода, а в стороне блестит брошенное кем-то большое стекло, блестит в степной речке.

Подле будки пусто, только бродят куры да индейки. Будочница в красной юбке отвела корову в степь. Возвращаясь, подошла к ремонтщикам, сказала:

— Хлеб да соль казенным хозяевам! — и засмеялась звонким девичьим смехом. И сама она в короткой юбке и белой вышитой рубахе, облегавшей худые плечи и слабо развитую грудь, с большой каштановой косой, была как девушка.

— Садись с нами, гостем будешь,— сказал рабочий с жидкой седой бородой и глубоким шрамом от уха через щеку.

— Сухое больно угощение у вас.

И опять засмеялась, мягко осветив глазами.

— А ты бы нам маслица аль чего там пожертвовала.

— Это можно!

Быстро пошла к будке. Обернувшись, ударила руками по коленям:

— Съедят, поколь ворочусь, сухую! Погодите!

Широколицый парень с выпученными глазами остановил картошку у раскрытого рта:

— Годить ай шуткует?

Старик сказал:

— Можно, и не шуткует. Намедни занес струмент — пирожочков вынесла.

А будочница уже бежала назад.

— Ай будочница! Ай хозяюшка — дай бог здоровья рабе Парасковье! — приговаривал старик, набирая масло деревянной ложкой.

Будочница присела на траве.

Парень в лакированных голенищах и красной рубахе смотрел на нее черными горящими глазами:

— Кабы мне да будочником!..

Она медленно повернула голову, словно мешала тяжелая коса, и посмотрела на него детскими своими глазами:

— Ай должно ведь нравится?

— Будка нравится...

— Беспокойно больно: день и ночь гляди.

— Уж не спал бы... Приглядел бы и ночью.

И не сводил с будочницы жгучих глаз.

— Уж Тимошка приглядел бы! — покачал лысой головой сидевший рядом ремонтщик.

— Это он за будочницей приглядел бы! Хе-хе-хе! — догадался пучеглазый парень.

— Не пожелай, Тимофей, жены ближнего твоего,— сказал старик,— в законе сказано.

— Это, дядя Марей, закон для стариков.

Из посадок показалась грузная фигура будочника.

— Забалакалась с вами, а Кузюшка тоже обедать ходит! — сказала будочница и быстро пошла к будке.

— Он те пропишет Кузюшку! — сказал лысый рабочий, качая головой.

Тимофей бросил есть, надел фуражку, из-под которой торчал пышный клок черных волос, и закурил.

Из будки донеслась веселая песня будочницы. Она быстро накрыла на стол и между делом жаловалась:

— Не то дни меньше стали! Туды-сюды повернешься, уже полдня нет!

— Больно ты туды поворачиваешься! — угрюмо сказал будочник, снимая с пояса сигнальные флаги и вешая их на крючок.

Будочница обхватила руками голову мужа и, целуя его, говорила:

— Кузюшка, миленький, не гневайся! Я им маслица занесла...

Гладила его рыжеватую бороду:

— Родной мой! Никого в белом свете, кроме тебя, не надо мне!

— Отстань, сатана...

Кузьма оттолкнул ее и, сердито мигая светло-серыми глазами, сел обедать. Будочница тоже стала обедать. Лицо ее было бледно, и чуть подергивались углы губ, а в глазах стояла большая, нездешняя радость. Говорила: купить бы нам, Кузя, телушку, что Культыпа набивается! Корм все равно лишний найдется — сено вольное, а к весне бы коровка была... Да еще какая! Полгода ей, а она уже как царица.

Кузьма сурово возражал, а сам видел, что жена права: телушка от заграничного бугая, а кормов в слободе мало —отдаст за полцены.

— Кушай же, а то нынче ничего больше не готовила.

— За ремонтщиками не управилася...

Будочница нагнулась к печке и лукаво оглянулась на мужа через плечо. Поставила что-то на стол, открыла лепешки с медом.

— Может, не понравится...

— Ишь ты, хитрощи...

Усмехнулся над любимым блюдом.

Захохотав, положила голову на его плечо, а он ел и не прогонял...

Старик ремонтщик брал воду из колодца, а будочница поила корову и рассказывала:

— Четвертый год, дедушка Марей, живу в этом краю, а все не привыкну... Ни тебе лесочка, ни тебе садочка. Весной еще хоть в полях зелено, а как выгорит все да пожелтеет — лучше в гроб лечь... Вот еще зимой — как завоет да заголосит в степи... Выйдешь ночью поезд встречать — один-одним... Гляжу летось — огоньки, думала, поезд с выемки подымается, ан — волки на переезде...

— Это бывает. Меня так-то годов семнадцать тому назад покачали они в степу. Ну, господь милосердный среди неминуемой беды спас. Только следы на спине да по лицу остались: тулуп разорвали. Ну, а вы с каких местов?

— Мы дальние. Верст, может, семьсот, а может, боле.

— Да ты скажи, какая губерния?

— Губерния Курская, из-под города Корчи. Сады у нас, дедушка Марей, огромадные! Весной это забелеет все на цвету, соловьи зальются. Владычица пресвятая...

Я девушкой у купцов Бачугиных на саду работала. Три брата их: старший Иван Егорович, средний Владимир Егорович, а младший самый Александр Егорович...

— Три брата да все Егоровичи — история.

— Сестра еще была, барышня Оля. Старший женатый, те два нет. Теперь, может, поженились... Это, бывало, прививки, калеровки — все сами. Аллеи длиннющие-длиннющие...

Потемнели синие глаза, и катилась слеза по бледным щекам.

— В петровки при месяце соловей разойдется — как рай... Так малиной пахнет, путь на полянке за куренем черным...

Будочница остановилась на полуслове и испуганно осмотрелась.

— Тоскуешь,— сказал дед Марей,— заприметил я. Веселая ты, а невесело тебе, баба. А глаза у тебя — бог осинил.

Будочница замолчала и торопливо погнала корову от колодца. Потом скрылась в будке.

II

По степи гулял горячий ветер: несло песок от места, где шел ремонт. Вдоль полотна ехали на станцию мужики с мешками нового зерна, и, обгоняя их, неслась пыль по дороге. Прошел 3-й номер с юга, потом товарный с севера. Вернулся Кузьма с соседней будки. Не прямо прошел в будку, а зашел сзади, от степи. Только что переступил порог и подозрительно оглядел пустую будку, как спрятавшаяся за кадкой жена схватила с него шапку, и на голове у Кузьмы оказалась новая студенческая фуражка с узкими полями.

— Да какой же ты в ней молоденький да хорошенький! Ну чистый офицер!

С радостным смехом подвела его к зеркалу на столе.

— С пассажира ветром снесло... А в середке золотые буквы! Видишь: С. П. Это будет называться — сторож путей. По праздникам в церковь ходить в ней!

Кузьма тоже понравился себе в новой фуражке. Пополдничал и стал набивать мотыгу.

А будочница взяла лопату и мешок, пошла накопать картошки. Солнце перешло уже на другую сторону пути,

и тень от посадок захватила половину узкой длинной картофельной полосы. В этой тени будочница подрывала клубни.

Тимофей вышел из посадок и сел рядом.

— Помогай бог трудиться... Помочь пришел.

— Одна справлюсь.

— Вдвоем веселей.

— Мне и одной не скучно,— весело улыбнулась, сверкнув зубами.

— А мне вот и на людях скучно.

— Ай-ай... Что такое?

— Сама знаешь... Еда не идет, работа из рук валится... Стою на шпалах, да за тобой глазами хожу.

— Так ты их, глаза-то, обуй, не то наколешь.

— Не смешно вот мне.

— Ну и не смейся. Я — сама.

— Чисто хоть под поезд...

— Под какой номер?

— Погляжу я, Паша, какой у тебя муж — душа от жалости рвется.

— Это мой муж-то? Жалостливая же у тебя, Тимоша, душа!

— Не с баловством ведь к тебе! Не под силу дальше-то... Вот что я порешил: убежим с тобой на Кавказ ай в Крым! Жизнь там вольная... Я тебя, Паша, на руках носить буду... убей бог.

— А ты меня, Тимоша, туркам в Крыму не отдашь? Сказывают — там русских баб туркам на табак меняют.

Громко засмеялась, и опять заблестели зубы и глаза. Перекинула на плечи свалившуюся косу и задела его по лицу.

— Ну, решай...

— Да уж коли ты решишь, стало быть, так... Наше дело бабье: куда любезный позовет.

— Заживем с тобой! Парень я разбитной, ловкий...

— Уж и ловок!

— Грамотный, ты тоже грамотная: всегда при гостинице ай при магазине место можем иметь! А здесь — ну какое твое житье с этим зверюгой! Век губишь с таким мужем!

Худое лицо будочницы забагровело, огненные глаза позеленели:

— Ну ты, парень, буде. Языком ласкай, а мужа не

трожь! Я своего мужа люблю больше своей души, а ты мне — тьфу! Много вас тут сабров на дороге найдется, да ежели за всеми на Кавказ бегать — пятки отобьешь.

— Значит, мои слова тебе для смеху?

— Мне твои слова и сам ты, парень,— все одно, что вот этот столб гудит... Посылай телеграммы куда подале!

Тимофей был бледен. Смело спросил:

— Значит, пропадать мне без тебя?

Подвинулся к ее ногам.

— Ежели уже пропадать, так лучше тут, с тобой...

— А ты руки подале...

Тимофей обхватил ее, свалил на картофель.

Она взглянула в его глаза, хотела крикнуть, но он зажал ей рот. И в тот же момент покатился на землю. Будочник повалился на него и молча бил по голове и по лицу.

Будочница стала громко кричать. Ремонтщики бросились на крик. Но Тимофей уже вырвался и, окровавленный, полуголый, бежал им навстречу. В артели хохот, а дед Марей, качая головой, назидал:

— Выходит, Тимоша, закон-то для молодых написан.

Тимофей умылся, собрал пожитки и, не дожидаясь вечера, ушел от стыда на станцию.

А Кузьма в будке говорил жене, часто мигая светлосерыми глазами:

— Что же, собирайся да и к чертям — на Кавказ или куда там вы...

— Да нехай он сказится, проклятый! Откуда взялся!

— Слышал ведь все, за кустом сидя...

— А коли слыхал — и слава богу!

— Не верю я тебе, Прасковья.

— Своим ушам и глазам-то веришь ведь...

— Обманула ты меня, замуж выходя!

— Кузьма, муж мой суженый,— протянула руки,— пора уж позабыть...

А Кузьма закричал:

— По гроб жизни не забуду.. С кем гуляла девкой? Ну?

— Родной мой, да уже похоронила я все...

— Шлюха! — замахнулся кулаком.— Оттого и лезут к тебе, что дух от тебя распутный чуют!

И вышел из будки.

— Владычица пресвятая, укрепи...

Села у порога, обняв голову руками, и смотрела на иконы и картину страшного суда, где в красном пламени горели грешники.

III

Лето шло к концу. Ремонтщики перешли куда-то на дальние пролеты, и подле будки стало совсем пусто.

Чахлые посадки уже стали желтеть и совсем поредели. А поля выцвели и стали бурые.

С утра Кузьма ушел на станцию за жалованьем. А будочница резала подсолнухи. В поле было тихо, и слышно было издали пыхтение поднимавшегося от станции 1-го номера. И когда поезд показался с подьема, будочница захватила на лавочке у будки завернутый зеленый флаг и стала на переезде. Поезд, вырвавшись на уклон, быстро летел мимо, а из окна второго класса кто-то, высунувшись далеко, махал рукой. Будочница не успела разглядеть, как к ее ногам полетела бумажка. А вагон уже промчался, пассажир снял шляпу, взмахивал ею и, оглядываясь, улыбался. Вот уже и не видно его за вагонами, и шляпа, мелькнув, скрылась. И последний вагон с развернутым красным флагом меж буферов, быстро уменьшаясь, будто сжимала его невидимая рука, скрылся за поворотом. Тут только будочница узнала... зашаталась и схватилась руками за грудь...

Бумажка белела в стороне. Она развернула ее. Три серебряных рубля выпали и зазвенели о камень. Бумажка была написана карандашом. Стала читать, но записка прыгала в руках — ничего не видно.

Она вошла в будку, выпила воды, посидела, а потом прочитала:

«Дорогая Пашенька! Если бы ты знала, как я тоскую по тебе! Так как ты моя первая и последняя любовь. Но судьба нас разлучила навек, и не видать счастья. В воскресенье кавказским плацкартным буду проезжать обратно. Непременно выходи на вокзал — хоть поговорим! Непременно! Хоть разок повидаю! Твой по гроб Шурочка! Переезжайте назад в Смородиное!»

Будочница пошла на переезд, подобрала рубли и, завернув в записку, спрятала в карман юбки. Вернулась на подсолнухи, обрезала дрожащую руку и все взглядывала на полотно: в ушах шумело, будто поезд идет.

Вечером возвратился Кузьма. Принес казенные при-

пасы и кренделей к чаю. Прасковья ставила самовар, а он рассказывал о дорожном мастере, потом сообщил: у Завалива на заминке служит, записывает, сукин сын. Рабочие видали. Морда еще синяя... Похваляется. Пущай. Через платформу прохожу — 1-й номер стоит. Гляжу — на ступеньках второго класса господин, обличье бачугинское.

Будочница, пригнувшись, стала раздувать самовар.

— Ай он? Ай не он?.. Спрос не беда? Здравствуйте, говорю, Владимир Егорович.

Глянул он — тоже сразу не признал:

— А вы, говорит, кто?

— Кузьму, говорю, что антоновку на вокзал возил, помните? — Признал! Только я, говорит, не Владимир, Александр Егорович. Постарели, говорю!

Искры широким веером летели от раздуваемого самовара.

— Ты ж, спрашивает, как здесь? — Так и так в своясях. На третьей будке здесь сторожем. — С хозяйкой? — С Прасковьей. — Приезжайте, говорит, место хорошее дам. — Дальняя, говорю, Александр Егорович, сторона. — Жена же, говорит, твоя с тех местов: небось тянет к родным? — Никак нет, не желает. Сама, говорю, сбила меня в эти места.

Будочница, вытирая самовар тряпкой, глухо спросила:

— Один... ай... с семейством?

— Видать, один. Не успел расспросить — женился, нет ли: поезд тронулся. Руку подал. Пятница-то у нас послезавтра, что ль? Служебный с севера в десять часов проходить будет: трубу, канавки надо прочистить, да кругом 709-й версты камешки известкой полить.

За чаем Кузьма вспомнил: в армяшкиной лавочке на платформе рыбка маленькая, колосная, что ли, от одного духу слюнки потекли. Хотел было купить — сорок копеек штука!.. А их — десятком не наешься. Буду при деньгах — хоть на пробу куплю!

На закате солнца прошел второй номер. Провожая его, будочница думала: с этим самым... через четыре дня. А ночь не спала. Вышла, когда муж уснул, закрыла барьер за проехавшими на свободу фурами, да и осталась сидеть на барьере одиноким, белым привидением. Ночь была темная, звездная, и встали те пахучие ночи, что никак не забудешь... и не заснешь.

День и ночь эти четыре года давили непокорное сердце. Из сил выбилась, тянула его к мужу. Всю душу, что расцвела для того, первого, всю ласку, которой тянулась туда, в сад, несла мужу. С радостью терпела от Кузьмы и грубые слова и побои — все искала, чем загладить тяжкий девичий грех... Убежала от него в чужие далекие края. А грех вот нашел. Взял всю, сладко томит и палит, дышит запахом сада, и вся она там, в темной чаще за шалашом, где тянет свежестью от речки... Горячими руками стала расплетать мягкую косу, как было любил он делать это своими белыми руками... Упала головой на колени. Сейчас это все было, а четырех скорбных лет не было!

Перед утром взошел сдавленный с боков месяц — заблестели рельсы, и открылась серая пустынная даль. На перилах сидела одинокая фигура с распущенными волосами. Она оглянулась кругом. Белела мертвая будка: как склеп, что видала когда-то под городом... Похоронно гудели телефонные столбы. Вспомнила, как на другой день после свадьбы избитая пряталась в избе и смотрела в окно — проехал с барышнями в сад, сам правил серой в яблоках лошадью. И не было в сердце обиды, была только радость, что увидела. Обида встала теперь.

«Первая и последняя любовь... Выходи на вокзал... поговорим. Небось тогда не вызвал поговорить... Уехал в ночь, тоже на вокзал!»

Громко рассмеялась и плакала, пока алел край неба, разбудивший кур за будкой.

«Переезжайте назад»... Что же с собой на Кавказ не звал?.. Как Тимофей... Тот, по крайности, одну звал, а этот: переезжайте! С замужней-то побаловаться — он любопытный — будь проклят...

Разбудила мужа:

— Кузюшка, родной мой, солнышко-то уж всходит!

Проводила его с лопатой чистить трубу на выемке, на краю околотка, что к разъезду, сама пошла полить камешки под 709-й верстой, а потом канавки прочистила.

Прошел 1-й номер — пора обед готовить. Стала думать: что б такое приятное для него сготовить?.. Вспомнила, как вчера про армяшкину рыбку говорил. Вот бы достать! Нешто на станцию смотаться?.. Набросила платок на голову да раздумалась: туда — назад, если бегом бежать, и то два часа, а Кузьма придет обедать через час, как только дешевка пройдет.

Глянула в окно — через переезд смагинский приказчик едет. На вокзал... Выскочила из будки.

— Дядечка, ради Христа подвезите! На станцию — как умирать нужно!

Откопала спрятанные за сарайчиком три серебряных рубля, села боком на дрожки.

— Скореича, дядечка, мне к дешевке поспеть... родненький!..

Поспела: только купила 10 рыбок, а дешевка уже тронулась. Вскочила в последний вагон и засмеялась от радости.

На конце подъема надо спрыгивать... С товарного-то наловчилась, а этот идет быстро — камешки вдоль полотна в полости сливаются... Кузьма — и тот не прыгнет, подъем уже кончается, показалась будка... прыгнула вперед, изо всей силы оттолкнув рукой ступеньку, стала на ноги, да вдруг перевернулась на голову и покатилась прочь по песку; хваталась руками за песок, чтоб лежать, а песок ходил кругом, как вода. Неслись крики и хохот из вагона.

Встала с песком во рту и в пазухе — цела! Только ноют шея и рука. Отыскала рыбу и, хохоча, пошла домой.

А когда пришел Кузьма и растерялся, увидев на столе ароматную рыбу, она только млела и сияла от счастья.

И лишь вечером открыла секрет колдовства, да и то не весь.

IV

В воскресенье утром вспомнила: перед вечером пройдет... Как раз за коровой идти... Пусть на Кузьму поглядит в окно! Пришел и ее черед... небось. И записку нашла и, обернув ею камень, швырнула в колодец.

— Что ты в колодец швыряешься!— крикнул Кузьма от полотна.

— В лягушку.

— Ах ты, маленькая!

А перед вечером пришел Культыпа, сторговались, и Кузьма пошел за телушкой в слободу. Будочница подумала:

— Вернется поздно ночью, придется поезд встречать... не выйду. «Повидаю хоть разок!— засмеялась, вспомнив записку.— Судьба разлучила навек, и не видать мне счастья». А мне видать?

Слезы потекли по бледному лицу.

— А может, и правда? Любил ведь — не врал. Вспомнил ведь... Осунулся, сердечный... Живется, значит, не сладко! При их-то достатках отчего же!

Защемило в груди. Повидать бы раз... Расспросить, как живет, да рассказать бы... Вспомнила, как заплакала в ту ночь, как положил ее голову себе на колени и целовал слезы.

Хлынула в сердце волна, потемнело в глазах.

Стала прислушиваться: в это время уже слышны свистки с разъезда, где он проходит, не останавливаясь. В вечернем воздухе эти четыре свистка — один протяжный — через минуту другой протяжный и два короткие, могучие — каждую ночь здесь, на подъеме. Но проходит еще четверть часа, и слышно четкое пыхтенье берущего крутой подъем локомотива. А потом он с шумом вылетает из-за поворота.

Но солнце уже зашло, и быстро легли на поля южные сумерки, а свистков все не было: опоздал. Слышно было, как возились куры на нашесте; темнел силуэт коровы за будкой.

Но сердце билось так сильно, что вся тряслась и горела... Взглянуть бы только в глаза — и помереть...

Вошла в будку и только что взяла подойник, как донесся властный протяжный свисток. Подойник выпал из рук и загремел. Будочница бросилась к посту, потом назад к будке... Прилетел второй протяжный свисток и за ним два коротких зовущих. Застонала им в ответ.

— Пролетит в темноте... навеки... Словечко бы...

Вдруг она рванулась в будку, схватила спички, сняла с крючка сигнальный фонарь и, трясясь, зажгла в нем свечу. Захватив в сенях большой гаечный ключ и лом, побежала на полотно. Пробежав в сторону станции шагов двадцать, упала у стыка рельс и стала отвинчивать гайку. Ключ застучал по стали, гайка не слушалась. Оглянувшись, легла грудью на ключ — гайка подалась. За ней пошла другая. Отвинтив гайки и выбив болты, стала выворачивать костыль и дивилась собственной силе.

Но пыхтение поезда слышалось уже отчетливо.

Листратову будку прошел...

Стала было собирать гайки и болты, но рассыпала, схватила фонарь и ключ и побежала навстречу поезду и только выбежала на переезд, как вынырнули с шумом три огня. Шумело кругом... Она бежала навстречу огням, раз-

махивая красным фонарем... Прорезали только что опустившуюся ночь тревожные свистки. Паровоз остановился, пройдя будку, у развинченных рельсов. Тревожно побежали огни вдоль поезда, замелькали испуганные силуэты. Осветили развинченный рельс. Паровоз отбивал вверху четкие, нетерпеливые удары.

А будочница, размахивая фонарем, побежала было вдоль поезда, но споткнулась у багажного вагона и не слыхала, как бросали подле нее деньги и говорили: «Героиня!»

И не слыхала, как в купе первого класса некрасивая, роскошно одетая дама бранила суетившегося подле нее мужа: «Просила ведь: останемся, Сашенька, до воскресенья, еще одну ванну приму. Так Сашенька заметался, будто его в шею гонят! Чуяло мое сердце крушение».

А когда очнулась — было тихо и пусто кругом и дышала ночь запахом увядающих трав. А рядом сидел прибежавший на тревогу Кузьма. Он бранил злодея Тимошку: это он! И собирался идти к жандарму.

Но будочница отговорила его: сделал уже злое дело — испортил путь и навряд ли вернется.

Утром Кузьма подобрал осколки цветного стекла и оставшиеся монеты. А ночами все ходил с киркой по пути и вокруг будки: поджидал Тимофея.

<1919>

ПАССАЖИРЫ

I

(1922 год)

Над окошком пассажирской кассы какой-то плакат.

Издали, стоя в хвосте, можно прочитать только самое крупное:

«со взяточничеством».

— Это что же? Билеты со взяткой выдаются?

Пассажир позади меня задает этот вопрос так же серьезно, как и отвечает ему тот, что стоит впереди:

— Нет, тут мелкое подписано: «Борьба со взяточничеством».

— Так, так... Публикуются, значит...

В вагоне мои визави — чета новых купцов. Носильщик и приказчик тщательно заполняют хозяйскими вещами все, что есть свободного вверху и внизу. Приказчик ворчит:

— Три миллиона сунул — не впускает... Еще два в зубы.

— Им все мало...

— Не связываться лучше...

Это борьба со взяткой непротивлением.

Бьет второй звонок. Купец отдает последние распоряжения:

— Через Главрыбу или Мильпрод.

— А как за мелкую рыбу думаете?

— Мелкую пустить в армию. Армия в рыбе нуждается. Если ее посолить, останется что-нибудь.

— Вполне даже.

Трогается поезд, тухнет в вагоне электричество. Но в окно то и дело заглядывает новый месяц. Сверкнула узенькая прыгающая лента Салгира и спряталась в темно-синих садах.

Скоро сады остались позади. Только тополи силятся достать острыми шапками до месяца. Кругом — станция за станцией — чистая пустынная равнина.

— Поля у их чистые, а город грязный: чуть что не с каждых ворот на улицу текет. Сын говорит: «Погляди, папаша, какой у нас базар. Фрукта на всю Расею». Поглядел я: фрукта, а посередине — отхожее; кислородом

этим шибает... Ну, между прочим, старухе от сына подарок везу: пуд винограду. Две бутылки вина.

Месяц уходит за степь. В вагоне кромешная тьма, и красная купчиха всю ночь охает:

— Левочка, ради бога, пересчитай вещи! Ты же после этой станции еще не считал.

То и дело, до самого утра, по вагону проходит контроль, осматривает билеты, документы, вещи. Со старика за подаренный сыном виноград взыскивают четыре миллиона.

Уходит контроль со свечками, и вагон снова погружается в тьму.

А просыпаемся от яркого крымского солнца. Под его теплыми лучами сверкают мириадами алмазов соляные пирамиды.

Поезд плывет по голубым волнам: с обеих сторон два моря ласково лижут ленточку железной дороги. Всюду обрывки колючей проволоки, разрушенный вокзал, водокачка, службы.

Пассажиры облепили окна. Старик, что везет от сына виноград, провожает руины и проволоку быстро краснеющими глазами, сняв железнодорожную фуражку, крестится и вытирает черными пальцами слезы на бритых морщинистых щеках.

Рыжебородый крестьянин в бараньем полушубке качает надвинутой на лоб сивой шапкой.

— Вот где наших полегло сила!

— Это кто же — ваши?

Под сивую шапку смотрят пытливые, горячие глаза молодого человека в плоской шапочке, сверху перекрещенной двойным позументом:

— Кто же ваши?

Сивая шапка отвечает нехотя, не сразу.

— Те же, что и ваши.

— Ну да, а с какой же, собственно, стороны? Наступали или отступали?

— Отступись ты от меня к чертовой матери!

Сиваши остаются все дальше, тают в объятиях голубого неба, и кругом весь день до вечера равнина — без края, без людей, без скота в полях. Лишь волнуются огромные, в пояс, поблекшие бурьяны. Редко, редко среди них — кем-то оброненная зеленая ленточка озими.

Кто-то заметил:

— Вот она вернулась, гоголевская девственная степь!

Кто-то возразил:

— Не девственная, а вдовствующая. Это один из первых в России хлебородных уездов. Житница всего мира.

— «Разорю житница моя, и большия созижду, и соберу ту вся жита моя и благая моя. И реку душе моей: «Покойся, яждь, пий и веселися». Рече же ему бог: «Безумне! В сию нощь душу твою стяжут от тебе...»

Это говорит кто-то на другом конце отделения высоким проникновенным речитативом, без пауз.

— Это вы в каком же смысле?

— А смысл пояснен там же: «Тако собираяй себе, а не в бога богатея».

— Неясно все-таки, гражданин: к буржуазии это относится или же к советскому строительству?

— Когда ведь пили и веселились и когда разорились житницы...

— Слово прощения божия ко всем одинаково относится.

Красная купчиха, действительно красная, как морковь, без перерыва закусывающая, вдруг бледнеет:

— Левочка, Глузеру задаток за сак отослать забыли! Ой, боже ж мой!

— Ну какая разница? Будем брать вещь — все заплатим. Раз уж я слово сказал, значит — делай.

— Левочка! Да ты ж знаешь! Мадам же Копелевич, как увидела мех, так прямо вся скраснелась. Перехватит...

Рыхлое тело ее тоскливо мечется по скамейке. Левочка энергично дергается, оправляет галстук с золотой булавкой и пояс на модном, куцем пальто.

— К черту мадам Копелевич! В Александровске дам срочную депешу Семке взять в Табактресте за счет Сольтреста два миллиарда и внести Глузеру.

За спиной моей скамьи молодой белобрысый человек читает с трудом и упоением апухтинского «Сумасшедшего».

К вечеру подходят зеленые днепровские займища. Гнутся полысевшие в одиночестве вербы, разноцветными мотыльками летают последние опадающие листья; осокоревые рощи уже одеты в смертную холодную парчу, тоскует отпировавшая, почерневшая ольха, а среди нее неопалимая купина — огненно-красный куст. Ветер раздувает его, гонит за поездом ковер листьев.

Опять предстоит ночь в потемках. Пассажиры ходатайствуют о починке проводов перед всеми инстанциями: от проводника до юношей, поголовно экзаменующих нас в знании собственных фамилий. Но ночь проходит в такой же темноте, как и предыдущая, вагон временами освещается только бесконечными контролями. Опять со старика взыскивают четыре миллиона за сынов подарок, и опять красные купцы не спят из-за вещей.

Перед рассветом на самой верхней полке под потолком загорается спор: молодой человек, читавший «Сумасшедшего», кого-то убеждает:

— Теперь взять хотя бы в плоскости Большого московского театра. Одна опера что стоит! Можно сто школ содержать. Также возьмем теперь в плоскости какого-нибудь профессора. Что он стоил пролетариату? Тоже можно сколько десятков школ выстроить. А кто у него из пролетариата, окромя спекулянтов, лечится? И также взять в плоскости всей интеллигенции...

Он говорит быстро теперь, точно читая или повторяя выученное.

Утро. Над полями стоит холодный туман, но солнце уже выбралось из него. Сияют золотые соборные главы у полотна.

— Борки. Чудесное крушение царского поезда.

— Чем же оно чудесное?

— Ну, так называлось при старом режиме...

— Так не «чудесное же крушение», а «чудесное избавление»! Праздник даже такой был...

— По моему мнению, крушение чудесное! — звучит из-под потолка молодой голос.— Одним махом столько отборной царской сволочи смело!

Когда стих взрыв смеха, высокий проникновенный речитатив вставляет:

— Чудо, граждане, действительно было... Гниль-то эта вокруг царя, как червивая паутинка. Катится этот гнилой орешек по земле, поезд значит, а господь по нем пятой своей — хрясь! «Помни, царь, срок тебе дается, в онь же аще не прозябеши, раздавлю тебя пятой ровно через тридесять лет и сотру тя с лица земли». Так ровно через тридцать лет и исполнилось.

— Разговор любопытный! Только кто его подслушал?

— Слово прещения божия всяк имеяй уши слышати, да слышит.

Курская губерния, Орловская, черные деревья, черные избы, к северу все приплюснутей, темней; по черному киселю плавают, словно увязнувшие мухи, клячи в телегах. На платформах бабы, дети с кузовками и мешками антоновки.

— Вот с этих мест уж начинается баба в лаптях.

— Обувь разная, а народ все один на тысячу верст,— задумчиво вставляет старик с виноградом.— А вот в Крыму так: стоит баба на базаре, курицу продает. Подойдет русская женщина, подержит курицу, пороется у ей в хвосте — пошла дале, подойдет еврейка — то же самое, также татарка, армянка. И еще так разные нации — множество их вокруг этой курицы. Скажи на милость!

Близко Тула. Снег перепархивает над мерзлой землей и заслоняет поля и леса белой полупрозрачной завесой.

Вот и яснополянские зеленя. Как они скверно обработаны!

На всем пути от Таврии до Москвы не пришлось видеть так отвратительно подготовленной земли: с огрехами, с густо-зелеными кругами среди плешин — неумелая вывозка навоза. Что это? Уж не школа ли толстовской сохи, презиравшей культурный плуг?

Вот и дорога в Ясную Поляну поднимается перелеском в гору. Восемьдесят лет он ездил тут... С ним Николенька Иртеньев... Левин...

Тульский машинист, севший в Харькове, тихим проникновенным голосом делится воспоминаниями:

— Мальчишками, бывало, приходили по праздникам в Ясную Поляну купаться. Любил детей. Соберет, по го́ловкам гладит и обязательно своих книжечек надает. Хорошие книжечки. К детям ласков был. Ну, со взрослыми — строг.

— А-а! — качает головой старик с виноградом.

— У-уу-у, гляди в оба.

Машинист тоже почтительно крутит головой, хорошее, ласковое лицо его старается изобразить суровость.

— Ох и строг был! Это наложит дров полны сани, оденется мужичком и едет в Туле по главной улице. Городовой, понятно, кричит: «Вернись назад! Тут нельзя с дровами!» Он — безо внимания, жарит! Ну, городовой за вожжу, в участок. Там сейчас это пристав протокол. «Грамотный?» — «Так точно».— «Распишись, так тебя

этак!» Тот это берет перо да как черкнет: «Граф Толстой»...

Рассказчик вскакивает со скамьи, вытягивается в струнку и, взяв под козырек, изображает на лице ужас пристава:

— «Простите, ваше сиятельство».— «Нет, никак не могу простить. Дай-ка сюда протокол; я его к самому губернатору представлю»... В 24 часа слетел!..

— Слетишь!..

— А то раз едет себе старичок в третьем классе, улегся на скамейку, котомку это под голову, а ноги со скамейки этак в проход протянул. Лежит. Проходит главный кондуктор: «Старик, убери ноги». Тот подожмал ноги. Ничего. Через время кондуктор проходит назад. А уж старичок еще дале ноги протянул. Кондуктор опять: «Старик, убери, говорят тебе, ноги!» Наконец, идет в третий раз, а уж он ноги, понимаешь, через весь проход распространил, ажно на другую скамейку положил. «Да что ж это, извините, за старик такой разэтакий упорный!» Взял и столкнул его ноги прочь... Старика, как полагается, матом.

Приезжают на станцию Ясная Поляна — Козловая Засека тогда называлась. Глядит кондуктор: кому это жандарм и все начальство козыряет? Старичку... Мать честная! Тут только его осенило... А старичок на всех без внимания и к начальнику: «Подать мне перо, бумагу, потому на главного кондуктора жалобу принести желаю».

— Гм,— слышится из-за скамьи.— Это уж не Толстой, а чеховская жалобная книга.

— Нет, ему жалобная книга без надобности. Он прямо! Кондуктор видит такое дело — в ноги. А он и не глядит! Два часа на коленях простоял и от поезда отстал, покуль простил. Уж он его жучил! Уж он его гонял. И где только слова брал!

— Чай есть где взять! — говорит старик.— Из своих же книг!

Смеркается... Проводник объявляет:

— За вещами, граждане, наблюдайте. Места тут все ненадежные: Тула, одно слово.

Очередное вечернее моление:

— Света!

На этот раз услышано.

В Туле пришел монтер, строгий человек. Походил, потрогал, где нужно. Кто-то робко спросил:

— Как, товарищ, будет свет?

— Сидите и молчите. Не ваше дело.

И ушел зловеще, загадочный. Сделали складчину и покупаем две свечи. В вагоне стало необыкновенно светло. Настроение приподнялось, захотелось искусства.

Молодой конторщик с бритым лицом старого актера, обучающийся в казенной драмстудии, любезно согласился кое-что декламировать. Стал в проходе, попросил освободить больше места позади себя и начал читать апухтинского «Сумасшедшего»: страшно вращал глазами, рыдал и рычал и в заключение эффектно упал навзничь вдоль прохода.

Опять контроль и опять не то налог, не то штраф на виноград; старик подводит итог: уплачено больше стоимости на месте.

Близко Москва. Проходит последний и решительный контроль — четверо юношей с богатым ассортиментом конфискованных бутылок и бутылочек всевозможных фирм. В вагоне идет тщательный обыск. У красных купцов оказывается не меньший запас, чем у контролеров, но все это вина с оплаченным акцизом: законно. На железнодорожного старика опять беда: его две бутылки оказались без бандеролей. Красный купец приходит на помощь: дает объяснения, которые, видимо, удовлетворяют контроль, но не совсем, остается кое-какое сомнение. Разрешить его можно только где-то в кабинете, перед высшей властью: старик идет туда вслед за своими бутылками. Но кабинет оказывается на другом конце поезда. Бьет второй звонок, третий... Старик, покинув бутылки на вокзале, возвращается в вагон с серо-зеленым лицом, еле переводя дыхание.

— Что же, дедушка, от своего-то добра сбежал?

— Водицы, милые...

— Выпей, папаша...

— Вместо винца...

— Да ты бы им адрес оставил: в случае, вино правильное, на дом бы тебе предоставили.

— Жаль, папаша, винца-то?

— Эх, сынок... У меня в Крыму два сына: один в автобазе командиром, другой... а другой — видал на Сивашах сколько нарвано колючей проволоки?.. Это он грудью рвал... теперича там-то лежит, отдыхает... Вот — об нем только и пожалеем со старухой... А больше ни об чем.

Машинист покрутил головой:

— Нету на них графа Толстого! Он бы их вздрючил!

II

(1925 год)

— Значит, едем! — удовлетворенно заключает мой приятель Брискин, разместив вещи и повесив на гвоздь шапку — что-то среднее между бобром и собакой.— Вагон, конечно, для курящих... Верно!

— Разве вы стали курить?

— Зачем мне курить! Но порядок такой между Крымом и Москвой: места для некурящих выдаются кассой в вагоне для курящих и наоборот. Ха-ха-ха...

— Вам бы и спросить в кассе наоборот.

— Да разве нас, дураков, к порядку приучишь!

— Весьма странный взгляд на порядок! Интеллигентский!

Это голос с верхней полки. Огонек папиросы освещает подстриженную челку над девичьим лицом.

— Почему же я хотела попасть в вагон для курящих и попала?

Брискин поднял голову, отразив громадными круглыми стеклами ее папиросу, объяснил:

— Это вы — по незнанию правил, товарищ!

— Что значит? Я правила лучше вашего знаю!

— Этого не может быть.

— Папироса — ничего,— закуривает vis-à-vis бородатый старик в треухе и поддевке.— Вот если дитё... По осени я вот так же ехал, а их — трое в одном отделении... Не приведи бог! И куда только их возят?

— Алименты взыскивать.

— А! Ну, в нашем вагоне пока что благополучно.

Старик, зевая, крестит лоб, укладывается спать. Третий час ночи. За окнами чернеют мокрые крымские поля. Окна плачут. Брискин грустно снимает ботинки.

— В воскресенье шел дождь — сбор 162 рубля 73 копейки. Вчера была чудная погода — сбор 162 рубля 83 копейки. Постоянная публика, мерзавцы!.. Привози им после этого знаменитых пианистов. Между прочим, въезжаем в полосу воров и бандитов.

Положив ботинки и шапку под подушку:

— Да лучше бандиты, чем такие ценители музыки! Ха-ха-ха... Ничего! На негритянке выеду!

— Хорошая певица?

— Ну! Одно слово — негритянка. Не идешь слушать — иди смотреть! Только бы мне ее в Москве выдали... Екатеринослав... Крым... Ростов... Баку,— слышу я, засыпая.

— Вы, товарищ, крымская? Нет? В Минск к родным? В отпуск... Кто, я? Нет, я — разъездной тенор.

Это уж доносится до меня голос Брискина сквозь сон.

. . . .

— Значит, вы жадный! Если вам двадцать уроков мало!

— Бу-бу-бу-бу...

— Семьдесят рублей мало? А сторож у вас сколько получает?

— Бу-бу-бу... Кха-кха!

— Вот видите! Только сорок!

Закрываю голову одеялом. Но резкий женский голос с верхней скамьи от этого почти не ослабевает:

— Потому что у старых учителей интеллигентский подход!

— Бу-бу-бу.

Это, видимо, сосед по верхней полке из другого купе.

— Когда я училась в вашей гимназии, я без репетиторов ничего не понимала! А теперь на вечернем рабфаке я все понимаю! Что значит?

— Значит, по утрам вы не все понимаете.

Это уж сверху же — голос Брискина.

— Что значит — не понимаю?

— Не понимаете, что мешаете спать.

— Что значит — мешаю, когда давно утро!

— А разве я сказал, что вы мешаете вечером? Ха-ха-ха...

В вагоне два новых пассажира — сивоусые крестьяне. На одном белый бараний тулуп, на другом — черный. Смотрят молча в окно: в белых полях играет метель. Черный говорит:

— Опять закуделило!

Белый отвечает:

— А то ж!

Долго молчат. Черный спрашивает:

— Как же она теперь будет с тыею пайкою?

— Кто его вже знает.

— Чи вже отойдет, чи вже как?
— А то ж.
Слушают ответа у постукивающих на стрелках колес.
— Молочка, молочка!
— Булочки горячие!
— Курочки жареные! Огурчики свежие!
На платформе торопливый и нервный торг. Вдруг все обрывается на полуслове. Булочки и курочки с огурчиками в панике мчатся вдоль платформы, исчезают за водокачкой, в уборных. Молоко ныряет куда-то под вагоны. Волшебное мгновение, и — никаких признаков снеди. Только пассажиры с кошельками в руках, да вдали фигура волшебника — стража...
— Поезд трогается!..
Бывает — трогается, бывает — стоит две, пять, десять минут: робко вылезают с площадок на платформу. Иногда смельчаки делают рискованные вылазки к буфету. Игра острая, на нервах.
Но игра, по-видимому, бескорыстная. Только удовольствие.
Большая станция. Вылазка за кипятком. После второго звонка учитель вбежал в вагон с пустым чайником, с черными кругами под глазами, радостно крикнул нам сквозь кашель:
— Ваш старик остался! Я еле вскочил... А он еще там... У крана!
Но торжество было преждевременно. Игра затянулась в пользу старика. Вернулся с полным чайником. Ставка взята! Овации. Старик смеялся в разглаживаемую бороду, умиленно закрыв слезящиеся глаза. Вдруг улыбка сбежала, глаза широко раскрылись, холодно уставились на боковую скамейку: новая пассажирка — стриженая дама с грудным ребенком...
— В том, гражданка, отделении попросторнее будет.
— Проводник здесь посадил.
— Кто ж его просил!
— А разве не вы? Ха-ха-ха...
— На боковой скамейке — с дитём плохо!
— Что ж делать!..
Мать с надеждой посмотрела на скамейку старика.
— Ежели близко, то...
— До Москвы...
— Та-ак... О господи!
А ребенок, растянувшись на скамейке, смотрел вверх

и, взмахивая перетянутыми нитками ручонками, рассказывал что-то очень весело:

— Га-га-га!

— Поглядим, что ты дале запоешь! — ворчал старик, заваривая чай.

— Он у меня тихий.

— Знаем, ездили. Издалека, земляки?

— Ни... Тут...

— Ну, как у вас?

— Ничего.

За окнами сквозь сетки метели протянулось под горой село. А над ним по белой горе, как в воздухе, плыли, махая крыльями, мельницы.

— Крутятся...

— А то ж...

— В деревне-то крутятся,— сказал старик,— а вот в городах мельницы стали.

— Почему?

— А вот они не хотят подвозить!

Пассажирка, свесившись сверху, спросила хохлов:

— Почему же вы, товарищи, не подвозите?

— Бо нечего подвозить.

— Это уж вы — против бога! — сказал старик.— Ежели теперь хлеба нету, так когда ж он будет?

— Если вы, товарищи, не везете хлеб, значит, вы не понимаете своей пользы! — объяснила девица с верхней полки.— Значит, вы несознательные.

— А то ж,— согласился черный кожух.

— Ведь если вы не повезете зерно, значит, не получите товаров. Не получите тракторов.

— А вже ж,— подтвердил и белый кожух.

— Ну вот видите. Ведь отчего у нас застой в текстильной промышленности? Оттого, что новых машин нет! А чтобы приобрести новые машины, нужно продать хлеб!

— А вже ж.

— Значит, если вы сознательные строители социалистической республики, вы, товарищи, должны везти хлеб! Так?

— А то ж как?

— Вот видите?!

— Дело видимое.

— Я ведь сама деревенская. Сельское хозяйство с детства знаю,— сказала девица, закутавшись дымом и

стряхивая пепел на кудри Брискина. Брискин стряхнул его головой, спросил:

— Небось и свиней пасли?

— Может, и пасла.

— С репетитором или самостоятельно?

— Что значит?!. Да вы-то кто?

— А я от папаши в Минск уезжаю. Не желаю знать подлеца!

— Почему?

— Да потому что буржуй, будь он проклят! Через него мне ни в пионеры, ни в комсомол ходу нет! В Минске поступлю в комсомол, а в Крым буду ездить только в гости к нему, мерзавцу! Ха-ха-ха...

— Га-га-га! — вторил ребенок, протягивая руки к стариковой бороде. День уже шел к вечеру, а он ни разу не заплакал.

— Ну, ну! Поиграй вот этим.

Старик доверчиво вручил ему коробку из-под чая:

— Бери, алиментщик!

— Почему алиментщик?

— А возраст такой.

— Теперь и дети должны трудиться: как родился, сейчас же алименты ищи.

— По горячим следам!

— Именно! — выглянул из-за перегородки жадный до уроков педагог.— Воспитание с алиментным уклоном!

Рядом заулыбалась бритая физиономия в больших стеклах:

— Да, с признанием фактического брака их дело усложняется.

— А еще бы! — вздохнул старик.— Отцов много, а поищи-ка его, настоящего-то, сукина сына, отца!

— Какой мелкобуржуазный подход!

— Га-га-га! — махал руками и ногами «алиментщик», приветствуя собравшийся вокруг него летучий митинг сочувствия.

— То-то, брат, что га-га!

— Да у нас отец есть! — обиделась мать.

— Без сомнения, гражданка, но...

— И никаких «но»! Пожалуйста! Нас отец на вокзале встретит! Заждался...

— Вот это — слава богу! — обрадовался старик.— Молодчина!

Похлопал мальчика по грудке морщинистой рукой, а мне тихонько объяснил:

— Законное дите сразу видать!

Бритый пассажир в стеклах напомнил:

— О фактическом браке еще большая дискуссия идет. Согласовать новые правовые нормы со старым укладом — не легко.

— Ку-ды! — покачал головою старик.— Наша деревня при вокзале. Уж сколько ораторов по этому делу приезжали! Запрос делали, как крестьяне желают.

— Что ж крестьяне?

— Ну, старики плюются, а молодым подай! Девки, те сразу винтом пошли.

— Это как же — винтом?

— Ну — винтом. Раньше она шла по улице ровно корпусом. Теперь же сперва просунет, скажем, левое плечо, после наддаст правым бедром, после правое плечо, и так пошла и пошла.

— Почему ж она так?

— А не опасуется! Раньше она прятала грех, а теперь обратно тому, чтоб свидетелей иметь! Нынче живет с одним, а завтра уж, глядишь,— к другому перешла! Я, говорит, в новый брак вступила! А раньше это иначе называлось!

Старик дрожащими руками поставил стакан на столик. Пассажирка обиделась.

— А мужчины разве не так же делают?

Черный кожух вдруг чему-то засмеялся, махнул рукою:

— А то ж...

— А что именно, дядьку?

— Да... У нас в Деркунах, сказать, хоть не наше село, ну рядом, швец Арехва...

— Ну, и что ж — швец Арехва?

— Вот — это мы на станцию ехали, а его с больницы выпустили.

— Так что ж?

— А то ж... Говорят, с покровы двенадцать разов женился, а хлопцы и обидься. На покрытках жениться не хотят... Застукали ночью да и снивечили. Под крещенье, кажись.

— Под трех святых,— поправил белый кожух.

— Избили?

— Сказать — и не били. Ну... в тринадцатое уже не женится. Больше нельзя.

— Ему теперь и двенадцатая — хоть не будь.

После этого кожухи долго молчали. Потом черный сказал:

— Туда пшеницу вези за полтора рубля, а тут óтруби купи за полтора...

Сумерки. Тухнет алая заря за туманящимися перелесками, и быстро синеют снега. Брискин смотрит в окно, мечтательно:

— Сделаем!.. Если уж негритянкой не завоюю...

Заря тухнет. Снега за окном — темно-зеленые. Брискин, вздыхая, рассказывает им:

— В прошлом году Шерман тоже увязался с черной, не то с красной, не то негритянка, не то индейка. Приехал в Ростов — афиши: «Негритизация Чайковского... Советизация индеек... Смычка с Африкой... Краснокожее искусство... Муха це-це». А ему: «Да эта муха у нас два года в шантане пела». Ну, моя, кажется, по-настоящему черная.

Проводник зажег газ: посинели окна. Ребенок и старик укладывались спать. Крестьяне собирались на ближайшей станции сходить. Верхняя соседка сыпала пепел на наши головы и обличения на голову учителя:

— Оттого что буржуазная интеллигенция не привыкла к труду!

— Бу-бу-бу... Привычка свыше нам дана.

— Что значит свыше? Значит, вы верующий! Несознательный педагог!

— Бу-бу-бу — Пушкин.

— Пушкин тоже несознательный! Классовый дворянский поэт!

— Бу... кха-кха!

Поезд застучал на стрелках. Кожухи пошли к выходу. За окном уже вздымалась метель.

— Опять закуделило!

— А то ж.

Звонкий односторонний диалог девицы наверху не прерывался. Старик попросил среди ночи:

— Гражданка, если вы дитё разбудите да станет глас подавать, весь вагон сбунторажит!

Но дитя до утра не подало гласу. Утром растроганный старик посадил его на колени, давал играть часы и учил смотреть свое отражение в белой жести чайника.

— Просто не дитё, а герой!.. Как редкость!.. Да как же тебя звать?

— Имя у него тоже — редкое!

— А! Какое же?

— Перекоп.

— Перекопий... Прокопий есть, а...

— Не Перекопий, а Перекоп, город.

— Так то ж — город. А какого же святого? При крещении...

— Крестить не станем.

Старик, сдвинув белые брови, посмотрел на мать, потом на сына и молча отнес его на боковую скамью.

— Га-га-га!— тянулся Перекоп к нему и к чайнику.

— Отстань, отстань... Некогда.

Накрыл чайник полотенцем.

— Людей городами крестить...

Брискин сказал:

— Такой уклон! Я свою бабушку тоже в город переименовал.

— А!..

— Из Евфросиньи в Евпаторию.

— Оно сходно...

— Позвольте!— ненавидящий голос сверху.— Что такое Евпатория! Только детский курорт!

— Как раз по моей бабушке! Она уже в детство впала.

— Бабушку-то зачем трогать?..

— А зачем ей даром пропадать? А тут все же — достижение, смычка с городом.

— Это он называет — смычка!

— А главное — от сонаследников скрыть!

Брискин в раздумьи мечтательно смотрел в окно. В его стеклах уже мелькали частые березовые рощи и дачные домики: близко Москва.

Вошел проводник, стал менять спальные квитанции на билеты.

1925

ВЫБОРЫ



На проломанных школьных воротах объявление: «Сегодня в 12 часов после обеда в школе экстринное общее собранье усех граждан «Зеленой Горки». Явка неприменно обязательная. Просим никого не опаздувать. Сельуполномоченный Подсмаль».

Когда горячее южное солнце спускается к высоким тополям над школой и золотит проржавевшую школьную крышу, на крыльце школы появляются вызванные на сходку граждане и гражданки. Перед заходом солнца приходит сельуполномоченный Подсмаль. На груди значки МОПРа и Воздухофлота, под мышкой папка с бумагами.

— Опять никого нету?

— А мы разве не люди?

— Кворум нужен, семьдесят три души. А вас десятка три баб наберется аль нет?

— Да ты зачем звал?

— Скажи вам — вас и совсем не будет.

В ожидании кворума удовлетворяются разные ходатайства. Девица Короткина выходит замуж в соседнюю деревню, надо удостоверение, что незамужняя. Подсмаль быстро составляет документ: «Действительно граждане Фома Друзь и Петро Барцев знают, что Фрося Короткина девица, и эти два поручика ручаются в том. Как служила у нашей деревне два года. И подписывается тот хозяин, у которого она служила».

Но вот собрался кворум.

— Товарищи-граждане, заходите в школу. Позвольте открыть собрание и собирайте председателя. Ну... кого хочете? Товарищи-бабы, семячки после полускаете.

— Лупкина!

— Молоко на губах не обсохло!

— Пущай утрется!

— Тут молоко делу не касает. Тут сознательность.

— Сознали, боле некуда...

— Товарищи-граждане! Назвали Лупкина, кого еще окромя?

— Я назначаю Щепатьку!
— И мы тоже.
— Дядю Щепатьку собираем!
— Лупкина!
— Названо двое, кого еще?
— Да сколько нужно-то?
— Двоих: председателя и секретаря.
— Ну, вы кандидатов сперва называйте.
— Не нужно кандидатов!
— Жили без кандидатов — хлеб ели.
— Садись, Щепатька, за стол!
— Лупкин, садись живо!

Под шум собрания Щепатька занимает место председателя. Рядом — секретарь Лупкин.

Щепатька выпрямляет кривыми пальцами съехавшую набок серую бороду и пялит испуганные глаза на бумагу, по которой бегает карандаш Лупкина.

Выпрямив бороду, спрашивает:

— Начинать, значит, граждане?

— С богом, дядя Щепатька!

— Так, граждане, сказывайте, об каком деле собравши?

— Позвольте, так нельзя! Товарищ уполномоченный, почему повестки собрания нету?

— Есть. Две даже повестки.

— Да где ж они?

— Одна вон она на воротех. Другая у Шепчихи сзаду приклеена, как место видное и все знают.

— Товарищ уполномоченный, в повестке не обозначено, какие вопросы.

— Этого нельзя писать: как напишешь — не приходят.

— Товарищи, это нехорошо! Потому что саботаж называется. Значит, вы несознательные...

— Ладно, слыхали!

— Молодой еще!

— Какая ж нынче программа общего собрания? Выкладай, Подсмаль!

— Программа состоит об пастуху. Как нынче уже теплый Алексей, а у нас еще пастух ненанятой. А напротив того желают в пастуха три человека и Апросинья. А прошлогоднего Стигнея бабы отвергают за слова. Сурьезность большую имеет, а так что даже до драки.

— Значит, граждане, собирайте одного из четырех по желанию. Кого, примерно, желаете?

Школа наполняется криком. Бабьи голоса покрывают мужские.

— Зайкина!

— Апросинью!

— Балабу!

— Стигнея!

— Да чтоб вы, проклятые души, не дождали!

— Граждане, умолкните!

— Чтоб тебя черти так трогали, как я тебя трогаю!

— Гражданка Лупчиха, что ж ты нарушаешь?

— А чем я нарушаю? Чтоб вас на том свете так по морде нарушали!

— Товарищ Лупкин, окоротите вашу родительницу! Всегда нарушает!

— Гражданка Лупкина...

— Это я тебе «гражданка»? На родную мать?.. Придешь же ты, сукин сын, до дому!

— Товарищи-бабы, прошу вас, увоймитеся!

— Уймитеся, говорю!.. Лупкин покричи: у тебя голос молодой.

— Товарищи, к порядку! Криком дела не докажешь! Как теперь у нас выявилось четыре кандидата, то пущай же кажний скажет свои условия. Выходи по одному вперед. А после голосовать будем.

— Пущай женщину вперед!

— Апрося, выходи!

— Апросинья Королева, ваше слово.

— Как я оставши с тремя ребятами круглою вдовою, то прошу дать мне кусок хлеба, и буду я пасти по четвертаку от штуки, как все одно своих кровных.

— Ладно. Уважим. Отойди теперя к стороне. Товарищ Балабей!

— Выходи, Тарас!

— Я, товарищи, как вы знаете, сродный пастух! И как известно уже вопче всем гражданам, у меня есть бугай сантиментальской породы. Так что будет ходить в стаде по полтиннику, конечно, за погул. В совхозе и на шоссельной будке берут по рублю, ну, я гражданам уважение делаю, как есть я пролетарий и так же само бугай у меня пролетарский.

— Да ему двух годов нету!

— Тут, товарищи, годами не деется. Бугай справный.

— Кабы он тебе околел!

— Товарищи, с мест прения не ведите.

— Тута не прения. А как моя корова три раза с его бугаем перегуливала, да так яловая в зиму и пошла, чтоб ему трижды...

— Это, товарищ председатель, клевета! Просто сказать, машинка подстроюется!

— Да пущай люди скажут.

— Действительно! Малашкина корова перегуливала, потому как она вопче яловка. А тут машинка к тому, чтоб Апросинья, как Малашкиной сваха, в пастухи попала!

— А ты с своим бугаем хотел бы все заграбастать? Да у меня корова об девятом телку и сроду не перегуливала!

— Гражданка Малашкина, замолчите!

— Да чего я буду молчать! Пущай деньги за погул вернет!

— Позвольте выразить: кабы моя вина!

— Стало быть, твоя, ежели люди теперь молоком заливаются, а я слезою... Чтоб он тебе околел!

— Товарищ Малашкина, за эти слова решаю тебя слова.

— Да вы, может, меня и коровы решите?

— Тут с этими бабами нешто так? Тут вот как! Перво дело последствовать!

— Товарищ Брякин! Не ваша очередь. Без очереди слово дается только к порядку.

— Я, товарищ Лупкин, к порядку Тарасова бугая.

— Ежели к порядку — говорите.

— Бугай в полном порядке! Хоть оследствовать. Ну, энта кучка баб, что под патретами вождей, оконфузить его хочуть, чтоб Тарасу ходу в пастухи не дать...

— Замолчите, товарищ! Вы не понимаете, что значит к порядку. Вот я объявляю к порядку: мы пастуха выбираем аль бугая? Значит, нужно Балабея от бугая расчленить...

— Это каким же манером?

— Будем сперва пастуха выбирать, после речь об бугаю.

— Правильно, товарищ Лупкин!

— Вот те молодой парнишка!

— Тут не в годах дело.

— Знамо! Чего нас бугаем шугать?

— Следующий кандидат... Стигней. Товарищ Стигней, говорите вашу программу.

— Говорить тут нечего. Как пас летось по полтиннику со штуки, так и теперь. Меньше несходно. Ну, чтоб энтой дурницы, как говорится, нашармака, не было. Деньги кажний месяц вперед без всякой программы. А кто прострочит, скотину примать не буду. К чертовой матери! А то дюже вас много таких-то!

— А ты уже готов и шкуру содрать?..

— С вас сдерешь! «Погоди, Стигней, погоди», а там корову продали, и нет его. Значит, мои деньги — собаке под хвост. Это программа? Опять же, чтоб мне скотина на выгон вовремя выгонялась.

— Да что это за пастух? Как чуть — мать-перемать...

— Прямо всех поедом съел!

— Съешь вас, толстозадые!

— Товарищ Стигней, не выражайся!

— Я не выражаюсь. У меня этой привычки, что зря выражаться, нету.

— Да он, товарищ председатель, меня сколько разов до того словами обкладувал, до того обкладувал — еще б боле, да некуды.

— А не опоздуй! Жаркое время; скотину только холодочком до солнца попасти, а она, козюля ей под рубаху, продрыхает, а после рысью за селом догоняет — у коровы бока ходуном ходят. Да я те за скотину...

— Чай моя скотина, не твоя!

— Кабы моя, я б тебе не мать, я б тебя саму хворостиной по паше!

— Да за мной и то с хворостиной на старости моих лет погнался, проклятый! Черт кривой!

— Товарищ старуха, там которая, не выражайся!

— Это за кем я гнался? А, Дарья! Дойка спорчена у бурой коровы. Задоила, гундосая, корову! Бить надо беспременно!

— Да он не то баб, Андрияна кнутом полоснул.

— Это я за ратицу. Телка ратицу заломила, на левую переднюю к земле припадает, а он ее выгнал. Да я тебе голову сверну!

— Видали какой! Да его за драку под суд нужно, а он в пастухи лезет!

— Я не лезу. Только что свое, говорится, село, а то мне вы — тьфу! Меня вон и Ятеревцы и Машкин хутор с зимы еще кличут. А мне на вас нап-плевать.

— Ну не выражайся, товарищ, буде! Наскандалил — уходи. Кто следующий? Товарищ Зайкин, выходи!

— Товарищи, я в качестве безработного. Двадцать лет служил на железной дороге. Но по сокращению штатов уволенный. В настоящее же время, когда произведена социальная революция и мировой пролетариат со скоростью устремляется под знамя Коминтерна, находясь под гнетом какой-нибудь подлой мировой буржуазии, мы должны плотно сплотиться на уничтожение гнусных гадов и кровопийц народного труда. Когда горит пожар мировой революции и товарищи наши задыхаются в гнусных кровожадных оковах, мы должны прийти всем на помощь! И вот я, товарищи, как сознательный пролетарий, сознаю вполне свое положение и прошу вас, товарищи, также сознать мое положение восемь месяцев безработного и препоручить мне скотину, которую я буду пасти в порядке дисциплины по линии всех коров. Насчет платы же не устаиваю, но как общее собрание пределит. А по вношении платы будет выдаваться квитанция каждому гражданину или там гражданке — все одно, потому что теперь равноправие одного пола с другим вполне. Да здравствуют трудящиеся всего мира!

— Верно!

— Поболе бы нам этаких!

— Сразу видать приятного человека!

— А ты допрежь в пастухах ходил?

— Я хотя же и не ходил, но дело нехитрое для пролетария, и главное, чтобы по совести и в поле содержать, а не то, чтобы как солнушко, так и в холодок удалиться.

— Но ежели когда муха одолевает?

— Вот от мухи, товарищи, я могу рекомендовать то же самое средство, бомбинаголь называемое.

— Вот за это спасибо!

— Ты до нас — мы до тебя.

— Ну, теперь, значит, товарищи, как все уже выразились, собирай пастуха по мыслям. Кого желаете?

— Позвольте, не так!

— Товарищи! Теперь, когда каждый кандидат высказал свои условия и программу, будем голосовать по порядку.

— Кто за товарища Апросинью Королеву, прошу поднять руки... Раз, два... Семь голосов. Мало, товарищи!

— Да какой же с бабы пастух?

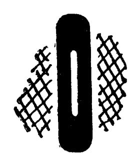
— Товарищи, баба даже государством может управлять.

— Государством пущай, а коров не дадим!

— Кто за товарища Балабу?
— С бугаем ай отдельно?
— Пущай при бугае.
— Знамо, без бугая Балаба не гож.
— Нехай он ему сдохнет!
— Чтоб вы на том свете подавились!
— Товарищи, дискуссия не допускается! Кто за товарища Балабу, подымайте руки... Девять голосов. Кто за товарища Зайкина? Никто? Жаль, приятный человек. Голосуется прошлогодний товарищ Стигней. Кто за товарища Стигнея? Что такое? Единогласно? А кто же против? Против кто?
— Никто!
— Дак чего вы, бабы, мне с зимы голову прокричали!
— Не к бабам, к коровам наймаем!
— Значит, граждане, Стигней опять собран нами в пастухи?
— Да кто же больше?
— И чего зря калгатились?
— Нечего уполномоченному Подсмалю делать, вот он и буровит.
— Ему, толстомордому, абы б только собрание!
— Начальники ж!
— Гражданки! Тьфу!.. Да что ж вы, проклятые, языками плещете? Я же должон к голосу масс прислушиваться? Аль не вы в голос кричали: ненадобен Стигней? Так чего ж не сменяете?
— Мало ль чего баба не закричит!
— Твоя баба тоже в середу на тебя в голос кричала. Небось не сменила!
— Тьфу, приравняли бабу до общественности... Разговаривай после этого с такою несознательною массою...
— Я с ими, товарищ Подсмаль, завтра на выгоне поговорю, ежели которая мне проспит с коровою!.. Особливо Лукерья! А также Анисья и прочие мокроподолые массы.
— Да ты чего прежде время взъелся?
— Я не взъелся. Я с тобою, кислоглазою, нынче благородно разговариваю.

1926

ЭДЕССКИЕ УГОДНИКИ



Он сидел предо мной, как всегда, постукивая толстыми короткими пальцами и шевеля толстыми ушами. Но с первого же взгляда видно было, что этот Иван Матвеевич — не тот Иван Матвеевич: маленькие черные глазки не шныряли весело под широкими бровями, а все прятались и опасливо выглядывали. Лысина блестела тускло, и короткие бурые волосы вокруг смяты, как побитая градом рожь.

— И я так уверен, что западноевропейская буржуазия в общем и целом накануне издыхания. И ежели взять ее в масштабе...

Это он сказал чужим, бесцветным голосом и замолчал.

— Вы, Иван Матвеевич, сегодня чем-то расстроены.

— Эх, дорогой мой, с радости-веселья, как говорится, кудри хмелем вьются, а с печали... Одним словом, как бы сказать, не до поросят свинье, когда саму смолят. Хотя, между прочим, все это пустяки...

— В чем дело, Иван Матвеевич?

— Драгоценный мой! Когда говоришь о душевной невзгоде жизни, то надо либо уж все говорить, либо, как бы сказать, ничего не говорить... Вот никак не запомню имена этих трех китайских генералов, что против кантонцев... Как бишь их? А вы про Гурия, Самона и Авива никогда не читали? Не приходилось раньше и мне. Говорят, большие угодники были! Город ихний Эдес прозывался.

— Иван Матвеевич, вы чем-то потрясены.

— Драгоценный мой! Когда меня потрясла революция, и все мое состояние, которое я наживал, как бы сказать, честно-благородно, как дым отечества, улетело, и я с ей, Дарьей Власьевной, остались как последние, извините, пролетарии, разве я погиб? Ну, Дарья Власьевна, конечно, к отцу Ираклию за внушением ходила, и отец Ираклий внушил неугасимую лампаду поддерживать и предсказал, что не выгорит в лампаде масло, как большевики сгорят огнем невидимым. Но я посмотрел-посмотрел на это дело: масло выгорело, а они, как бы сказать, си-

дят. Дарья Власьевна — другую лампадку, третью — то же самое. И уже масло лампадное исчезло. Перешла на конопляное. Вижу я — материал неподходящий, и дело, как бы сказать, откладывается, а жить надо. А между прочим жить не дают: «Долой буржуев! Кровь нашу пили!» — и прочее по положению трудящихся масс.

Ну, я Дарью Власьевну оставил при лампадке, а сам в теплушку и через неделю на другом конце России в числе трудящихся масс кричу: «Долой буржуазию, попила нашей крови, смерть капиталу, долой соглашателей», и все прочие трудящиеся лозунги. Потому что голос у меня, как бы сказать, не густой, но пронзительный до уедливости в массы. Ну, дальше — больше. Возьмите вы самую маленькую семечку; перенесет ее ветром за тысячу верст, и там она вкоренится, согревается и дает плод. А у меня же бешеное терпение. Вкоренился и даже в рост пошел. Выписал я Дарью Власьевну. Но тут сразу же получилась на стенке несогласованность ее лампадок с моими взглядами.

Я, конечно, говорю:

— Вот что, Дашенька. Это несвоевременно. Я только что записался в члены общества «Безбожник», и вдруг у меня в доме опиум для народа! Ну, она, конечно, наоборот: покрутила головой, высморкалась в платочек и говорит: «Никогда! И когда ты, говорит, Иван Матвеевич, уже в безбожниках ходишь, то пущай хоть лампадка у тебя горит, чтоб тебя черти, как бы сказать, живого не взяли».

Я вам откровенно скажу, несмотря что я в «Безбожнике», если б ее самую тогда или хоть теперь черти взяли, то я б тайный молебен отслужил, вот до чего зловредная в плоскости жизни баба оказалась! Пробовал я, конечно, и от науки убеждать:

— Ты знаешь, говорю, Дашенька, что религию создали командующие классы!

Говорит:

— Знаю. Не шантрапа ж какая-нибудь! И покуда, говорит, мы содержали религию, потуда и командовали, а как забыли бога, так в пролетарии и вылетели.

Ну вот тут ее и сагитируй! А между прочим, зав., товарищ Ройкин, уже вопрос задает:

— Правда, что вы, товарищ Смычков, состоя в «Безбожнике», в плоскости дома неугасимую лампадочку и прочий опиум имеете?

— Это, товарищ Ройкин, гнусная клевета! У меня на стене только портреты вождей, и не далее как вчера я провел антирелигиозную кампанию: обложил попа в трамвае и в общем и целом с площадки его столкнул.

Одначе вижу — героическими мерами долго не протянешь. И взяло меня, как бы сказать, негодование.

— Я, говорю, Дашенька, сейчас на такой дороге, что мне от твоего опиума кроме вреда никакой пользы, и придется нам с тобой разойтись. Потому что теперь это очень просто.

Она, конечно, повела на меня побелевшими глазами и только сказала:

— Значит, жили-жили семнадцать лет, и вдруг — здравствуйте?!

— Не только, говорю, здравствуйте, но и прощайте, если наша идеологическая подкладка треснула пополам.

Ну, она, конечно, в слезы. Хотя, как говорится, Москва слезам не верит, а наоборот.

— И вы мне, Дарья Власьевна, говорю, прямо скажите, согласны ли вы будете подчиниться обоюдному решению или же — саботаж?

— Ничего, говорит, я вам, Иван Матвеевич, не скажу, а помолюся эдесским угодникам Гурию, Самону и Авиву, как они суть заступники жен, иже от мужей обиду и гонение приемлют: потому что за обиженную готскую жену Ефимию заступилися. И как они мне внушат, так я и подчинюсь.

— Хорошо. Только вы, Дарья Власьевна, просите их внушить вам в срочном порядке.

— Это уж, отвечает, как молитва моя дойдет.

Не далее как через три дня спрашиваю:

— Ну как, Дарья Власьевна, ваша молитва? Дошла?

— Дошла, говорит, Иван Матвеевич.

— Какая ж резолюция?

— Резолюции никакой, а внушили мне Гурий, Самон и Авив, чтоб жила я у вас, не уходя.

— Ну, это внушение я, Дарья Власьевна, аннулирую.

— Чтоб жила я, не уходя, но только считалась не женою вашею, а под видом служанки, по примеру той Ефимии, которую некий готский супруг ее, приехавши в чужие края, выдавал за служанку. И перейду я на кухню, и тогда никто к вам не придерется, и дело ваше будет чистое и пролетарское.

Подумал я и вижу: не глупо внушили эдесские мученики! Можно принять к срочному исполнению!

— Хорошо, говорю, Дарья Власьевна, подчиняюсь вашей секретной тройке.

— Только, говорит, это не все. А дайте вы перед этими эдесскими мучениками клятву, так же само, как дал ее готский супруг, что вы меня не обидите. Ну, как вы безбожник, то вы поклянитесь сверх трех моих мучеников тремя вашими вождями. Как бы сказать, для крепости. (...)

Ну да мне, как бы сказать, такое же дело до вождей, как и до мучеников.

Принес я Дарье Власьевне по форме клятву, она сверкнула на меня белым глазом:

— Помните ж, Иван Матвеевич, клятву. И ежели вы меня обидите, накажут вас эдесские мученики, как наказали вероломного гота! А может, и по линии вождей вам будет нехорошо...

Словом сказать, мелкобуржуазные слова.

Перебралась моя Дарья Власьевна с иконами, лампадами на кухню, я себе на свободное место еще вождей подвесил и товарища Ройкина тоже, и зажили мы, как бы сказать, в приятной обоюдной взаимности и в чистой репутации. Потому что Дарью Власьевну я в союз провел. Не без того, что кто-нибудь языком чеснет насчет прислуги: нет ли, как говорится, еще какой услуги...

Но такое остроумие делу не только не вредит, но наоборот, потому что теперь от сурьезных работников в половой плоскости даже развязка и размах требуется.

И так протекло время два года. И как я развил бешеную энергию и не взял этой моды за привычку, чтоб проворовываться, то уже, как бы сказать, редкий работник и в кандидаты вписался.

Но, конечно, когда работник поднимается на высоту крупного масштаба, то должен он, как бы сказать, иметь по соответствию масштаба блага жизни, а не наоборот. И как вы знаете, теперь идет бешеное заострение вопроса в плоскости разрушения пережитка брачного уклада и рушатся перегородки между массами обоих полов. И мы, конечно, с товарищем Курбетовой, имея идеологическую спайку во взглядах на устарелую семью, которая есть гнусная отрыжка старого буржуазного уклада, имели целеустановку на новый быт.

— Но только,— товарищ Курбетова говорит,— я стою в плоскости регистрации брака. А фактический, говорит, брак, по-моему, есть проституция или в лучшем случае, как бы сказать, собачья свадьба.

И вот вчера я прихожу прямо к Дарье Власьевне в ударном порядке на кухню и, как имею красноречие, то начинаю говорить идеологически и, как бы сказать, отдаленностью предметов.

— Так и так, Дарья Власьевна: как теперь с победой Октября упали семейные цепи в общесоюзном масштабе, и никто, одним словом, не имеет права удерживать при себе насильно как супругу, а также и супруга. И наш великий вождь прямо говорил: долой, товарищи, буржуазные предрассудки! Поэтому недаром даже голые народы жарких стран за создание единого фронта в международном масштабе...

Но Дарья Власьевна перебила меня на международном месте и говорит:

— Можете, Иван Матвеевич, ввести к себе гражданку Курбетову хоть голую, хоть, как бы сказать, одетую, меня это не касается, потому что мое дело сторона.

Я, знаете, от неожиданного оборота даже откачнулся и спрашиваю:

— Неужели же ты, Даша, не шутишь и достигла такой сознательности?

— Не шучу, говорит, и вполне достигла сознательности, и до ваших семейных дел мне никакого дела, кроме кухни, нету.

— Побожись, дорогая!

И она действительно побожилась по форме.

— Ну, спасибо тебе, Даша, что ты, несмотря на религию, сумела подняться до плоскости! А я тебя за твою сознательность, конечно, не оставлю!

— Ничего, говорит, мне от вас по этой линии не надо. И прошу вас даже разговора такого не иметь.

Но я, конечно, великодушно продолжаю успокаивать, что я тебя, Даша, так без поддержки не оставлю, как ты была моей женой.

Тут-то она, опустивши глаза и с обидой в тихом голосе, говорит:

— Этот разговор вы, товарищ Смычков, прекратите и такими словами мою честь не марайте; что я была вашей домашней прислугой, это всем известно и в трудовой

книжке вписано. А насчет прочего прошу вас не выражаться клеветою!

Вот тут посмотрел я на нее с полным выражением неожиданности! Но она свои глаза к грудям держит и губы тоже под себя подожмала.

— Это, говорю, Дарья Власьевна, сути для меня не имеет. Но как ты все ж таки, как бы сказать, необеспеченная...

— Нет, говорит, вы ошибку несете: за два года я коечто имею.

Признаться, такие слова меня удивили: неужели она сбережения делала? Значит, моя копейка утаивалась? Неприятно отчасти стало, но, между прочим, и хорошо: значит, вышло вроде, как бы сказать, сберегательная касса, и мне при построении новой социалистической семьи на карман легче.

— Это, Даша, говорю, хорошо, что ты сумела копейку, как говорится, про черный день приберечь.

Но тут она как зиркнет на меня белым глазом, как зашкварчит:

— Что это, товарищ Смычков, значит? Какую копейку я от вас приберегала? Значит, я вас обкрадувала? Да как вы смеете такие слова говорить?

— Я, Дашенька, слов не говорю...

— Значит, вы завтра объявите, что я воровка!

— Да клянусь тебе, говорю, Дашенька, никогда!

Усмехнулась она тоненькими губами.

— Чем же вы, говорит, теперь будете клясться? Разве крашеной Курбетовой? А вы, говорит, напишите мне расписку, что, как прослуживши два года и три месяца у вас домашнею прислугою, я не получила от вас ни копейки.

— Да сделай милость! Чудачка ты, говорю.

И конечно, дал ей эту расписку. О чем говорить!

— Это, говорит, верней, и теперь вы не посмеете слов выражать.

— Да ведь я, говорю, Даша, к тому, что сама ты сказала, что, как бы сказать, за два года кое-что имеешь.

— А что же, говорит, может, скажете, что я у вас два года даром служила?

— Зачем же, Даша, даром!

— То-то, говорит. Может, еще будете отказываться от уплаты?

— От какой, Дашенька, уплаты?

Тут она обоими белками как зиркнет.

— Как от какой уплаты?! А жалованье?

— Жалованье? Хорошо. Если ты хочешь по этой, как бы сказать, линии...

— А вы ж, говорит, думали по какой линии?

— Я, было, думал по-семейному.

— Нет, говорит, по ставке!

— Сколько ж ты желаешь?

— Тут, говорит, мое желание ни при чем. Тут закон.

— Сколько ж по закону?

— А это, говорит, вам лучше известно.

— Ну а тебе что известно?

— А мне, говорит, известно, что согласно проценту вашей ставки моя ставка двадцать семь рублей в месяц. Итого за два года и три месяца и три дня...

Вынимает, одним словом, бумажечку, губки под себя и читает:

— Семьсот тридцать один рубль семьдесят копеек. За два месяца неиспользованного отпуска пятьдесят четыре рубля. За неполученную спецодежду сто рублей, процентов на лежавший у вас два года мой заработанный капитал шестьдесят три рубля, выходные — тринадцать пятьдесят. А что вы, товарищ Смычков, шестнадцать процентов моего жалования не платили в страхкассу, то это дело меня не касается, и закон с вас по уголовной линии сыщет.

Сказала эти слова, спрятала глаза и губки и тихонечко замолчала... А у меня, если замечаете, шея укороченная, с научной точки называется атавизм, через что и мой отец преждевременно погиб. И вот вдруг моя Дарья Власьевна в моих глазах, как бы сказать, замельтешилась зелеными мотылечками.

Однако по расстегнутии воротника и выпитии воды она установилась в прежнем виде, так что я спросил ее:

— Неужели ты, Даша, всурьез?

Но тут она мне ответила, что «вам, хозяевам, можно шутить, а нам, пролетариям,— не до того! И прошу вас расчет учинить немедленно, чтобы мне не беспокоить суд согласно статьи о труде».

— Ловко, Дарья Власьевна! Ну, а как же насчет того, что я вас семнадцать лет кормил-поил, одевал-обувал!

— А вы, говорит, о нашем буржуазном прошлом расскажите по профсоюзной и по партийной линии.

— Та-ак, Дарья Власьевна... Скажите, говорю, мне теперь, кто вам такую сознательность внушил?

— Внушили мне, говорит, эдесские угодники Гурий, Самон и Авив, заступники обижаемых жен и каратели клятвопреступников-тиранов, уподобляющихся готу, с коим, вы знаете, как поступили угодники.

Не знаю, как поступили угодники с тем готом, но что со мною они поступили, как бы сказать, паршиво, то это уже я знаю. Однако выдерживаю бешеное хладнокровие и, хотя же хрипло, спрашиваю:

— Как же сии угодники вам, Дарья Власьевна, внушили? В видении или же через знамение?

— Отчасти, говорит, в видении, отчасти через знамение, а отчасти через профсоюз.

— Значит, ты хочешь, чтоб я выплачивал тебе какую же сумму?

— Сумма, говорит, вам известная: девятьсот шестьдесят два рубля двадцать копеек. А шестнадцать процентов в страхкассу сами подсчитаете. Не желаю, чтоб вы мне мою сумму выплачивали.

— Даша, спасибо! Значит, пошутила?

— А только желаю, говорит, их сразу сегодня же получить, потому что это для вас, как бы сказать, удобней.

— Чем же удобней?

— А тем, говорит, что не являться вам на суд и в общем и целом при вашем положении кандидата не терпеть никакой огласки.

— Да чем же я черта, как бы сказать, собачьего заплачу, когда ты ж знаешь, что я живу только жалованьем!

— Почем же я, говорит, хозяйские дела знать могу!

И, собравши заранее вещи, с коварностью уходит.

— Да неужели ж ты, Дашенька, шуток не понимаешь?

— Не понимаю, говорит.

Стал я, конечно, при красноречии уговаривать:

— Все это я, Дашенька, в шутку, потому что до нового быта мы еще не доросли. И неужели ж ты будешь нарушать старый уклад семьи, когда более нас культурные народы европейских наций...

Но она, как малосознательная, перебила меня на национальном месте и тихо прошептала:

— Пойди, мерзавец, скажи это своей Курбетовой!

И с бешеным спокойствием вышла.

А я пошел и рассказал это товарищу Курбетовой. Но она, как слишком сознательная, громко отвечала:

— Товарищ Смычков! Так как ваша ставка целиком и полностью пойдет на ликвидацию гнусной отрыжки устарелого семейного уклада, то вам не на что будет строить новый уклад, и потому дело с постройкою, как бы сказать, аннулируется.

Ну хорошо: та разрушила старый уклад, эта отвергла новый.

А за что же я должен тысячу рублей платить? Где я их кроме, как бы сказать, кассы возьму?

1926

ТИХИЙ ГОРОД

(Глава из романа)

I



у-бличков свежих! Бу-бличков!

Дребезжит и срывается старушечий голос. Теряется на широких, как площадь, улицах, в развалинах особняков и казенных домов. Улица, с тополевой аллеей посередине, полого поднимается в гору, прямо туда, где в синеве, под сиреневыми с золотом тучками плывут, сверкая крестами, пять белых глав. Другим концом улица спускается к серой водной пелене: пришла в степи вторая «теплая» вода.

Век, только один век смотрел с горы на зеленые займища, на ковыльные степи тихий, чудесный город. Степь меняла свои наряды — белую фату на серую водную пелену, потом на зеленый бархат, пряча лиловые края в далеких, грезящих о прошлом, туманах.

Гуляли по степи горячие ветры, несли на широкие, как степь, улицы и площади курение степных трав и седую, как ковыль, сагу. Убаюканные, спали в садах и каменные особняки и деревянные трехоконные домики — желтенькие, серенькие, зелененькие. Не спеша, сто лет строили златоглавый собор.

А когда истек век, грянула в степи гроза, затряслась гора, опустели и рассыпались особняки, покосились разноцветные домики, город опять уснул — пока сном кладбища. С заросших бурьяном пустырей смотрят в степь пустыми дырами скелеты особняков...

А весна такая же, как и до грозы бывала: так же пришла к маю теплая вода и поняла степь, и так же навстречу ей кадят сирень и старые липы из городского сада, тополи и акации с широких бульваров.

— Бу-бличков свежих! Бу-бличков!

Распахнулось окно в дряхлом ерохинском особняке.

— Доброго утра, Евдокия Петровна. Вам две парочки?

— Нет, сегодня три: Лена у меня ночует. Уж не знаю почему. Пришла — я уже спала.

— Ближе матери, видно, нету...

Бублики дрожат в поднятых к окну тонких длинных пальцах.

— Горе-то у меня какое, Евдокия Петровна!

— Что, душечка?

— Опять меня обокрали!

— Господи...

— Щипчики и кружечку... с балкона... Это уж второй раз! На вербной у Катюши юбку унесли. Почти неношенную... Сашу как потащили на расстрел — шинель-то и останься... Красная подкладка на флаг пошла. А верх — себе и Катюше по юбке... Украли. Вам пятачок сдачи.

— На завтра, Софья Яковлевна, пойдет...

— Бу-бличков... Бу-бличков...

Медленно поднималась с бубличками вверх, к собору, стуча палкой о старые, источенные дождями, камни.

Тит Кузьмич выкатился из-за угла. Нес перед собой, обняв коротенькими руками, что-то завернутое в цветное одеяло.

— Стойте, Авдотья Петровна, не закрывайте окошку!

Из-за ноши выглянуло похожее на кукиш толстое лицо.

— Здоровы ночевали!.. Запасайтесь продуктом как ни больше! Недели на две! Также дровцами и угольком...

Оглянулся на пустынную улицу, приставив ладонь к сложенным в трубочку губам, прошептал:

— Покуль их смоет.

Выцветшее лицо старухи ожило.

— Неужели уходят?

— Вполнех!.. Уже калоши вперед погнали. Полтораста тысяч, в Венгрию! По ошибке, мол! Невзапно! Так и в газетах прописали.

— То-то нет калош...

— Да не в том, Авдотья Петровна, глубина предмета! Через неделю аминь! Верьте совести! Вперед калоши перевозят!

— Но почему же начинают с калош?

— А с чего ж им начинать? Нужно под видом, извините, инкогнитов пробраться. А без калош за границей куды сунешься? С нашим-то обувом. В мент опознают.

— Ах, боже мой! Машенька! Вот ты все не веришь! Иди послушай, что Тит Кузьмич говорит!

Машенька в ночной блузе, заплетая косу, показалась в окне. Большие серые глаза, полузакрытые темными ресницами, остановились на ноше Тита Кузьмича.

— В том, Марья Павловна, предмет, что уже калоши загнали...

— Что это у вас?

— Это, извините, самовар. К вам, собственно, для обмену на ваш старенький. А этот — поглядите — чисто новенький. Никелевый! Что там перекинете в придачу — спасибо.

— Да у меня же ничего нет! — заохала мать.— И к чему нам такой самовар!

— Там хоть на бутылочку наскребите, а то зря пропадает самовар!

— Да зачем же ему пропадать?

— Фу ты, боже мой! Тут же мои девять с полтиной страдают. Описывать же нынче придут! Зимой понесла мамаша, извините, курицу на базар, он и прицепись: патент за девять с полтиной выбирай! Старуха, конечно, обиделась. «Ну, — говорит, — ладно, продавай, только распишись для прохвормы процедуры». — «Да я ж, так и так, неграмотная!» — «За тебя, говорит, граждане распишутся». Ну, граждане, сволочь, невзапно расписались и теперь завтра за самоваром пожалуют. Да это ж... — Опять, сделав губы трубкой, зашептал: — Чей самовар?.. Генерала Лютенкова! «Храни, Тит Кузьмич, до моего возврату. Чай, конечно, можешь кушать, абы б только в целости»... Да, может, через неделю-другую понадобится... Старуха гонит: сменяй отцу Ульянию. Как, действительно, в придачу хотит, извините, по генеральше сорокоуст править. Ну только, говорится, живой живое думает.

Скрипнула комнатка у соседнего желтенького домика: вышла Фетинья в желто-зеленом платке, с пустой корзиной на руке.

— Здоровы ночевали... Свекруха, должно, к вечеру преставится.

Поставила левый локоть на правую ладонь, подперла круглую, как арбуз, щеку, губы сердечком сложила, глубоко вздохнула:

— Отстаралася старушечка! Надося отсоборовали. Уж так-то богоприятно! А нынче говорю: «Может, говорю, вам, мамаша, перед смертью чего жалается?» — «Ничего, говорит, мне, невестушка, не жалается, ну только

съела бы кусочек я жареной сулы». Так я это на базар бегу.

Тит Кузьмич отрицательно помотал головой:

— Навряд ли сулу застанете. Потому она, сула, так что еще не приходила.

— Да как же не приходила, когда вчерась на возах уже чебак был!

— Да то-то и оно, что чебак советский, безо время! Раньше всех по правилу должна иттить, извините, сула. После — чебак. И чебак, он как идет? Он идет, извините, на хвосте. После чебака по правилу сазану полагается! Так уж от мира сотворенья. А при них чебак, извините, сулу опередил.

— Ну да уж, может, хоть маленькую сулку добуду — на расставание души с телом.

— Так как же, Авдотья Петровна? Самоварчик?

— Да бог с тобой, Тит Кузьмич! Генеральскую-то вещь! Я со своим имуществом, пока все растащили, полжизни потеряла. Вот если уйдут...

— Да уж — поверьте чести! Значит, с самоваром дело на скобках повисло! Придется отцу Ульянию преоделить за сорокоуст.

Тит Кузьмич покатился вниз по улице.

Евдокия Петровна торопливо пьет чай: опоздала на толкучку! Маша не спешит одеваться: в кино сегодня идет старая картина, репетиции нет. Пила чай, и серые глаза смотрели в письмо, не читая отдельных, день и ночь в памяти звучащих слов. Мать посмотрела сбоку, как пьют эти полузакрытые пушистыми ресницами глаза с крупных строк неупиваемую радость и тоску—затопило слезой когда-то голубые, выцветшие глаза. Закашлялась.

— Лена! Брось ты там дымить!.. Задушишь табаком!.. Иди чай пить.

Лена вышла чай пить, и в комнате сразу стало пестро от выкрашенных светло-глинистых волос, карминно-красных губ и зеленого свитера.

Налила чай, папиросу в блюдечке потушила. Рассеянно взглянула на письмо:

— Из Парижа? Когда?

— Вчера.

— О Володе — ничего?

— Ничего.

— Слыхала, Лена?

— Что, мать?

— Удирают наконец.
— А... Что-то часто.
— Тит Кузьмич клянется... Говорит, не позже как через неделю...
— Через неделю я замуж выхожу.
— Как замуж?!
— Пора, мать, знать, как я замуж выхожу.
— Да ведь ты замужем!
— Была. Вчера разошлись!
— Боже мой!..
— Да ты не беспокойся... Мы — честь честью. В загсе были. Алиментов не предвидится.
Маша, переворачивая страницу, спросила:
— Из-за папиросы?
— Пацюренко не выносит табачного дыму, а я отказывать себе не могу.
— Леночка, неужели это правда?
— Нет, мать, это благовидная формула, для света. В общем же и целом — задымил наш очаг. Он на второй кассирше из потребиловки женится. Впрочем, есть основания думать, что я не позволю.
— Тебе-то какое же дело!
— Ну, мало ли.
— Леночка,— застонала мать,— но ты о новом замужестве... как же оно?..
— Состоится. В общем и целом — Семенов из Кожтреста.
Маша спросила:
— Это который за растрату сидел?
— Нет, то — брат. У этого все еще впереди, нужна подруга целиком и полностью.
Евдокия Петровна схватила корзинку с товаром — опоздала на толкучку. Шла быстро по пустынному проспекту с брошенными домами и заколоченными магазинами, свернула к базару, но за слезами потеряла дорогу, запуталась в развалинах бывших торговых рядов, насилу выбралась.
Разложила на камышовой подстилке товар: пенсне, коробку с пуговицами, арию Лизы, замок, бритвенный прибор, две вилки, задачник Киселева и щетку для чистки примуса. Подошла Оля Болдырева с сапогами через руку.
— Что вы, тетя, поздно?
— Леночка уже разошлась!

— Ну, найдет другого.
— Уже нашла... Пятый раз замуж...
— Что за беда, тетя.
— Чужая беда — что за беда! Небось сама от англичанина в Россию убежала!
— Это не я, муж...
— То-то. Значит, боялся за тебя, если с показанием в Россию вернулся. Полковник — в сапожники...
У Оли складки в углах губ становятся глубже, широко расставленные дуги бровей сходятся.
— В Константинополе и маркером был.
— Боже мой, боже мой...
— Что ж, лучше уж хороший маркер, чем плохой сапожник... Вот третий базар никто сапоги не покупает.
— Маша вчера письмо получила. Шофером в Париже и учится. О Леночкином Володе сообщает: в Австралии.
— Я тоже получила... Из Англии.
— Неужели! И здесь не оставляет в покое!
— Это от его матери. А он пишет моей маме.
— Вот у них какой метод! Матерей в сводни. Мерзавцы! Разбойники! Мало им, что Россию хамам отдали, так еще за дворянскими женами охотятся! Смотри, Оля!
Оля смотрела туманящимся взглядом в туманную даль разлива. Там, если всмотреться, чуть маячили две колокольни.
— В Константинополе русские женщины пользуются таким успехом, как ни одна нация. Особенно среди англичан.
— Ну еще бы!
— Даже такие, что в России никому не нужны были, и те повышли замуж.
— От живых-то мужей? Что же мужья?
— Кто желает — получает выкуп.
— Мерзав...ки!
— Что ж, тетя, от судьбы не уйдешь. Лучше уж жену продать, чем ею торговать.
— Продаешь, тетка, сапоги? — спросил бородатый мужик в постолях, пробуя руками голенища.
Потом поднял глаза и удивленно спросил:
— Вы?..

II

На огромном золотом куполе собора догорал душный день. Внизу, у ног города, румянилось зеркало вод. Далеко посредине стоял зачарованный парусник, и парус его лежал на зеркале, протянувшись до самого города. Город, дыша сиренью и акацией, слушал вечерний звон.

Маша с нотами вышла из калитки. Увидела на скамеечке Фетинью с покрасневшими глазами. Сжалось сердце.

— Что, Григорьевна?

— А ничего.

— Жива еще?

— Нас переживет... Прости меня, грешницу!

— А сулу скушала?

— Нам оставила... И тарелку вылизала... «Теперь, говорит, я, Фетиньюшка, кубыть на свет народилася!» Ну, вы подумайте!

Заерзала на скамейке, скосила заплывшие глаза.

— Сорок лет с ею воюю, так она, родимец, только на свет народилася! Господи, прости меня грешницу... ссатана!

Перекрестилась, плюнула, вытерла губы платочком.

Когда Маша возвращалась из кино, город уже засыпал, в дали разлива пряталась в облачках восходящая луна, и стояла под ней у самого горизонта серебряная поляна вод.

На аллее тополя ждали луну молча, а в их верхушках пробиралась какая-то голубая звезда. Шла за Машей от тополя к тополю. Что-то хотела ей сказать...

Над домом она остановилась.

У калиток на скамейках сидели мать и Фетинья. А перед ними круглый силуэт Тита Кузьмича, взмахивая руками, громко шептал:

— Мало что с живого — с мертвого дерут, так еще — здравствуйте! Килограммы невзапно придумали! Тут в чем, извиняюсь, глубина предмета? По говядине? По старым пудам сорок четыре пуда, по новым сорок восемь! Так же вот и об моей козе. Когда моя мамаша парализовалась и у ей, конечно, отнялась правая рука, то я продал корову и преоделил два с половиною червонца на козу. Хорошо. Поехал это в Мишкин совхоз. Выбрал козу. Спрашиваю: «Доится?» — «Пять бутылок дает». Ну, привел ночью домой. Наутро вышла мамаша, извините, доить — сухо! Отвел я ее на пустырь — в чем суть пред-

мета? Гляжу, а по ей сигает Халимошки Карнаухого серый, извините, козел! Вот она — коммуна! Ну да теперь уж... недолго.

Потом и Тит Кузьмич ушел.

Фетинья заметила:

— Май месяц, ну такая ж духота!.. Дожжечку б... Надася так же вот сидю на рундучке. А ночь месячиная-месячиная. А я сидю да глядю. Когда луп глазами, ажно дощь идеть.

На колокольне пробили часы.

— Чи то одиннадцать, чи то двенадцать,— сказала Фетинья, зевая.— Должно, двенадцать.

— Спокойной ночи, Фетинья Григорьевна.

— Спокойной ночи, Авдотья Петровна.

Маша сидела у открытого окна. Луна, запутавшись в верхушках тополей, рассыпалась на отдельные звезды, отражавшиеся в стекле окна. Маша, поднеся к ним листок, читала:

«Опять в твоем письме тоска! Опять слезы! Значит, ты не чувствуешь, что мы всегда вместе, какие бы пространства и обстоятельства ни стояли между нами. Значит, счастье наше ты не считаешь вечным... Ты была моей невестой, ты была моей женой — разве этого счастья не хватит на всю жизнь, разве оно не больше жизни! Если бы мне, когда я полюбил тебя, сказали: «Она тоже полюбит тебя на всю жизнь, но за это жизнь твоя будет очень коротка: ты тотчас умрешь от счастья», разве я задумался бы хоть на минуту!.. Но, Маша, счастье наше не кончилось, и никогда не кончится! Нет для нас пространства, которое могло бы разлучить нас, нет у меня времени, которое бы не было наполнено тобою. Моя вечная Маша! В шуме и грохоте, в море огней Парижа я всегда на берегу утонувшей в сумерках степной речки, слышу треск кузнечиков, запах скошенного сена и твой шепот...»

По улице приближались чьи-то шаги и голоса. Остановились в тени бульвара против дома. Беспокойно мелькает огонек папиросы.

— Ну, вот и проводил.

— Ну, прощай, Лена. Не поминай лихом.

— Ну, прощай, Пантюша... Люби другую. Скоро в загс думаешь?

— Как-нибудь... На днях.

— А ведь я тебе, Пантюша, не позволю.

— Это же почему?

— Так, не позволю!
— Да тебе-то теперь какое дело?!
— А мое дело.
— Брось шутки.
— Это не шутки. Я была твоей женой: знаешь меня.
— Как же это ты не позволишь?
— А убью.
— Кого?!
— Тебя, Пантюша.
— Да ты... Мы с тобою разошлись свободно ай как?
— Свободно. И если ты, Пантюша, так же свободно сойдешься с Кочкиной, то я тебя свободно убью. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи... А мещанские разговоры брось.
— Я, Пантюша, потомственная дворянка. Мой прадед, до смерти проводивший свободную любовь, вот в этом самом доме пристрелил изменившую с лакеем ключницу.
— За прадеда не знаю. А что отца твоего мы в этом доме пристрелили — знаю.
— Бывает. В общем и целом — покойной ночи, Пантюша.

Гибкая фигура вынырнула из тени и исчезла в калитке. А луна, выпутавшись из ветвей, стала над тихим, спящим городом и до рассвета смотрела в его изуродованное лицо.

<1927>

В МЕРТВЫЙ ЧАС



В доме отдыха был мертвый час. Во дворе, в парке было тихо и пусто.

Поднимающиеся от моря в гору кипарисы тоже стоя отдыхали.

Повар Семен Клоков отдыхал в тени огромной шелковицы, ронявшей на землю кровавые ягоды.

Мимо прошел отдыхающий — тамбовский чернорабочий Уткин.

— Хорошо покормил, Лексеич, спасибо!

Уткин, худой, со впалой грудью, повалился рядом с Клоковым. Клоков был толст. Полузакрыв белыми ресницами мутно-голубые глаза, сердито смотрел на тонкие босые ноги Уткина.

— Вас, чертей, чем ни накорми — слопаете. Глядеть противно. Нешто я на таких людей привык работать!

— На каких же?

— Министры, все высшие чины империи в нашем отеле останавливались. Высшая кулинария!

— Вон оно куды!

— Покормили подлецов, попили они нашего поту-крови. Главный повар всегда был француз. Теперь на черта это кому сдалось? Перемрут старые мастера — и конец высшей кулинарии. И кулинарии конец, и России конец. Пропала.

— Как пропала?!

— Ну вот! Ему про гостиницу «Россия», а он про эсесер! В двадцать первом годе зашел я на кухню, а там только шрапнель на пятьсот человек. Заплакал и ушел.

Распахнув рубаху, сердито стал чесать грудь. На груди сквозь рыжие волосы видна татуировка: крест, над ним полумесяц и звезда, по сторонам — копье и знамя.

Уткин всмотрелся, спросил:

— В белогвардейцах, что ли, был?

— Нет, это еще молодым баловался. Пробовал кислотами смывать — не берет.

— Рентгеном нужно или радио.

— Теперь без надобности. Только вот на пятки ступать не могу. На непогоду крутит — криком кричи.

— А-а, да ужли ж в пятку отдает?

— А куда ж?

— Раз на грудях же разрисовано...

Клоков молча посмотрел на тополь. Листья его чуть трепетали и вились, как белые бабочки.

— Нарисовано на грудях, а били по пяткам.

— Да кто бил-то?

— Бил кто? Ремни, брат, у них такие, крученые. В квасу мочатся.

— Ишь ты. До чего, скажи, доходят!

— Доходят.

— Значит, так жестче забирает?

— Да, то как же.

— Да это кто же бил-то?

— Это? Контрразведка.

— А-а, за звезду, что ли?

— Нет, по мобилизации. Отказался было по причине беркулезу.

— Али ты беркулезный?

— Обязательно.

— А комплекция быдто не дозволяет.

— Через бацелы признали. Положили на испытание: «Плюй в баночку». Я, конечно, наплевал и баночку жене передал. Та с баночкой, конечно, к товарищу. А тот, действительно, с бацелами, как полагается: вскорости в чахотке помер. Наплевал мне в баночку — отставка.

— Ну это ловко.

— Через три месяца на фронте у них неустойка. Опять меня в комиссию: «Гож».— «Как так гож, когда в документах бацелы?»—«Гож».— «Раз беркулезный и при бацелах,— не имеете права».— «Нам,— говорят,— ваши бацелы — тьфу! Ничего не стоют внимания». Тут мне, конечно, кровь в голову: «Как так — тьфу? Через эту самую бацелу рабочий человек при смерти лежит, а вам—тьфу? Не стоит внимания? Значит, так об трудящихся понимаете? Будь вы прокляты, чтоб я за вас, буржуев, воевал!» И конечно, матом. Ну, меня в центральную гостиницу взяли.

Клоков замолчал. Уткин подождал и спросил:

— В гостинице чего же?

— А там контрразведка. Сейчас это за меня взялись вон энти, что с косыми глазами, как их...

— Китайцы, что ли?

— Китайцы — это у красных. А эти с Кавказа. Увидали, конечно, грудь: «Большевик?» — «Никак нет».— «А зачем звезда поверх креста?» Ну, разложили. Два бьют, третий что-то по-ихнему: «Гус, бус», — считает. Стал и я считать. До сорока с чем-то досчитал — дале память потерял. Калмыки они называются, вот как! Калмыки, да. Очнулся на пустыре, наглый как мать родила. Дай-ка.

Взял у Уткина папироску, затянулся.

— Губу там же откусил, что ли?

— Нет, это уж в двадцать третьем году, в кампанию безбожников. Под пасху, манифистацию делали. Все, конечно, как следует. Кто чем нарядился. Меня главным чертом украсили, Суткин — попом взялся. Только гляжу: патрахиль задом наперед надел. Ничего, сволочь, не понимает, что к чему. Дале как заорет: «Благослови, владыко!» А я в Ливнах три года дискантом пел. Конечно, кровь мне в голову. Схватил его за патрахиль да по шее — раз: «Переверни, сволочь, наперед!» А он, заместо того чтобы внимание взять, и вцепись зубом в губу... Обвертел я ему, конечно, патрахиль круг шеи — задушил бы, кабы ребята не вырвали. Ну, зараз буза: «Контрреволюция! За попов заступается!..» На кой мне попы! Я, как повенчался,— в церкви не был. Ну, только ежели ты попа передразниваешь, так чтоб сходство было. С дьяконом его не путай! Душу не мути! И ежели ты в леригии, как божий сазан, то какой же ты с ею борец! Морду, сукину сыну, своротить!

— Это ты верно!— сказал Уткин.— За религию все должны заступаться.

Клоков молча посмотрел на его замасленный картуз, потом сказал:

— Вот такая же дура и баба у меня. После этой драки пирогов напекла! «Ты,— говорит,— за веру кровь пролил. Это тебе, конечно, засчитается!» Во до чего невыносимая!.. А уйти никак невозможно.

— А тебе нужно от ей уходить?

— Необходимо.

— Другая, что ли, есть?

— На черта мне другая. Тут одну не сбудешь.

— Да в ей порок, что ли, какой?

— Пороку в ей, положим, никакого, а только стерва. Забрала в руки — ходу нету. «Давай,— говорю,— Лександра, полюбовно разойдемся».

— А она чего ж говорит?

— Что, мол, бог соединил — человек пущай не разлучает. На табак вот не дала. Дай-ка, брат, мелочишки.

Уткин достал из кармана мелочь и, положив на траву, сказал:

— Тут бить надо.

— Бить я в общем смысле, конечно, любитель. Ежели кровь в голову. Ну, жену не трогал.

— Никак?

— Да, можно сказать, допрежь почти никак. Ну, при советской власти решил бить. Так рассчитал: закон теперь на это строгий. Сама не уходит — силом отберут.

Уткин приподнялся на локте, уставился в лицо Клокова проснувшимся взглядом:

— Чего ж вышло?

— Чего вышло? Вот чего вышло.

Клоков раскрыл рот и потыкал пальцем в щербину. Уткин тоже раскрыл рот:

— Все выбила?!

— Ну хоть не все, отчасти. Выскочила к соседям, крику наделала — только скандал вышел.

Уткин сердито бросил картуз на траву:

— Ну ж, действительно, подлая какая ж, а?.. Так ты судись, обязательно!

— Суда тут не выходит: в положении обороны, называется, ударила.

— Тьфу ты, скажи на милость! — беспомощно откинулся на траву Уткин.— Что ж это за законы, чтоб законному мужу зубы выбивать?

Вдруг он вскочил:

— Слушай, так ты ж вот чего: ты прямо в загс! Там же тебя сразу и разведут!.. Ах ты ж чудак!

— А ты — дурак. Ну, дале что?

— Да тогда уж она на тебя никаких правов не имеет: иди куда хочешь!

— Чего ж это мне из своего дома идти? Ловко выдумал! Да у меня сад — баргамотов одних полсотни!

Уткин не сдавался:

— Знаешь чего, а ты дом продай! Деньги в карман — и пошел.

— А кто ж его купит?

— Дом-то?

— Ну да.

— С садом?

— С садом.

— Да ежели любитель наскочит!..

— Наскакивали уж, да отскакивали. Говорит: весь свой замужний век в своем доме прожила, в ем и помру, в ем и голову, кому хошь, развалю.

— Тьфу ты, оказия... Чего ж теперь делать?

— Чего делать? Вас, хамов, кормить.

Наступило молчание. Оба смотрели вниз, сквозь решетчатую ограду. Видно было, как плыли по голубому морю бесчисленные белые птицы — гребни. Плыли, ныряя, к дальнему скалистому берегу и били в него белыми крыльями. А на помощь им от горизонта плыли новые и новые стада.

Уткин отвел наконец глаза и сказал:

— Знаешь, что я тебе разобъясню?..

— Ну?

— Баба у тебя правильная — вся чисто!

— Так. Дале что скажешь?

— И раз она век с тобою в своем доме прожила, то обязана она до смерти жить! И правов у тебя никаких нету.

— А ты вот что,— остановил Клоков на его лице сонный взгляд,— ежели в дураках век прожил, то так до смерти и живи, чтоб ты сдох.

И, придвигаясь к Уткину, добавил:

— А не сдохнешь, сволочь, убью.

Уткин взглянул в побагровевшее лицо Клокова и опасливо откатился прочь под шелковицу. И, пока Клоков шарил по траве рукой, на всякий случай приподнялся на колени и сказал:

— А ты замест того, чтоб людей убивать, сперва двадцать пять копеек назад отдай!

Клоков подобрал с земли деньги, закурил и спокойно ответил:

— Очень мне нужно тебя убивать.

— Все равно отдай.

— Да у меня уж кровь от головы отлила. Ложись рядом. Скорей соснем.

Через минуту он громко храпел, а Уткин лежал рядом и все смотрел на ныряющих белых птиц.

1928

МИША

Когда старый Грач с Грачихой отъехали от ветряка, солнце уже низко стояло над снегами. Поднималась низовка. Ветряк работал бодро. Ветер дул навстречу, и Грачиха сидела в санях спиной к лошади.

Ехали молча. Только дед понукал лошадь. Четырехкрылый ветряк с холма все махал другому, далекому ветряку, по ту сторону буераков, манил к себе. Но тот стоял, грустно склонив одно крыло, подняв другое: не в силах выбраться из сугроба. А Грачиха смотрела на него и думала: не забыть заехать в кооператив, купить внукам гостинца. Дорога юркнула в балку, потом, сверкая под солнцем, поднялась на бугор, потянулась меж кукурузищ.

От накатанной дороги побежала в сторону узенькая запорошенная снегом дорожка. Она, видно, бежала, туда, в балку, откуда поднимался чуть заметный на снегу дым.

Когда сани поравнялись с этой дорожкой, дед Грач натянул вожжи, лошадь остановилась. Дед, не оборачиваясь, прорычал в мерзлую седую бороду:

— Ну?

Бабка молчала и вздыхала.

— Да ты мне тут пар не пускай. Ну?

— Да уже и сама не знаю...

Бабка вытерла посиневший нос, спрятала глаза под красные веки.

— Она не знает, старая стерва, не знает, лисица,— зарычал дед, дернув за левую вожжу и что есть силы вытянув рыжую кобылу кнутом. Кобыла круто свернула на маленькую дорожку и побежала по ней скупо, нехотя. Но дед подхлестывал ее и кричал уже снегам:

— Она не знает! Не она целый год грызла голову! Да его, сукиного сына, не то что ехать до него, на семи суборах его проклясть — от родного дому до босяков в зятья пристал... Голодаешь? Ну и голодай, харцыз! Завоняла тебе родная хата? Сдыхай, шельмин сын, под чужим тыном!

Грач замолчал... Грачиха тоже молчала. Радостно и тревожно смотрела на убегающую из-под саней пушистую дорогу. Запахло дымом. Сани остановились в балке, у кособокой, наполовину занесенной снегом мазанки. Рядом ютились под обрывом еще с полдесятка таких же не огороженных, затерявшихся в сугробах. К мазанке прижался маленький сарайчик с раскрытой дверью и копна занесенной снегом соломы.

Выскочившая из сарайчика серая собака залилась хриплым лаем. Пегий поросенок остановился в черных дверях и тревожно хрюкал. Мазанка косилась на приезжих двумя маленькими окошками. Больше никого не было. Потом вышла, накинув свитку на голову, молодая женщина. Подошла к саням. Грачиха увидела под свиткой насторожившиеся маленькие серые глаза

— Ну, здравствуй, дочка,— сказала бабка ласково.— А где же Миша?

Маленькие глаза ласково засветились, сверкнули большие зубы:

— Миша у суседа. Зараз кликну. Да вы ж... в хату заходите.

— Позовешь — не откажемся, — сказала бабка.— Домна, кажись?

— Домна.

Дед сидел молча, уставившись злыми, плачущими глазами в рыжий хвост.

Бабка вылезла из саней и, стряхивая с шубы солому, заковыляла к мазанке.

— А вы ж, батя?

Грач буркнул:

— Мне и тут ладно.

— Оклунок-то хоть внеси.

Грач вылез из саней, швырнул на лошадь попону, потом взял в охапку полмешка муки и снес в сени. Хотел было вернуться к саням.

— Что ж, батя, хоть через порог в хату плюньте,— сказала Домна, улыбаясь и кланяясь.

Грач, отбивая рукавицей муку с тулупа, вошел в хату, покрестился на образа.

— А вот и Миша...

Вошел Миша с белыми от солнца и ветра усами и бровями, с кирпичными щеками.

— Здравствуй, сынок. Вот мы и приехали... Сердце-то родительское, видно, посговорчивей.

Миша стоял у порога. Голубые глаза смотрели в окно:

— Сердце тут, мамаша, никакой сути не имеет, кроме как неприятность.

— Ушел-то ты, сынок, из дому неладно.

— Ушел я не через сердце, а через голос. При вас Омельян остался и все хозяйство. А мне от вас ничего покеда не нужно. Спасибо, что не забыли. Но только прошу я вас больше не ездить.

— Да чего ж так-то?..

— Да того, что я с вами никогда голоса не достигну. Вот вы только на двор, а сосед уж кричит: «Беги, Михайло, родители кулацкое благословение привезли...»

— Полмешка муки в сенцах,— сказала Домна.

Миша взглянул в сенцы, заморгал глазами, стал похож на мать.

— Вот что, везите эту муку от греха до дому.

— Да чего ж ради? — воскликнула Домна.

— Ай разбогател?

— Я, батя, не за богатством, а от богатства сюды пришел.

— Он за голодной смертью пришел. На прошлой неделе куска хлеба в хате не было. Кабы отец с чугунки не принес, сдохли б... А он, Мишка, за зиму четыре семьдесят заработал... Порося за два десять купили, а чем его кормить?

— Это другое дело. А ты помолчи.

— Чего ж это я буду молчать? Меня голосу еще не решали.

— Гляди, решу.

— А ну, попробуй.

Домна вытянула к Мише исхудавшую шею. Маленькое бескровное личико побелело от злобы. Голос захрипел:

— Не я к тебе, ты ко мне в хату пришел. Ты через меня голос добыть хочешь, а я через тебя с голоду подыхай? Не желаешь кормить — иди к родимцу за правами, куды хошь.

— Да возьми же ты, дурная, в своей голове, что ежели дознаются, что я не порвал с родительским кулацким элементом, то сроду в правах не восстановят.

— А грец тебя побей с твоими правами, когда жрать нечего...

— Так ты чего ж? Шла за пролетария — на кулацкий харч надеялась?

Домна стукнула кулаком по столу:
— Да ты-то на что, мальчик, надеялся?
— А ну цыц...
Домна подошла к порогу, отворила дверь.
— Последний сказ: не берешь муку — можешь сам убираться.
— Не студи хату.
— Не твоя. Уходи — запру...
Миша молчал. Брови и усы пуще побелели на кирпичном лице.
Грач, не проронивший ни слова, поднялся со скамейки, надел капелюх.
— Ну, мать, погостевала, едем. Ночь заходит.
Грачиха застонала:
— Ох, сынок, сынок...
Грач спросил из сеней:
— Так как же, Михайло? Брать муку аль оставить?
Михайло не сразу ответил:
— Ладно... Ну-ка, ты... Дай там мешок под лавкой, пересыпать.
Миша пересыпал муку в свой мешок, а в отцовский быстро нагреб кизяков со снегом, вскинул его на плечи к отцу.
Грач не успел зарычать, а Миша уже шепнул:
— Передом идите, батя, а вы, мамаша, следом. Не огорчайтесь: зараз буду крыть на всю балку почем зря.
Грач остановился на пороге:
— Это... как... же?..
— Да не всурьез. Чтоб голота чертова слыхала. Может, мамаша, выразится какое слово неподходящее, так вы безо внимания.
Шли от мазанки к саням гуськом: широко шагал прямо через сугроб Грач с мешком, Грачиха брела по снегу, спотыкаясь и барахтаясь, и не поспевала, а Миша вслед кричал громко, так, что слышали даже у крайней мазанки:
— Убирайтесь с вашей кулацкой мукою к чертовой матери!.. Думаете оклунком муки пролетария купить? Большой интерес... Для меня рабочий класс в сто разов интересней всяких родителей. Вы с меня всю жизнь жилы тянули! Эксплататоры, кровопийцы! Теперь мы вам, сволочам, дадим ладу...
Грач не вынес:
— Погоди, сукин ты сын. И я ж тебе дам ладу.

Бросил мешок в снег и вскочил в сани.
Бабка упала в сугроб.
Снег набился под платок, в рот.
— А ну без баловства! — закричал Миша.— Поднимать вас батраков нету.
Подхватив ее под руки, поволок в сани и, оглянувшись на слепые окна, зашептал:
— Через месяц голос верну, и Домну к грецу... Меня Уляша Савкина с весны ждет... Две телки, стригун и сама — не с этой кошкой равнять. А к пахоте рыжую мне выдадите.
— Я тебе выдам, бандитская харя!
— Закон, батя, выдаст,— сказал Миша и опять закричал изо всей мочи, хлестнув рыжую:
— Вон, грабители, с пролетарского двора, чтоб духом не пахло!
До поворота на большую дорогу Грачи ехали молча.
Когда повернули, Грач спросил:
— Что, стерва, набилась к сыночку на угощение?
— Да разве ж он по-настоящему? Сказано ж — пока голос добудет.
— Добыл уж... Пока я живой, пущай не приходит, сукин сын. Пущай по другим местам свой голос пробует.
— Что там уже... когда ж... спробовал.
— А ты мудрая? — вдруг закричал Грач.— Намудрила, чтоб ты сдохла! Сорок седьмой год я от тебя терплю мудрости. За сорок семь годов ты мне со своею родней всю шею перетерла. А браты твои такие же были бандиты. В приданое за тобой что дали? Родитель мой, царство небесное, трех меринов в запряжке выговорил — львы, а не кони. Также и все три телеги на железном ходу. За день до венца, мошенники, все прасолу сбыли... А мне что подсунули? Буланый — с кострецом, чалый — без зубов, а пегого вскорости ж после свадьбы ободрал. А с саду урожай как поделили? Себе сто пудов антоновки, а мне четыре мешка кислиц!
— Да уж и саду того тридцать годов звания не осталось, и браты давно на том свете, и самим пора...
— Да я на страшном суду сыщу.
Ехать до хутора было еще версты четыре, через село.
Быстро вечерело.
Розовый снег быстро перекрашивался в синий.
Когда въехали в село, бабка вспомнила, что надо бы

заехать в лавку — ребятам гостинцы купить, да теперь уж рассердился старик, лучше молчать, не перечить.

Вон она и лавка-то еще открыта...

Грач вдруг повернул к лавке, остановился.

Бабка сидела не шевелясь.

— Ну?

— Чего это? — притворилась Грачиха.

— Чего сидишь печерицей?

— Разве что внучкам купить...

— Не собакам же.

Когда выезжали за село, уже стемнело и в избах зажигались огни.

Ехали молча.

Бабка стала думать, что давно уж, еще засветло, надо было подоить корову, а невестка больна...

— Сто чертов тебе с твоими гостями! — выругался вдруг Грач. — Через вас корова спортится.

Хлестнул изо всей силы по лошади.

Лошадь так рванула, что бабка слетела с мешка в розвальни. Распахнулась шуба. Полу трепало ветром.

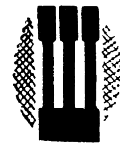
— Да не волочи мне, стерва, шубу по снегу! — закричал Грач, заботливо укутывая Грачиху и помогая ей сесть на мешок.— Держи морду от ветру.

А ветер к ночи сразу усилился и, забегая со всех сторон, бросал в Грачей мерзлым снегом.

1929

В СЕМЬЕ

I


ироко раскинулись весенние поля, только что сбросившие с себя снежный покров. Снег даже не всюду еще успел уйти: вон там за балочкой, в лесочке, часть его осталась на опушке и уже посинела. А в синем небе заливается жаворонок.

Дорога, по которой шел Герой Советского Союза танкист Алексей Скворцов, еще только что просыхала. У ее обочин сквозь прошлогоднюю желтую траву уже пробивались свежие зеленые ростки. Вот Алексей поднялся на гору. Здесь остатки окопов, валяются заржавленные кузовы и остовы машин. А впереди раскинулось по долине родное село.

Алексей остановился от волнения и долго всматривался своим единственным глазом в его облик. Он знал, что село разрушено. По пути видел много разрушенных сел и городов. И это родное — как все: торчат почерневшие трубы над развалинами изб, а рядом уже белеют восстановленные, видна свежая солома на крышах.

Алексей жадно искал среди них самую родную и дорогую... И вдруг сердце его радостно замерло: там, у голой вербы, недалеко от площади, блестит на солнце золотом свежая солома и белеет труба над ней. Алексей вытер рукавом слезы на своем изуродованном лице.

Вот так же, как лицо его, изуродовал враг и родное село. Но село отстроится заново, и забудутся его руины, обгорелые, безобразные, все обновится, а лицо — уж нет. Он шел домой прямо из госпиталя. А как попал в госпиталь, он не помнит. Помнит только, как, форсировав реку первым, бросился со своим танком на окружавшие его немецкие танки, как блеснул и ослепил его огонь в башне... Чем кончилась эта операция, он уже не видел, это ему только потом рассказывали, когда кончилась в госпитале и другая операция: его сожженное, превратившееся в кусок мяса лицо покрывали какой-то кожей, взятой с его же тела и еще у кого-то, сшивали, вставляли металлическое горло и фарфоровый глаз... А потом ему в госпиталь же принесли орден Ленина и медаль «Золо-

тая Звезда». Говорить он стал хрипло, чужим голосом. И лицо у него было чужое, когда он посмотрел в зеркало,— ни одной знакомой черты.

И вот он спускается с пригорка в родную деревню. В балочке взошел на мостик, под ним журчит веселый весенний ручей. По краям его уже зеленеет новая трава. Бегущие вдоль русла вербы еще не зеленеют, но уж распустили почки и шумят, шумят на весеннем ветре. И птицы щебечут в роще. Вот он уж медленно идет по улице. Вот колхозный сарай, его дружно обмазывают глиной с навозом колхозницы. В руках наполненные навозной жижей немецкие каски. Алексей всматривался в эти лица — все или слишком молодые, или слишком старые — и никого не узнавал. Но вот он повернул за угол сарая: окруженный кучкой колхозников, старик в лиловенькой кепке, с большой бородой, что-то с увлечением рассказывал. Алексей подошел ближе и узнал в нем старого колхозника Хряща.

— Тут такой принцип,— говорил Хрящ.— Этая корова с тем проданная была, что непременно всегда телится к теплому Алексею. Но я этому принципу не доверял, ну, нынче же как раз под Алексея отелилась, и я уверовал!

Алексей подошел к Хрящу и его слушателям совсем близко. Кое-кто обернулся, посмотрел в его лицо с тем уже знакомым ему выражением чуть брезгливой жалости.

Алексей поздоровался молча и пошел дальше. Когда он проходил мимо другой кучки людей, до него донеслось имя Насти. Сердце его так забилось, что он остановился. Прислушался и — опять говорят о Насте, председательнице колхоза. Он пошел дальше. А вот сейчас за поворотом к речке откроется родная хата. Алексей затаил дыхание, сделал еще два шага, и перед ним действительно под вербой с обломанными ветвями предстала родная хата, точно: выбеленная, под новой крышей... Сколько раз стояла она перед его глазами и наяву, и во сне, и на отдыхе, и в бою... Вот и старые ворота... Алексей вошел в них. В углу, у сарая, плуг и сани. Из глубины двора навстречу ему шла старушка. Алексей сразу же по глазам узнал мать, постаревшую, похудевшую, с выбившейся из-под платка прядью наполовину седых волос. А глаза... он запомнил эти глаза, устремленные в него в час разлуки в печали бесконечной. А теперь они остановились на нем со скорбным изумлением.

— Здравствуйте,— просипел Алексей.
— Здравствуйте,— сказала мать.— Вы к Насте?
— И к Насте, и к вам... Я... привез вам поклон от вашего Алексея.
Глаза матери вдруг засияли большой радостью, их застлали слезы.
— Ой, моя деточка, да где же он? Где вы его видели? В больнице или как?
— Да, и в больнице, и... мы с ним вместе сражались. Рядом... Как его семейство?
— Да слава богу,— ответила старуха и вдруг зарыдала.
— Вы, тетя, не убивайтесь,— сказал Алексей.— Он не так ранен... легко. Он скоро выйдет. А где же... Жена... дети?
— Да Настя все в сельсовете да в колхозе. И стройка, и завтра-послезавтра выезжать в поле сеять. И Степа, внучок, больше с нею. А Наташа, внучка, в хате. Да вы пожалуйте, отдохните.
Не узнала... Мать приотворила с детства знакомую дверь и впустила его в темные сенцы. И здесь пахнуло на него родным запахом. У окна на лавке он увидел возившуюся с тряпками девочку. Он не узнал ее, она выросла, похудела, только глаза — глаза матери, их сразу узнаешь. Забыв все, он вдруг сделал движение к ней. Девочка метнулась в угол и смотрела на него оттуда широкими от страха глазами.
— Не бойся, внученька,— успокаивала ее бабушка.— Это дядя поклон тебе от папы принес.
— И гостинцев,— сказал Алексей, сняв сумку и быстро достав со дна ее подарки, которые ему приносили в госпиталь для его детей. Он протянул их к ней, но девочка не брала.
— Возьми же, деточка, это от папы.
Она стояла неподвижно, опустив глаза и руки.
— Что же ты так сурьезно смотришь? — сказала бабушка.— Вишь как папа о тебе помнит! А ты же его постоянно вспоминаешь — и встаешь и ложишься. А теперь, когда проговорили про него по радио да портрет его в газетах пропечатали,— обратилась она к Алексею,— так она только и разговору о папе. Встанет, сейчас же — дайте папин портрет! И не ляжет без того, чтоб поцеловать. А уж когда вывесили его в правлении нарисованного, так и совсем загордилась, такая гордячка стала!

Алексей взглянул на помещенный в красном углу собственный портрет, украшенный лентами и бумажными цветами.

— Похож ли он теперь, мой сыночек? Тот, что в правлении, как живой.

— А правление у вас там же?

— Не, спалили немцы и сельсовет, и школу, и избу-читальню. Ну, начали новые строить. Все Настя убивается. А правление у Батрака в хате. Сыны оба на войне, и так что, слыхать, обои убиты, отец в партизаны подался. Ну, немцы дознались, хотели хату спалить, а тут и наши пришли.

Алексей поднялся.

— Куда же вы?

— Да пойду. Нас... Настасью Михайловну повидаю... Поклон передам.

— Что ж, повидайте, если встретите. Да только не сидит она на месте. И в поле, и по всему колхозу, и в сельсовете... так захлопоталась — с зари до зари, а иной раз и дома не ночует. Разве что забежит на детей взглянуть.

II

Действительно, идя по улице, Алексей на всякий случай спрашивал встречных, где найти председательницу. Но все указывали сразу несколько верных или предполагаемых мест, а точно никто не мог указать. Опять ему встретился Хрящ и на его вопрос, подумав, сказал:

— Я приклоняюсь к тому, что сейчас она в кузнице, а может, и в амбарах. А вам, собственно, по какому принципу?

— По делу,— уклончиво сказал Алексей.

— А по какому делу? — спросил Хрящ.— Я к тому, что ежели по какому делу ищете, то на этом деле ее и найдете.

Алексей пошел дальше. И вдруг, проходя мимо одного двора, он услышал за забором веселый женский смех и остановился, охваченный им. Этот смех он часто слышал и сквозь вой самолетов, и сквозь разрывы бомб и гранат. Алексей узнал и двор. Это двор его товарища Павла. Он быстро вошел в ворота. Она стояла справа у ворот сарая, а рядом с ней Павел, с той же молодой, веселой улыбкой, с пустым левым рукавом. Он говорил

что-то веселое, и Настя, не замечая Алексея, продолжала смеяться. Алексей медленно направился к ней. Настя взглянула на него, и, пока он подходил, улыбка на ее лице сменилась серьезным выражением, с той же жалостью, к какой он уже стал привыкать. Но, боже мой, можно ли привыкнуть к выражению ее на этом самом дорогом в мире лице!.. Вот он и подошел. Она подняла свои ломаные брови на высоком лбу над глубокими карими глазами и ждала: надо заговорить, а горло перехватило.

— На...стасья Михайловна? — спросил он.

— В чем дело?

Она еще несколько секунд внимательно посмотрела в его лицо. Страшные, решающие жизнь секунды...

— Я... привез вам поклон и письмо.

— От кого?

— От Алексея, из госпиталя.

Он видел, как она побледнела.

— Что с ним?

— Ничего, выздоравливает. Он же писал вам.

— Да, писал.

— Вот и сейчас со мною прислал...

Алексей полез в карман и достал письмо, которое он написал вчера на станции. Почему-то торопясь, он подал его жене. Она, быстро пробежав его и пряча в карман, сказала сухо:

— В последнем письме он писал, что приедет в короткий отпуск. А теперь пишет — отправляется на фронт. Вы, что же, с ним в госпитале вместе были?

— Вместе. Рядом сражались, рядом и в госпитале лежали.

— Рядом сражались?

— Да, в одном... в одной танковой колонне. Его легко ранило.

— А вас?

— Меня, как видите, обожгло, но вылечили.

К Насте подходили колхозники, говорили о делах, ждали распоряжений. Она их быстро давала. Потом спросила Алексея:

— Вы, товарищ, куда же теперь направляетесь?

— Домой, к себе... на Донбасс. Вот только остановился на вашей станции — письмо и поклон передать.

— Вы уж меня извините — время такое, а надо поговорить. Вы пожалуйте к нам, отдохните.

— Спасибо,— сказал Алексей.— Я уж на станцию, к вечеру поспею на поезд.

— Ну, до другого поезда поживите у нас. Я вот вас сейчас к себе провожу, тут близко.

— Я уж был у вас.

— Ну, тем лучше. А я — в правление. Может, пройдемте? По дороге поговорим.

Но по дороге пришлось мало говорить: все подходили новые люди. Многих из них он узнавал и в первый раз за время войны чувствовал себя среди близких чужим и одиноким. Он взглядывал на ее опять оживившееся лицо с сияющими глазами и ласковой, но твердой улыбкой, и сердце все заливала огромная радость, которую сейчас же сменяла черная тоска...

В правлении он увидел свой писанный красками поясной портрет. Из золоченой рамы, обвитой лентами, на него смотрело веселое молодое лицо с румянцем во всю щеку, с лихо взбитыми темными кудрями.

— Вот,— сказала Настя колхозникам,— Алешин товарищ, вместе сражались.

Его обступили, стали рассматривать и расспрашивать. И все больше знакомые... И Хрящ опять тут. Он спросил:

— Что же у вас, товарищ, личность в некоторых местах разная?

Но тут посыпались вопросы об обстоятельствах, в которых отличился Алексей. Он рассказывал о них, но рассказывал неумело, только то, что ему известно было, а здесь всем известно было уже несравненно больше. И слушателям приходилось не только дополнять, но исправлять его рассказ. А когда Алексей попробовал рассказать о самом героическом поступке, как он, сбив врага, очистил берег для десанта, вышло что-то прямо совсем скудное и противоречивое. Оказалось, что ни через какую пропасть его танк не перескакивал, что вражеских танков было в несколько раз меньше, чем это известно здесь. И подвиг героя выходил, по его словам, серым и заурядным. Должно быть, это было неприятно слушателям. Но Павел вслед за ним описал и объяснил этот подвиг с большим воодушевлением и гордостью. Говорил он о нем увлекательно, и Алексей видел, как слушатели были захвачены его рассказом, а Настя остановила на Павле свой сияющий взгляд, и щеки ее были бледны.

— Так что картина вот какая получается! — сказал

он, обращаясь к Алексею, и в голосе его прозвучала обида и какое-то недоверие к Алексею.

А Алексей вспомнил вот что: когда-то он и Павел вместе ухаживали за Настей. Алексей скоро женился на ней, а Павел долго еще не был женат. Но никогда ничем не дал он понять Алексею своей обиды за неудачу. Напротив, после свадьбы они еще как-то ближе сошлись на дружной колхозной работе.

— Ну, видно, вам отсюда видней,— скрипуче сказал Алексей, и всем стало тяжело и неловко от искривившей его лицо гримасы, по-видимому обозначавшей ироническую улыбку.

А Павел сказал мягко:

— Вы только, товарищ, пожалуйста, не примите в обиду. Мы все ценим ваш подвиг и тяжелое ранение. На себе, как видите, испытали. Но Алексей прославленный герой, и нам, его односельчанам, а тем более близким товарищам, как я, надо гордиться и возвеличивать его заслуги. А умалять их мы не допустим.

Настя вступилась:

— Товарищ и не думал умалять. Он говорит то, что видел из своего танка. А отчасти, может, из скромности: все ж таки участник.

— Скромность — это его похвальное дело, а нам есть чем гордиться,— сказал Павел и действительно с гордостью взглянул на портрет и оправил на нем ленты.

А Настю уже обступили колхозники с делами.

III

Алексей вышел из правления незаметно и шел по улице, никого и ничего не замечая, с холодом в душе. Вот наконец и произошла встреча, к которой он так стремился и которой так боялся! Какой встречи он ждал и как ее себе представлял? Чаще всего представлял, как жена и мать, узнав его, в первый момент с ужасом и воплями отшатнутся... А потом ей, молодой, всегда такой разборчивой к красоте, оставаться на всю жизнь с уродом... Сразу ли откровенно откажется она от него или станет насиловать себя? Это уж, конечно, он не допустит.

«Уйду, уйду сам... Так зачем же я поеду туда?»

И Алексей решил, что не поедет он домой. И когда он так решил, тотчас же навстречу его решению поднялось неудержимое желание повидать семью и родину. Он стал

быстро собираться из госпиталя домой. И опять встало перед ним горе жены и матери, ужас детей. И тут он окончательно сказал себе: не вернусь. А на другой день.., он уже ехал в поезде домой.

Сегодня, идя по деревне, он невольно замедлял шаг, стараясь хоть этим отдалить страшную минуту. Кажется, ни в одно сражение не шел он с таким страхом и болью...

И вот произошло то, чего он, пожалуй, не ждал: он вошел в свой дом, встретился с семьей невидимкой. Это судьба послала ему горестное облегчение, избавив всех от лишних страданий. Не надо же ее искушать! Принять этот дар и — неузнанным уйти. Так всем будет легче. Тяжело будет матери до смерти ждать его, а все же легче. Дети подрастут, жена встретит другого — это легче всего... хотя бы того же Павла.

— Дяденька, это вы — от папы?

Степа!.. Как он вырос из своей курточки и штанишек — шестилетний мальчик... А обветренное лицо похудело, и легли тонкие морщинки у губ, как будто они остались от той прощальной минуты, когда он обнимал отца и, заливая его лицо слезами, задыхаясь от рыданий, твердил: «Папа, папочка, возвращайся скорей с войны!»

И вот они повернули домой. Алексей спросил:

— Ты как же узнал, что я... от папы?

— А бабушка сказала: страшный лицом дядя.

— А я страшный?

— Нет, это только фашисты бывают страшные. Это они тебя так?

— Они.

— Ты папу видел?

— Видел.

— И орден на нем и звезду?

— Да.

— У тебя тоже есть орден? А папа скоро приедет?

— Да. А ты соскучился?

— Ну!..

— А помнишь, как его провожал?

— Да то как же! Я плакал, а он поднял меня высоко-высоко и все раскачивал. А я плакал, потому что не знал, что он будет герой. И все поэтому плакали. Только Наташка не плакала, потому что она не понимает, что такое война. Она и при немцах ничего не понимала. Ее, знаешь, немец на мушку взял за то, что мама про парти-

зан ничего не говорила. А она стоит да палец в носу держит. Вот дура! Кабы мама не выбила у немца винтовку, узнала б она, как палец в носу держать!

Пока они шли домой, Степа с большой точностью рассказал, как мама выбила у немца винтовку и вместе с Хрящом связала его; заткнули рот платком и стащили в погреб, а сами взяли Степу с Наташей и убежали в лес. И как он прожил среди мстителей, пока не пришла Красная Армия.

Дома Алексей передал Степе подарки от отца, потом пошел с ним на огород. Земля уже подсохла. На той стороне пруда распускал почки колхозный сад. Там дети рыли новые ямки и производили посадки. За садом поднималось до горизонта широкое поле, в стороне синел перелесок. Даль ласково дрожала в весеннем воздухе. Туда шли по ненакатанной дороге, сверкая на солнце лемехами, плуги. Когда он, два года тому назад, прощался с этим полем, на нем волновалась золотыми волнами зреющая пшеница, и колосья под ветром низко кланялись ему, провожая в далекий опасный путь своего лучшего стахановца. И вот пройден этот путь, и на ниве пролегают родные тропинки. И ждет она его опять, своего хозяина и работника. Стоят они лицом к лицу и узнали друг друга!

А Степа все заставлял его рассказывать о подвиге отца. Он рассказывал скупо, но, взглядывая на Степу, видел, как раскраснелись у него щеки, как сверкали глаза.

— Я им отомщу,— сказал он, когда Алексей кончил рассказ, и припал щекой к его ноге.

О, как трудно будет этой ноге шагать прочь! Он взял лопату и тоже стал копать новые ямки для яблонь в своем садике. Земля раскрывалась и дышала на него своим весенним запахом, от которого у Алексея чуть кружилась голова, и сердце вдруг наполнилось радостью, что недаром он отдавал за нее свою жизнь и страдания его не пройдут даром. Вот его награда за них! Припасть к земной груди: пусть не узнают его, она его знает, не изменит и не отвернется. Он будет жить тут неузнанным, чужим. Что ж, хоть пчелкой, лишь бы дышать родным воздухом, слушать этот вешний шум, видеть распускающийся сад. Но он — человек. Его радостного труда ждут поля, и земля, и люди.

Подошла мать и сказала:

— Гляжу я на тебя, сынок, со двора: ну чисто мой Алеша. И спина, и вся ухватка. У тебя же семья есть?

— Есть. И мать есть.

— Обрадуется, сердешная, да и... слезой изойдет.

— А я к ней совсем не явлюсь,— пускай свой век доживает спокойно.

— Ну, какой уж спокой, когда сердце с тоски высохнет.

— А может, и лучше с тоски высохнет, чем с горя разорвется.

— А почем ты, сынок, знаешь, что лучше. Лучше бы нам не родить вас на такую долю,— вздохнула она.

— Нас родина на спасенье и славу себе родила,— сказал Алексей.

А она, вытерев рукавом слезы в морщинках, сказала:

— Пойдем, детка, пообедаем.

— А что же хозяйка?

— Да она иной раз к вечеру только является, а то и совсем без обеда.

— Хорошо,— сказал Алексей.— Вот посажу вам на память по яблоньке — приду.

IV

Мать ушла, а он закончил ямки и стал вскапывать огород. А перед вечером видел, как Настя вошла во двор в сопровождении Павла. Они сели в углу двора на опрокинутых санках и опять долго разговаривали, и до него доносился ее грудной смех. Его они, по-видимому, не заметили. Потом Павел ушел со двора, а Настя в избу. Вскоре Степа прибежал звать его обедать. Когда Алексей вошел, Настя уже торопливо обедала. Алексей подошел к окну и, увидев, что по улице везут кирпич, спросил, откуда это.

— А со своего завода,— ответила Настя,— восстанавливаем.

— Вот вы как работаете! — сказал Алексей, обернувшись к ней, и поймал на себе ее взгляд, недоумевающий, затуманившийся.

Теперь она подробнее расспрашивала об Алексее, как чувствует себя, не жалуется ли на здоровье.

— Жалуется,— сказал Алексей,— только не на здоровье.

— А на что же?
— Что скуповато ему пишете.
Настя сухо сказала:
— Как умею.
— Мало пишете.
— Сами видите, как у нас мало времени, совсем не хватает.
Что-то едкое подступило к горлу Алексею. «А посиживать на саночках хватает?» — подумал он и сказал более хрипло, чем обыкновенно:
— Ну, спасибо за приют. Мне пора на станцию.
— Что ж на ночь-то глядя! — сказала Настя уже ласково.— Поночуйте хоть.
Действительно, солнце уже низко стояло над степью, и зеленя, расстилающиеся от выгона, чуть розовели. Грачи в ветлах подняли вечерний гам. Однако Алексей уже стал было надевать сумку, когда Степа, ухватившись за нее, стал просить переночевать и еще рассказать что-нибудь про папу.
— Вот видите! — сказала Настя.— Да и я хотела бы еще поговорить об Алеше. Вы уж, пожалуйста, останьтесь,— ласково кинула она, уходя.— Я уж и не прощаюсь.
Она ушла, а Степа прижался к нему и ждал рассказа. Потом они вышли на огород. В сеющихся над деревней сумерках пели на разные голоса птицы, пели задорно, стремительно, как будто тоже соревнуясь. Ржали в конце деревни молодые жеребята. Внизу, под вербами, у плотины журчал ручей. Далеко в поле взошла луна. Алексей и Степа постояли и пошли спать. Мать постлала сыну за перегородкой. Он было скоро задремал, но пришла Настя, и он слышал, как она улеглась спать. А потом кто-то постучал в окно. Она приоткрыла его. За окном был тихий голос Павла. Они о чем-то пошептались. Настя закрыла окно и, по-видимому, скоро заснула. А Алексей уже не спал. Он смотрел в темный потолок и слушал, как новая, жуткая боль подкатила ему под сердце. Так вот еще какие жгучие муки ждали его дома. Зачем же он вернулся? Зачем не сразу сгорело в танке его сердце? Вот как обернулось к нему его когда-то светлое счастье. Он получил его без борьбы, без сомнения. Его добивались у Насти и другие, и тот же Павел, но она давно уже любила его. Счастье улыбнулось им обоим одной улыбкой... Бежать, бежать сейчас же! Он

привстал на постели, прислушался. Настя тоже, по-видимому, не спала, ворочалась в постели. Вот вырвался из ее груди вздох, как стон. Потом все стихло, но видно было, что она не спит: нельзя уйти незамеченным. Слышно только сонное дыхание матери и детей. Что ждет их? Думы о детях сделали боль не такой острой, но все шли, шли, печальные, горькие, мрачные, как ночь. А весенняя ночь уже кончилась. Серел рассвет. Опять запели птицы, а потом совсем стало светло. И вдруг выглянуло из-за выгона солнце и брызнуло золотом в окно. Теперь можно и вставать. В избе тоже уже встали. Первой проснулась мать, потом Настя. Алексей вышел из-за перегородки, поздоровался.

— А вы зачем же так рано встали? — сказала Настя.— Поспали бы.

— Видно, не спится на чужой печке, коли своя недалечко,— сказала мать с веселой лаской и потом тяжело вздохнула.

— Мы вас подвезем до станции,— сказала Настя.

— Ну,— сказал Алексей,— не такое время, чтоб подвозить.

— А у вас нашлось время сделать для нас двадцать километров? А тут как раз оказия на станцию. Ночью прибегал Паша,— сказала она, обращаясь к матери,— срочно вызывают в район. Вы пока закусите, а он вот он, как ни видно, подъедет.

Его усадили за стол. Настя и Алексей стали быстро завтракать, разговора почти не было. Мать все выходила по хозяйству, клала харчи в сумку Алексея.

Вот и позавтракали. Проснулся Степа.

— Ну, Степа, прощай,— сказал Алексей,— не поминай лихом, может, еще встретимся.

— Чего же вы уходите? — с грустным недоумением спросил Степа.

— А ты что же, думал, что дядя совсем останется? — засмеялась Настя.

— Да,— упрямо сказал Степа,— хоть пока папа вернется.

— А ты расти, пока папа вернется,— сказал Алексей.

— Да будь такой герой, как папа,— сказала бабушка.

— Ну, прощайте, Настасья Михайловна, спасибо за приют... и ласку.

— Спасибо за хорошие вести, спасибо, что потруди-

лись,— сказала Настя, вскинув на него свои глубокие глаза.

В них уже не было теперь ни жалости, ни отчуждения, только большая и грустная ласка. И опять у Алексея закружилась голова от мелькнувшей радости и нахлынувшего глубокого до тяжкого, неизживаемого горя. Он отвернулся и подошел к спящей девочке. Прильнув к ее личику долгим поцелуем, он сдержал клокочущий в горле хрип и повернулся к Степе.

— Ну, прощай, Степа,— сказал он, как смог, и, подняв его высоко на руках, стал раскачивать, как два года тому назад.

— Алеша! — вдруг крикнула Настя страшным голосом.

Алексей крепко прижал Степу, словно держась за него, чтобы не упасть, и стоял, опустив голову. А Настя бросилась к нему, рванула на его груди гимнастерку, на которой блеснули орден и звезда, и, припав к обнаженной груди лицом, захлебываясь в рыданиях, кричала:

— Алешенька!.. Ты... ты... родной мой... О! — стонала она, покрывая поцелуями его грудь, лицо, руки.

Степа тоже закричал и заплакал. Мать, спотыкаясь, вошла на крик и стала на пороге, ничего не понимая, объятая ужасом. Да вдруг тоже закричала, упала на землю у ног Алексея и, обнимая, целуя их, голосила:

— Деточка моя горькая, страдалец наш великий!

— Ничего, ничего,— тихо шептала Настя.— Да как же ты... не признался, покинуть хотел!..

— Не хотел, чтобы узнали,— с трудом шептал Алексей.

— Да кто же другой так мог бы приласкать своих деточек,— сказала Настя с тихой нежностью.

— Дети вырастут без меня. А тебе, молодой, зачем я, урод, буду свет застить?

Настя вдруг отстранилась и, помолчав, сказала тихо, сурово, глядя ему в глаза:

— Ну, спасибо, Алеша, что так обо мне думал... так в меня верил... Ты что же думал, за красоту твою тебя любят?

— Видишь, на портрете моя красота...

— Да весь народ ею любуется! Да никакими портретами ее не нарисуешь! Люди всегда видели твою душу,— сказала Настя, прижимаясь к нему.— И любили за

нее. А я всем покажу, какой любви и заботы ты стоишь.

— Сыночек мой,— тихо голосила мать,— да что же они, проклятые, с тобой сделали!.. А я глянула на тебя вчера в спину — вылитый Алеша, и вся хватка его, а в голову-то не стукнуло...

— А я вчера за обедом, — сказала Настя, — тоже... А ночью уж до света и глаз не сомкнула...— И в голосе была радость, нежность.

— Папа,— сказал Степа,— так сколько же ты танков сбил?

Солнце уже поднялось над полем, а кто-то уже стучал в окно — звал Настю на работу.

1944

СОДЕРЖАНИЕ

Тренев К. А.

Т66 Повести и рассказы. М., «Сов. Россия», 1977.

352 с.

Константин Тренев широко известен как один из зачинателей советской драматургии. Меньше знаком читатель с его прозаическим наследием.

В эту книгу вошли повести и рассказы писателя, начиная с первого «этюда» «На ярмарку», датированного 1898 годом, и кончая рассказами 20-х годов — периода последнего активного обращения К. Тренева к прозе. Наряду с произведениями дореволюционных лет, в которых писатель с горячим сочувствием рисует жизнь обездоленного крестьянства юга России и зло издевается над «столпами общества», в сборник включены рассказы, отображающие крушение старых устоев, ломку сознания народных масс,— то, что с такой силой и выразительностью рисовал К. Тренев в своих пьесах.

Т $\frac{70302-158}{М-105(03)77}$ 105—77 Р2

Константин Андреевич Тренев

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художник **В. П. Борисов**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **И. И. Капитонова**
Корректоры **Л. В. Конкина** и **Л. М. Логунова**

ИБ № 511
Подп. к печ. 8/VIII-77 г. Формат бум. 84×108 1/32. Физ. печ. л. 11,0. Уч. изд. л. 19,06. Усл. печ. л. 18,48. Изд. инд. ЛХ-78. **Тираж 200.000 экз. доп.** Цена 1 р. 80 к. Бум. № 2 тип. Заказ № 353.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

1р. 80к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»